



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АНТ. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

Съ двумя портретами — при I и XVII томахъ.

ТОМЪ ДВАДЦАТЫЙ.

СОДЕРЖАНИЕ:

Скука жизни. — Въ Сокольниковъ. — Дипломатъ. — Бумажникъ. — Кулачье гнѣздо. —
Дачный казусъ. — Вверхъ по лѣстницѣ. — Стража подъ стражей. — Интеллигентное
бревно. — Въ аптеку. — Женихъ и паденька. — Не судьба. — Необходимое предисловіе. —
Свистуны. — Стѣна. — Два газетчика. — Гость. — Конь и трепетная лань. — Утоплен-
никъ. — Староста. — Послѣ бенефиса. — Общее образованіе. — Психопаты. — ~~Итальянскій~~
пѣтухъ. — Контрабасъ и флейта. — Ниночка. — Безъ мѣста. — Тапёръ. — Вракъ черезъ
10—15 лѣтъ. — Тряпка. — Святая простота. — Дневникъ. — *Magi d'elle*. — Сонъ. — Разсказъ
безъ конца. — На рѣкѣ. — Любовь. — День за городомъ. — Отъ нечего дѣлать. — Чужая
бѣда. — Ты и вы. — Недобрая почта. — На мельницѣ. — Заказъ. — Ночь на кладбищѣ. —
Открытіе. — Первый дебютъ. — Глупый французъ. — Персона. — Отрава. — Въ Парижѣ! —
На датѣ. — Въ пансіонѣ. — Серьезный шагъ. — Рововый чулокъ. — Свѣтлая личность. —
Ахъ, зубы! — Жилецъ № 31. — Драматургъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Т-ва А. Ф. МАРКСЪ.



Артистическое заведеніе Т ва А. Ф. Марксь, Измайл. просп., № 29.

24.113/20



ПОВѢСТИ
И
РАЗСКАЗЫ.

LIBRARY

UNIVERSITY OF TORONTO

СКУКА ЖИЗНИ.

По наблюденію опытныхъ людей, не легко расстаются съ жизнью и *старцы*; при этомъ они перѣдко обнаруживаютъ свойственныя имъ возрасту скупость и жадность а также мнительность, малодушіе строптивость, неудовольствіе и т. д.

(«Практическое руководство для священнослужителей». П. *Нечасовъ*).

У полковницы Анны Михайловны Лебедевой умерла единственная дочь, дѣвушка-невѣста. Эта смерть повлекла за собою другую смерть: старуха, ошеломленная посѣщеніемъ Бога, почувствовала, что все ея прошлое безвозвратно умерло и что теперь начинается для нея другая жизнь, имѣющая очень мало общаго съ первою..

Она безпорядочно заторопилась. Прежде всего она послала на Аѳонъ тысячу рублей и пожертвовала на кладбищенскую церковь половину домашняго серебра. Немного погодя она бросила курить и дала обѣтъ не ѣсть мяса. Но отъ всего этого ей нисколько не легчечало, а, напротивъ, чувство старости и близости смерти стало вѣе острѣе и выразительнѣе. Тогда Анна Михайловна продала за безцѣнокъ свой городской домъ и безъ всякой опредѣленной цѣли поселилась къ себѣ въ усадьбу.

Разъ въ сознаніи чловѣка въ какой бы то ни было формѣ поднимается вопросъ о цѣляхъ существованія и является живая потребность заглянуть по ту сторону гроба, то ужъ тутъ не удовлетворяетъ ни жертва, ни постъ, ни мыканье съ мѣста на мѣсто. Но, къ счастью для Анны Михайловны, тотчасъ по пріѣздѣ ея въ Женну, судьба навела ее на случай, который заставилъ ее надолго забыть

о старости и близкой смерти. Случилось, что въ день ея прїѣзда поваръ Мартынъ облилъ кипяткомъ себѣ обѣ ноги. Поскакали за земскимъ докторомъ, но дома его не застали. Тогда Анна Михайловна, брезгливая и чувствительная, собственноручно омыла раны Мартына, смазавъ ихъ спускомъ, и наложила на обѣ ноги повязки. Всю ночь просидѣла она у постели повара. Когда, благодаря ей стараніямъ, Мартынъ пересталъ стонать и уснулъ, душу ея, какъ потомъ она рассказывала, что-то «осѣнило». Ей вдругъ показалось, что передъ нею, какъ на ладони, открылась цѣль ея жизни... Блѣдная, съ влажными глазами, она благоговѣнно поцѣловала въ лобъ спящаго Мартына и стала молиться.

Послѣ этого Лебедева занялась лѣченіемъ. Въ дни грѣховной неряшливой жизни, о которой она вспоминала теперь не иначе, какъ съ отвращеніемъ, ей, отъ-нечего-дѣлать, приходилось лѣчиться.

Кромѣ того, въ числѣ ея любовниковъ были доктора, отъ которыхъ она кое-чему научилась. То и другое пригодилося ей теперь какъ нельзя кстати. Она выписала аптечку, нѣсколько книгъ, газету «Врачъ» и смѣло приступила къ лѣченію. Сначала у нея лѣчились обитатели одного только Женина, потомъ же къ ней стала стекаться публика изъ всѣхъ окрестныхъ деревень.

— Представьте, моя милая! — хвалилась она попадѣть мѣсяца черезъ три послѣ прїѣзда: — вчера у меня было шестнадцать больныхъ, а сегодня такъ цѣлыхъ двадцать! Такъ я утомилась съ ними, что едва на ногахъ стою. Весь опіи у меня вышелъ, представьте! Въ Гурьинѣ эпидемія дизентеріи!

Каждое утро, просыпаясь, она вспоминала, что ее ждутъ больные, и сердце ея обливалося холодкомъ. Одѣвшись и наскоро напившись чаю, она начинала пріемку. Процедура пріемки доставляла ей невыразимое наслажденіе. Сначала она медленно, какъ бы желая продлить наслажденіе, записывала больныхъ въ тетрадку, потомъ вызывала каждого по очереди. Чѣмъ тяжелѣе страдалъ больной, чѣмъ грязнѣе и отвратительнѣе былъ его недугъ, тѣмъ слаще казалась ей работа. Ничто ей не доставляло такого удовольствія, какъ мысль, что она борется со своею брезгливостью и не щадитъ себя, и она нарочно старалась подольше копаться въ гнойныхъ ранахъ. Бывали минуты, что она, словно упоенная безобразіемъ и зло-

воніемъ ранъ, впадала въ какой-то восторженный цинизмъ, когда являлось пестерпимое желаніе насиловать свою природу, и въ эти минуты ей казалось, что она стоитъ на высотѣ своего призванія. Она обожала своихъ пациентовъ. Чувство подсказывало ей, что это ея спасители, а разсудочно она хотѣла видѣть въ нихъ не отдѣльныхъ личностей, не мужиковъ, а нѣчто абстрактное — народъ! Поэтому-то она была съ ними необыкновенно мягка, робка, краснѣла передъ ними за свои ошибки и на приѣмкахъ всегда имѣла видъ виноватой.

Послѣ каждой приѣмки, которая отнимала больше полудня, она, утомленная, красная отъ напряженія и больная, спѣшила занять себя чтеніемъ. Читала она медицинскія книги, или тѣхъ изъ русскихъ авторовъ, которые наиболѣе подходили къ ея настроенію.

Заживъ новой жизнью, Анна Михайловна почувствовала себя свѣжей, довольной и почти счастливой. Большой полноты жизни она и не хотѣла. А тутъ еще, точно въ довершеніе счастья, какъ бы вмѣсто десерта, обстоятельства сложились такъ, что она помирилась со своимъ мужемъ, передъ которымъ чувствовала себя глубоко виноватой. Лѣтъ 17 тому назадъ, вскорѣ послѣ рожденія дочери, она измѣнила своему мужу Аркадію Петровичу и должна была разойтись съ нимъ. Съ тѣхъ поръ она его не видала. Служилъ онъ гдѣ-то на югѣ въ артиллеріи батареянымъ командиромъ и изрѣдка, раза два въ годъ, присылалъ дочери письма, которыя та старательно прятала отъ матери. Послѣ же смерти дочери Анна Михайловна неожиданно получила отъ него большое письмо. Старческимъ, разслабленнымъ почеркомъ писалъ онъ ей, что со смертью единственной дочери онъ потерялъ послѣднее, что привязывало его къ жизни, что онъ старъ, боленъ и жаждетъ смерти, которой въ то же время бонется. Онъ жаловался, что все ему надоѣло и опротивѣло, что онъ пересталъ ладить съ людьми и ждетъ не дожидается того времени, когда вѣдать батарею и уйдетъ подальше отъ дрязгъ. Въ заключеніе онъ просилъ жену Бога ради молиться за него, беречь себя и не предаваться унынію. У стариковъ завязалась усердная переписка. Насколько можно было понять изъ послѣдующихъ писемъ, которыя всѣ были одинаково слезливы и мрачны, полковнику приходилось жутко не отъ однихъ только болязней и лишенія дочери: онъ залѣзъ въ долги, пере-

ссорился съ начальствомъ и съ офицерствомъ, запустилъ свою батарею до невозможности сдать ее и т. д. Перениска между супругами продолжалась около двухъ лѣтъ и кончилась тѣмъ, что старикъ подалъ въ отставку и прїѣхалъ на житье въ Женино.

Прїѣхалъ онъ въ февральскій полдень, когда женинскія постройки прятались за высокими сугробами, и въ прозрачномъ голубомъ воздухѣ вмѣстѣ съ крѣпкимъ, трескучимъ морозомъ стояла мертвая тишина.

Глядя въ окно, какъ онъ выѣзжалъ изъ саней, Анна Михайловна не узнала въ немъ своего мужа. Это былъ маленькій сгорбленный старичокъ, совсѣмъ уже дряхлый и развинченный. Аннѣ Михайловнѣ прежде всего бросились въ глаза старческія складки на его длинной шеѣ и тонкія ножки съ туго сгибаемыми колѣнями, похожія на искусственныя ноги. Расплачиваясь съ ямщикомъ, онъ долго ему что-то доказывалъ и въ заключеніе сердито плюнулъ.

— Даже говорить съ вами противно! — услышала Анна Михайловна старческое брюзжанье. — Пойми, что просить на чай безпривѣтвенно! Каждый долженъ получать только то, что онъ заработалъ, да!

Когда онъ вошелъ въ переднюю, Анна Михайловна увидѣла желтое лицо; не подрумяненное даже морозомъ, съ выпуклыми рачьими глазами и жидкой бородкой, въ которой сѣдые волосы мѣшались съ рыжими. Аркадій Петровичъ одной рукой обнялъ свою жену и поцѣловалъ ее въ лобъ. Взглянувъ другъ на друга, старики какъ будто чего-то испугались и страшно сконфузились, точно имъ стало стыдно своей старости.

— Ты какъ разъ во время, — поспѣшила заговорить Анна Михайловна. — Только сію минуту на столъ собрали! Отлично ты покушаешь съ дороги!

Сѣли обѣдать. Первое блюдо сѣли молча. Аркадій Петровичъ вынулъ изъ кармана толстый бумажникъ и разсматривалъ какія-то записочки, а его жена старательно приготавливала салатъ. У обоихъ за спинами были груды матеріала для разговора, но ни тотъ ни другая не касались этихъ грудъ. Оба чувствовали, что воспоминаніе о дочери вызоветъ острую боль и слезы, а отъ прошлаго, какъ изъ глубокой укусной бочки, вѣяло духотой и мракомъ...

— А, ты не ѣшь мяса! — замѣтилъ Аркадій Петровичъ.

— Да, я дала обѣтъ не ѣсть ничего мясного... — тихо отвѣтила жена.

— Что жъ? Это не повредитъ здоровью... Если химически разобрать, то рыба и все вообще постное состоитъ изъ тѣхъ же элементовъ, какъ и мясо. Въ сущности, ничего нѣтъ постнаго... («Для чего это я говорю?»—подумалъ старикъ.) Этотъ, напримѣръ, огурецъ такъ же скоромень, какъ и цыпленокъ...

— Нѣтъ... Когда я ѣмъ огурецъ, то знаю, что его не лишали жизни, не проливали крови...

— Это, моя милая, оптический обманъ. Съ огурцомъ ты съѣдаешь очень много инфузорій, да и самъ огурецъ развѣ не живъ? Растенія вѣдь тоже организмы! А рыба?

«Къ чему я эту чепуху говорю?»—подумалъ еще разъ Аркадій Петровичъ и тотчасъ же началъ быстро рассказывать объ успѣхахъ, которые дѣлаетъ теперь химія.

— Просто чудеса!—говорилъ онъ, съ трудомъ пережевывая хлѣбъ.—Скоро химически будутъ готовить молоко и дойдутъ, пожалуй, до мяса! Да! Черезъ тысячу лѣтъ въ каждомъ домѣ вмѣсто кухни будетъ химическая лабораторія, гдѣ изъ ничего не стоящихъ газовъ и тому подобное будутъ готовить все, что хочешь!

Анна Михайловна глядѣла на его безпокойно бѣгающіе рачьи глаза и слушала. Она чувствовала, что старикъ говоритъ о химіи только для того, чтобы не заговорить о чемъ-нибудь другомъ, но тѣмъ не менѣе его теорія о постномъ и скоромномъ заняла ее.

— Ты генераломъ вышелъ въ отставку?—спросила она, когда онъ вдругъ умолкъ и началъ сморкаться.

— Да, генераломъ... Ваше превосходительство...

Генераль говорилъ весь обѣдъ, не умолкая, и обнаружилъ такимъ образомъ чрезмѣрную болтливость—свойство, котораго во времена оны, въ молодости, Анна Михайловна не знала за нимъ. Отъ его болтовни у старухи разболѣлась голова.

Послѣ обѣда онъ отправился къ себѣ въ комнату на отдыхъ, но, несмотря на утомленіе, ему не удалось уснуть. Когда передъ вечернимъ чаемъ вошла къ нему старуха, онъ лежалъ, скорчившись, подъ одѣяломъ, таращилъ глаза на потолокъ и испускалъ прерывистые вздохи.

— Что съ тобой, Аркадій?—ужаснулась Анна Михайловна, взглянувъ на его постѣрѣвшее и вытянутое лицо.

— Ни...ничего...—проговорилъ онъ.—Ревматизмъ.

— Отчего же ты не скажешь? Можетъ-быть, я могу помочь тебѣ!

— Нельзя помочь...

— Если ревматизмъ, то іодомъ помазать... салицилового натра внутрь...

— Чепуха все это... Восемь лѣтъ лѣчился... Не стучи такъ ногами! — крикнулъ вдругъ генералъ на старуху-горничную, злобно вытаращивъ глаза. — Стучить, какъ лошадь!

Анна Михайловна и горничная, давно уже отвыкшія отъ такого тона, переглянулись и покраснѣли. Замѣтивъ ихъ смущеніе, генералъ поморщился и отвернулся къ стѣнѣ.

— Я долженъ предупредить тебя, Анюта, — просто-наль опъ. — У меня несноснѣйшій характеръ! Къ старости я брюзгой сталъ...

— Переломить себя надо... — вздохнула Анна Михайловна.

— Легко сказать: «надо»! Надо, чтобъ и боли не было, да вотъ не слушается природа нашего «надо»! Охъ! А ты, Анюта, выйди... Во время боли присутствіе людей меня раздражаетъ... Говорить тяжело...

Протекли дни, недѣли, мѣсяцы, и Аркадій Петровичъ мало-по-малу освоился на новомъ мѣстѣ: онъ привыкъ, и къ нему привыкли. На первыхъ порахъ онъ жилъ въ домѣ безвыходно, но старость и тяжесть его неспособнаго характера чувствовалась во всемъ Женинѣ. Обыкновенно просыпался онъ очень рано, часа въ четыре утра; день его начинался съ пронзительнаго старческаго кашля, будившаго Анну Михайловну и всю прислугу. Чтобы убить чѣмъ-нибудь время отъ ранняго утра до обѣда, онъ, если ревматизмъ не сковывалъ его ногъ, бродилъ по всѣмъ комнатамъ и придирался къ безпорядкамъ, которые видѣлись ему всюду. Его раздражало все: лѣньность прислуги, громкіе шаги, пѣніе пѣтуховъ, дымъ изъ кухни, церковный звонъ... Онъ брюзжалъ, бранился, гонялъ прислугу, но послѣ каждого брашнаго слова хваталъ себя за голову и говорилъ плачущимъ голосомъ:

— Боже, какой у меня характеръ! Невыносимый характеръ!

А за обѣдомъ онъ много ѣлъ и безъ умолку болталъ. Говорилъ онъ о социализмѣ, о новыхъ военныхъ реформахъ, о гигиенѣ, а Анна Михайловна слушала и чувствовала, что все это говорилось для того только, чтобы не говорить о дочери и о прошедшемъ. Обоимъ все еще въ присутствіи другъ

друга было неловко и какъ будто чего-то стыдно. Только вечерами, когда въ комнатахъ стояли сумерки и за печкой уныло покрикивалъ сверчокъ, эта неловкость исчезала. Они сидѣли рядомъ, молчали, и въ это время души ихъ словно шептались о томъ, чего они оба не рѣшались высказать вслухъ. Въ это время они, согрѣвая другъ друга остатками жизненной теплоты, отлично понимали, о чемъ думаетъ каждый изъ нихъ. Но вносила горничная лампу, и старикъ опять принимался болтать или брзжать на безпорядки. Дѣла у него не было никакого. Анна Михайловна хотѣла было втянуть его въ свою медицину, но на первой же пріемкѣ онъ зѣвалъ и хандрилъ. Привязать его къ чтенію тоже не удалось. Читать долго, часами, онъ, привыкшій на службѣ къ чтенію урывками, не умѣлъ. Достаточно ему было прочесть 5 — 6 страницъ, чтобы онъ утомлялся и снималъ очки.

Но наступила весна, и генералъ измѣнилъ свой образъ жизни. Когда отъ усадьбы въ зеленое поле и къ деревнѣ забѣгали свѣже-протоптанныя тропинки и на деревьяхъ передъ окнами запоносились птицы, онъ неожиданно для Анны Михайловны сталъ ходить въ церковь. Ходилъ онъ въ церковь не только по праздникамъ, но и въ будни. Такое религіозное усердіе началось съ панихиды, которую старикъ тайкомъ отъ жены отслужилъ по дочери. Во время панихиды онъ стоялъ на колѣняхъ, клалъ земные поклоны, плакалъ, и ему казалось, что онъ горячо молится. Но то была не молитва. Отдавшись отеческому чувству, рисуя въ памяти черты любимой дочери, онъ глядѣлъ на иконы и шепталъ:

— Шурочка! Дитя мое любимое! Ангелъ мой!

Это былъ припадокъ старческой грусти, но старикъ вообразилъ, что въ немъ происходитъ реакція, переворотъ. На другой день его опять потянуло въ церковь, на третій тоже... Изъ церкви возвращался онъ свѣжій, сіяющій, съ улыбкой во все лицо. За обѣдомъ темою для его неумолкаемой болтовни служила уже религія и богословскіе вопросы. Анна Михайловна, входя къ нему въ комнату, нѣсколько разъ заставляла его за перелистываніемъ евангелія. Но, къ сожалѣнію, это религіозное увлеченіе продолжалось недолго. Послѣ одного особенно сильнаго припадка ревматизма, который продолжался цѣлую недѣлю, онъ уже не пошелъ въ церковь: какъ-то не вспомнилъ, что ему нужно идти къ обѣдѣ.

Ему вдругъ захотѣлось общества.

— Не понимаю, какъ это можно жить безъ общества! — сталъ онъ брюзжать. — Я долженъ сдѣлать сосѣдямъ визиты! Пусть это глупо, пусто, но, пока я живъ, я долженъ подчиняться условіямъ свѣта.

Анна Михайловна предложила ему лошадей. Онъ сдѣлалъ сосѣдямъ визиты, но ужъ во второй разъ къ нимъ никто не поѣхалъ. Потребность быть въ обществѣ людей удовлетворялась тѣмъ, что онъ сѣменилъ по деревнѣ и придирался къ мужикамъ.

Однажды утромъ онъ сидѣлъ въ столовой передъ открытымъ окномъ и пилъ чай. Передъ окномъ въ палисадникѣ около кустовъ сирени и крыжовника сидѣли на скамьяхъ мужики, пришедшіе къ Аннѣ Михайловнѣ лѣчиться. Старикъ долго щурился на нихъ глаза, потомъ забрюзжалъ:

— Ces moujiks... Объекты гражданской скорби... Чѣмъ отъ болѣзней лѣчиться, вы бы лучше пошли куда-нибудь отъ подлостей и гадостей полѣчиться.

Анна Михайловна, обожавшая своихъ пациентовъ, оставила разливать чай и съ нѣмымъ удивленіемъ поглядѣла на старика. Пациенты, не выдавшіе въ домѣ Лебедева ничего, кромѣ ласки и теплаго участія, тоже удивились и поднялись съ мѣста.

— Да, господа мужички... ces moujiks... — продолжалъ генералъ. — Удивляете вы меня. Очень удивляете! Ну, не скоты ли? — повернулся старикъ къ Аннѣ Михайловнѣ. — Уѣздное земство дало имъ займы для посѣва овса, а они взяли да и пропили этотъ овесъ! Не одинъ пропилъ, не двое, а всѣ! Кабатчикамъ некуда было овесъ ссыпать... Хорошо это? — повернулся генералъ къ мужикамъ. — А? Хорошо?

— Оставь, Аркадій! — прошептала Анна Михайловна.

— Вы думаете, земству этотъ овесъ даромъ достался? Какіе же вы послѣ этого граждане, если вы не уважаете ни своей, ни чужой, ни общественной собственности? Овесъ вотъ и пропили... лѣсъ вырубili и тоже пропили... воруете все и вся... Моя жена васъ лѣчить, а вы у нея заборъ разворовали... Хорошо это?

— Довольно! — простонала генеральша.

— Пора за умъ взяться!.. — продолжалъ брюзжать Лебедевъ. — Глядѣть на васъ стыдно! Ты вотъ, рыжій, пришелъ лѣчиться, — пога у тебя болитъ? — а не позабо-

тился дома ноги помыть... На вершокъ грязи! Надѣшься, невѣжа, что тутъ обмоютъ? Вбили себѣ въ голову, что они ces moujiks, ну и воображаютъ, что ужъ могутъ верхомъ на людяхъ ѣздить. Вѣнчалъ попъ какого-то Оедора, здѣшняго столяра. Столяръ ему ни копейки не заплатилъ. «Бѣдность! — говоритъ. — Не могу!» Ну ладно. Только попъ заказываетъ этому Оедору полочку для книгъ... Что жъ ты думаешь? Разъ пять онъ къ попу за полученіемъ приходилъ! А? Ну, не скотина ли? Самъ попу не заплатилъ, а...

— У попа и безъ того денегъ много... — угрюмо пробасилъ одинъ изъ паціентовъ.

— А ты почему знаешь? — вспыхнулъ генераль, вскакивая и высовываясь въ окно. — Ты нешто заглядывалъ попу въ карманъ? Да будь онъ хоть милліонеръ, а ты не долженъ пользоваться даромъ его трудами! Самъ не даешь даромъ, такъ и не бери даромъ! Ты не можешь себѣ представить, какія у нихъ мерзости творятся! — повернулся генераль къ Аннѣ Михайловнѣ. — Ты побывала бы на ихъ судахъ да на сходахъ! Это разбойники!

Генераль не унялся даже когда началась пріемка. Онъ придирался къ каждому больному, передразнивалъ, объяснялъ всѣ болѣзни пьянствомъ и распутствомъ.

— Ишь какой худой! — ткнулъ онъ одного пальцемъ въ грудь. — А отчего? Ъсть нечего! Пропилъ все! Вѣдь ты овесъ земскій пропилъ?

— Что и говорить, — вздохнулъ больной: — прежде при господахъ лучше было...

— Врешь! Лжешь! — вспыхнулъ генераль. — Вѣдь ты говоришь это неискренно, а чтобы лестъ сказать!

На другой день генераль сидѣлъ у окна и пропекалъ больныхъ. Это занятіе увлекло его, и онъ сталъ сидѣть у окна ежедневно. Анна Михайловна, видя, что ея супругъ не унимается, начала принимать больныхъ въ амбарѣ, но генераль добрался и до амбара. Старуха со смиреніемъ сносила это «испытаніе» и выражала свой протестъ только тѣмъ, что краснѣла и раздавала обруганнымъ больнымъ деньги, когда же больные, которымъ генераль пришелся сильно не по вкусу, стали ходить къ ней все рѣже и рѣже, она не выдержала. Однажды за обѣдомъ, когда генераль сострилъ что-то насчетъ больныхъ, глаза ея вдругъ налились кровью, и по лицу забѣгали судороги.

— Я просила бы тебя оставить моихъ больныхъ въ покоѣ... — сказала она строго. — Если ты чувствуешь потребность излить на комъ-нибудь свой характеръ, то брани меня, а ихъ оставь... Благодаря тебѣ они перестали ходить лѣчиться...

— Ага, перестали! — ухмыльнулся генераль. — Обидѣлись! Юпитеръ, ты сердился, стало-быть, ты не правъ. Хо-хо... А это, Анюта, хорошо, что они перестали ходить. Я очень радъ... Вѣдь твое лѣченіе не приноситъ ничего, кромѣ вреда! Вмѣсто того, чтобы лѣчиться въ земской больницѣ у врача, по правиламъ науки, они ходятъ къ тебѣ отъ всѣхъ болѣзней содой да касторкой лѣчиться. Вольшой вредъ!

Анна Михайловна пристально поглядѣла на старика, подумала и вдругъ поблѣднѣла.

— Конечно, — продолжалъ болтать генераль. — Въ медицинѣ прежде всего нужны знанія, а потомъ ужъ филантропія, безъ знаній же она — шарлатанство... Да и по закону ты не имѣешь права лѣчить. По-моему, ты гораздо больше принесешь пользы больному, если грубо погонишь его къ врачу, чѣмъ сама начинаешь лѣчить.

Генераль помолчалъ и продолжалъ:

— Если тебѣ не правится мое обращеніе съ ними, то изволь, я прекращу разговоры, хотя, впрочемъ... рассуждая по совѣсти, искренность по отношенію къ нимъ гораздо лучше молчанія и поклоненія. Александръ Македонскій великій человекъ, но стульевъ ломать не слѣдуетъ, такъ и русскій народъ — великій народъ, но изъ этого не слѣдуетъ, что ему нельзя въ лицо правду говорить. Нельзя изъ народа болонку дѣлать. Эти *ses moujiks* такіе же люди, какъ и мы съ тобой, съ такими же недостатками, а потому не молиться на нихъ, не нянчиться, а учить ихъ нужно, направлять... внушать...

— Не намъ ихъ учить... — пробормотала генеральша. — Мы у нихъ поучиться можемъ.

— Чему это?

— Мало ли чему?.. Да хоть бы... трудолюбію...

— Трудолюбію? А? Ты сказала: трудолюбію?

Генераль поперхнулся, вскочилъ изъ-за стола и зашагалъ по комнатѣ.

— А я развѣ не трудился? — выпыхнулъ онъ. — Впрочемъ... я интеллигентъ, а не *moujik*, гдѣ же мнѣ трудиться? Я... я интеллигентъ!

Старикъ не на шутку обидѣлся, и его лицо приняло мальчишески-капризное выраженіе.

— Черезъ мои руки тысячи солдатъ прошло... я окולѣвалъ на войнѣ, схватилъ на всю жизнь ревматизмъ и... и я не трудился! Или, скажешь мнѣ, у этого твоего народа страдать поучиться? Конечно, развѣ я страдалъ когда-нибудь? Я потерялъ родную дочь... то, что привязывало еще къ жизни въ этой проклятой старости! Я не страдалъ!

При внезапномъ воспоминаніи о дочери старики вдругъ заплакали и стали утираться салфетками.

— И мы не страдаемъ! — всхлипывалъ генераль, давая волю слезамъ. — У нихъ есть цѣль жизни... вѣра, а у насъ одни вопросы... вопросы и ужасъ! Мы не страдаемъ!

Оба старика почувствовали другъ къ другу жалость. Они сѣли рядомъ и проплакали вмѣстѣ часа два. Послѣ этого они уже смѣло глядѣли въ глаза одинъ другому и смѣло говорили о дочери, о прошедшемъ и о грозившемъ будущемъ.

Вечеромъ они легли спать въ одной комнатѣ. Старикъ говорилъ безъ умолку и мѣшалъ женѣ спать.

— Боже мой, какой у меня характеръ! — говорилъ онъ. — Ну, къ чему я говорилъ тебѣ все это? Вѣдь то были иллюзіи, а человѣку, особенно въ старости, естественно жить иллюзіями. Своей болтовней я отпьялъ у тебя послѣднее утѣшеніе. Знала бы ты себѣ до смерти лѣчила мужиковъ да не ѣла мяса, такъ итѣть же, держалъ меня чортъ за языкъ! Безъ иллюзій нельзя!.. Бываетъ, что цѣлыя государства живутъ иллюзіями... Знаменитые писатели, на что, кажется, умны, но и то безъ иллюзій не могутъ. Вотъ твой любимецъ семь томовъ про «народъ» написалъ!

Часъ спустя генераль ворочался и говорилъ:

— И почему это именно въ старости человѣкъ слѣдитъ за своими ощущеніями и критикуетъ свои поступки? Отчего бы въ молодости ему не заниматься этимъ? Старость и безъ того невыносима... Да... Въ молодости вся жизнь проходитъ безслѣдно, едва задѣпляя сознаніе, въ старости же каждое малѣйшее ощущеніе гвоздемъ сидитъ въ головѣ и поднимаетъ уйму вопросовъ.

Старики уснули поздно, но встали рано. Вообще послѣ того, какъ Анна Михайловна оставила лѣченіе, спали они мало и плохо, отчего жизнь казалась имъ вдвое длиннѣе...

Ночи коротали они разговорами, а днемъ безъ дѣла слонялись по комнатамъ, или по саду, и вопросительно заглядывали въ глаза другъ другу.

Къ концу лѣта судьба послала старикамъ еще одну «иллюзію». Анна Михайловна, войдя однажды къ мужу, застала его за интереснымъ занятіемъ: онъ сидѣлъ за столомъ и съ жадностью ѣлъ третью рѣдкую съ коноплянымъ масломъ. На его лицѣ ходуномъ-ходили всѣ жилки, и около угловъ рта всхлипывали слюнки.

— Покушай-ка, Анюта,—предложилъ онъ.—Великолѣпіе!

Анна Михайловна нерѣшительно попробовала рѣдку и стала ѣсть. Скоро и на ея лицѣ появилось выраженіе жадности...

— Хорошо бы, знаешь, тово...—говорилъ генералъ въ тотъ же день, ложась спать.—Хорошо бы, какъ это жида дѣлаютъ, распоротъ щукѣ брюхо, взять изъ нея икру и, знаешь, съ зеленымъ лукомъ... свѣжую...

— А что же? Щуку нетрудно поймать!

Раздѣтый генералъ отправился босикомъ въ кухню, разбудилъ повара и заказалъ ему поймать щуку. На утро Аннѣ Михайловнѣ захотѣлось вдругъ балыка, и Мартынъ долженъ былъ скакать въ городъ за балыкомъ.

— Ахъ,—испугалась старуха:—забыла я сказать ему, чтобы онъ кстати и мятныхъ пряниковъ кушилъ! Мнѣ что-то сладенькаго захотѣлось.

Старики отдались вкусовымъ ощущеніямъ. Оба сидѣли безвыходно въ кухнѣ и взапуски изобрѣтали кушанья. Генералъ напрягалъ свой мозгъ, вспоминалъ лагерную холостецкую жизнь, когда самому приходилось заниматься кулинаріей, и изобрѣталъ... Изъ числа изобрѣтенныхъ имъ кушаній обонямъ понравилось въ особенности одно, приготовленное изъ риса, тертаго сыра, яицъ и сока пережареннаго мяса. Въ эту ѣду входитъ много перца и лаврового листа.

Пикантнымъ блюдомъ закончилась послѣдняя «иллюзія». Ему суждено было быть послѣднею прелестью обихъ жизни.

— Вѣроятно, дождь будетъ,—говорилъ въ одну сентябрьскую ночь генералъ, у котораго начинался припадокъ.— Не слѣдовало бы мнѣ сегодня ѣсть такъ много этого рису... Тяжело!

Генеральша раскинулась на постели и тяжело дышала. Ей было душно... И у нея, какъ и у старика, сосало подъ ложечкой.

— А тутъ еще, чортъ ихъ побери, ноги чешутся... — брюзжалъ старикъ. — Отъ пятокъ до колѣнъ какой-то зудъ стоитъ... Боль и зудъ... Невыносимо, чортъ бы его взялъ! Впрочемъ, я мѣшаю тебѣ спать... Прости!..

Прошло больше часа въ молчаніи... Анна Михайловна мало-по-малу привыкла къ тяжести подъ ложечкой и забылась. Старикъ сѣлъ въ постели, положилъ голову на колѣни и долго сидѣлъ въ такомъ положеніи. Потомъ онъ сталъ чесать себѣ голени. Чѣмъ усерднѣе работали его ноги, тѣмъ злѣе становился зудъ.

Немного погодя несчастный старикъ слѣзъ съ постели и захромалъ по комнатѣ. Онъ поглядѣлъ въ окно... Тамъ за окномъ при яркомъ свѣтѣ луны осенній холодъ постепенно сковывалъ умирающую природу. Видно было, какъ сѣрый, холодный туманъ заволакивалъ блекнувшую траву, и какъ зябнувшій лѣсъ не спалъ и вздрагивалъ остатками желтой листвы.

Генералъ сѣлъ на полу, обнялъ колѣни и положилъ на нихъ голову.

— Анята! — позвалъ онъ.

Чуткая старуха заворочалась и открыла глаза.

— Я вотъ что думаю, Анята, — началъ старикъ. — Ты не спишь? Я думаю, что самымъ естественнымъ содержаніемъ старости должны быть дѣти... Какъ по-твоему? Но разъ дѣтей нѣтъ, человѣкъ долженъ занять себя чѣмъ-нибудь другимъ... Хорошо подъ старость быть писателемъ... художникомъ, ученымъ... Говорятъ, Гладстонъ, когда дѣлать ему нечего, древнихъ классиковъ изучаетъ — и увлекается. Если и со службы его прогонять, то будетъ и у него чѣмъ жизнь наполнить. Хорошо также и въ мистицизмъ впасть, или... или...

Старикъ почесалъ ноги и продолжалъ:

— А то случается, что старики впадаютъ въ дѣтство, когда хочется, знаешь, деревца сажать, ордена носить... спиритизмомъ заниматься...

Послышался легкій храпъ старухи. Генералъ поднялся и опять взглянулъ въ окно. Холодъ угрюмо просился въ комнату, а туманъ ползъ уже къ лѣсу и обволакивалъ его стволы.

— До весны еще сколько мѣсяцевъ? — думалъ старикъ, припадая лбомъ къ холодному стеклу. — Октябрь, ноябрь... декабрь.... Шестъ мѣсяцевъ!

И эти шесть мѣсяцевъ показались ему почему-то безко-

печно длинными, длинными, какъ его старость. Онъ похромалъ по комнатѣ и сѣлъ на кровать.

— Анята! — позвалъ онъ.

— Ну?

— У тебя аптека заперта?

— Нѣтъ, а что?

— Ничего... Хочу себѣ ноги іодомъ помазать.

Наступило опять молчаніе.

— Анята! — разбудилъ старикъ жену.

— Что?

— На склянкахъ есть надписи?

— Есть, есть.

Генераль медленно зажегъ свѣчу и вышелъ.

Долго сонная Анна Михайловна слышала шлепаніе босыхъ ногъ и звяканье скляночекъ. Наконецъ онъ вернулся, крикнулъ и легъ.

Утромъ онъ не проснулся. Просто ли онъ умеръ или же оттого, что ходилъ въ аптеку, Анна Михайловна не знала. Да и не до того ей было, чтобы искать причину этой смерти...

Она опять беспорядочно, судорожно заторопилась. Начались жертвованія, постъ, обѣты, сборы на богомолье...

— Въ монастырь! — шептала она, прижимаясь отъ страха къ старухѣ-горничной. — Въ монастырь!

1886.

ВЪ СОКОЛЬНИКАХЪ.

(Сценка).

День 2-го мая клонится къ вечеру. Шопоть сокольниковъ сосенъ и пѣніе птицъ заглушены шумомъ экипажей, разговоромъ и музыкой. Гулянье въ разгарѣ. За однимъ изъ чайныхъ столовъ Старого Гулянья сидитъ парочка: мужчина въ лоснящемся цилиндрѣ и дама въ голубой шляпкѣ. Предъ ними на столѣ кипящій самоваръ, пустая водочная бутылка, чашки, рюмки, порѣзанная колбаса, апельсинныя корки и проч. Мужчина пьянъ жестоко... Онъ сосредоточенно глядитъ на апельсинную корку и бессмысленно улыбается.

— Натрескался, идолъ! — сердито бормочетъ дама, конфузиво озираясь. — Ты бы, прежде чѣмъ трескать, разсудилъ бы, безстыжіе твои глаза. Мало того, что людямъ противно на тебя глядѣть, ты и себѣ самому всякое удовольствіе испортилъ. Пьешь, напрімѣръ, чай, а какой у тебя теперь вкусъ? Для тебя теперь, что мармедадъ, что колбаса, все равно... А я-то старалась, брала чего бы лучше...

Безсмысленная улыбка на лицѣ мужчины смѣняется выраженіемъ крайней скорби.

— Ммаша, куда это людей ведутъ?

— Никуда ихъ не ведутъ, а они сами гуляютъ...

— А зачѣмъ городской идетъ?

— Городовой? Для порядка, а можетъ-быть, и гулясть... Эка, до чего допился, ужъ ничего не смыслить!

— Я... я ничего... Я художникъ... жанристъ...

— Молчи! Натрескался, ну и молчи... Ты, чѣмъ бормотать, разсуди лучше... Кругомъ деревья зеленые, травка, птички на разные голоса... А ты безъ вниманія, словно тебя и нѣтъ тутъ... Глядишь и какъ въ туманѣ... Художники норовятъ теперь природу подмѣчать, а ты какъ зюзя...

— Природа... — крутитъ головой мужчина. — Природа... Птички поютъ, крокодилы ползаютъ... львы... тигры...

— Мели, мели... Всѣ люди, какъ люди... подъ ручку гуляютъ, музыку слушаютъ, одинъ ты въ безобразіи... И когда это ты успѣлъ надрызгаться? Какъ это я не доглядѣла?

— Ммаша, — бормочетъ цилиндръ, блѣднѣя. — Скорѣй!

— Чего тебѣ?

— Домой желаю... Скорѣй...

— Погоди... Потемнѣетъ, тогда и пойдемъ, а теперь совѣстно идти: качаться будешь... Люди смѣются ступить... Сиди и жди...

— Нне могу! Я... я домой...

Мужчина быстро поднимается и, качаясь, выходитъ изъ-за стола. Публика, сидящая на другихъ столахъ, начинаетъ посмѣиваться... Дама конфузится...

— Убей меня Богъ, ежели еще хоть разъ съ тобой пойду, — бормочетъ она, поддерживая мужчину. — Одинъ срамъ только... Добро бы законный былъ, а то такъ... съ вѣтру...

— Ммаша, гдѣ мы?

— Молчи! Постыдился бы: всѣ люди пальцами показываютъ... Тебѣ-то какъ съ гуся вода, а мнѣ-то какво? Добро бы законный былъ, а то... такъ... Дастъ рубль и мѣсяцъ попрекаетъ: «Я тебя кормлю! Я тебя содержу!» Очень мнѣ нужно! Да плевать я хотѣла на твои деньги! Возьму и уйду къ Павлу Ивановичу...

— Ммаша... домой... Извозчика найми...

— Ну, иди... Ступай по аллеѣ прямо, а я пойду въ сторонкѣ... Мнѣ съ тобой совѣстно итти... Иди прямо!

Дама ставитъ своего «незаконнаго» лицомъ къ выходу и даетъ ему легкій толчокъ въ спину. Мужчина подается впередъ и, покачиваясь, толкаясь о проходящихъ и скамьи, спѣшитъ впередъ... Дама идетъ позади и слѣдитъ за его движеніями. Она сконфужена и встревожена...

— Палочекъ, сударь, не желаете ли? — обращается къ шагающему мужчинѣ человекъ съ вязанкой палокъ и тростей. — Самыя лучшія... пунцовыя... бамбукъ-съ...

Мужчина глупо глядитъ на продавца палокъ, потомъ поворачивается назадъ и мчится въ противоположную сторону. На лицѣ его выраженіе ужаса.

— Куда это тебя нелегкая несетъ? — останавливаетъ его дама, хватая за рукавъ. — Ну, куда?

— Гдѣ Маша?.. Ммаша ушла...

— А я-то кто?

Дама беретъ подъ руку мужчину и ведетъ его къ выходу. Ей совѣстно...

— Убей меня Богъ, ежели хоть еще разъ съ тобой пойду... — бормочетъ она. — Послѣдній разъ терплю такой срамъ... Накажи меня Богъ... Завтра же уйду къ Павлу Ивановичу!

Дама робко поднимаетъ глаза на публику, въ ожиданіи увидѣть на лицахъ насмѣшливыя улыбки... Но видитъ она одни только пьяныя лица... Всѣ качаются и клуютъ носами... И ей становится легче.

ДИПЛОМАТЪ.

(Сцепка).

Жена титулярнаго совѣтника Анна Львовна Кувалдина испустила духъ.

— Какъ же теперь быть-то? — начали совѣщаться родственники и знакомые. — Надо бы мужа увѣдомить. Онъ хоть не жилъ съ нею, но все-таки любилъ покойницу. Намеднись пріѣзжалъ къ ней, на колѣнкахъ ползалъ и все: «Ашючка! Когда же наконецъ ты простишь мнѣ увлеченіе минуты?» И все въ такомъ, знаете, родѣ. Надо дать знать...

— Аристархъ Ивановичъ! — обратилась заплаканная тетенька къ полковнику Пискареву, принимавшему участіе въ рождественномъ совѣщаніи. — Вы другъ Михаилу Петровичу. Сдѣлайте милость, съѣздите къ нему въ правленіе и дайте ему знать о такомъ несчастіи... Только вы, голубчикъ, не сразу, не оглушите, а то какъ бы и съ нимъ чего не случилось. Болѣзненный. Вы подготовьте его сначала, а потомъ ужъ...

Полковникъ Пискаревъ надѣлъ фуражку и отправился въ правленіе дороги, гдѣ служилъ новоиспеченный вдовецъ. Засталъ онъ его за выведеніемъ баланса.

— Михайлѣ Петровичу, — началъ онъ, подсаживаясь къ столу Кувалдина и утирал потъ. — Здорово, голубчикъ! Да и пыль же на улицахъ, прости Господи! Пиши, пиши... Я мѣшать не стану... Посижу и уйду... Шель, знаешь, мимо и думаю: а вѣдь здѣсь Миша служить! Дай зайду! Кстати же и тово... дѣльце есть...

— Посидите, Аристархъ Ивановичъ... Погодите... Я черезъ четверть часика кончу, тогда и потолкуемъ...

— Пиши, пиши... Я вѣдь такъ только, гуляючи... Два словечка скажу и — айда!

Кувалдинъ положилъ перо и приготовился слушать. Полковникъ почесалъ у себя за воротникомъ и продолжалъ:

— Душно у васъ здѣсь, а на улицѣ чистый рай... Солнышко, вѣтерочекъ этакій, знаешь ли... птички... Весна! Иду себѣ по бульвару, и такъ мнѣ, знаешь ли, хорошо!.. Человѣкъ я независимый, вдовый... Куда хочу, туда и иду... Хочу — въ портерную зайду, хочу — на конкѣ взадъ и впередъ проѣдусь, и никто не смѣетъ меня остановить, никто за мной дома не воетъ... Нѣтъ, братъ, лучше житья, какъ на холостомъ положеніи... Вольно! Свободно! Дышишь и чувствуешь, что дышишь! Приду сейчасъ домой и никакихъ... Никто не посмѣетъ спросить, куда ходилъ... Самъ себѣ хозяинъ... Многие, братецъ ты мой, хвалятъ семейную жизнь, по-моему же она хуже каторги... Моды эти, турнюры, сплетни, визгъ... то и дѣло гости... дѣтишки одинъ за другимъ такъ и ползутъ на свѣтъ Божій... расходы... Тьфу!

— Я сейчасъ, — проговорилъ Кувалдинъ, берясь за перо. — Кончу и тогда...

— Пиши, пиши... Хорошо, если жена попадется не дьяволица, ну а ежели сатана въ юбкѣ? Ежели такая, что по цѣлымъ днямъ стрекозить да зудить?.. Взвоешь! Взять хоть тебя къ примѣру... Пока холостъ былъ, на человѣка похожъ былъ, а какъ женился на своей, и захирѣлъ, въ меланхолію ударился... Осрамила она тебя на весь городъ... изъ дому прогнала... Чтò жъ тутъ хорошаго? И жалѣть такую жену нечего...

— Въ нашемъ разрывѣ я виноватъ, а не она, — вздохнулъ Кувалдинъ.

— Оставь, пожалуйста! Знаю я ее! Злющая, своенравная, лукавая! Чтò ни слово, то жало ядовитое, чтò ни взглядъ, то ножъ острый... А чтò въ ней, въ покойницѣ, ехидства этого было, такъ и выразить невозможно!

— То-есть какъ въ покойницѣ? — сдѣлалъ большіе глаза Кувалдинъ.

— Да нешто я сказалъ: въ покойницѣ? — спохватился Пискаревъ, краснѣя. — И вовсе я этого не говорилъ... Чтò ты, Богъ съ тобой... Ужъ и поблѣднѣлъ! Хе-хе... Ухомъ слушай, а не брюхомъ!

— Вы были сегодня у Анюты?

— Заходилъ утромъ... Лежить... Прислугой помыкаетъ... То ей не такъ подали, другое... Невыносимая женщина! Не понимаю, за что ты и любишь ее, Богъ съ ней совѣмъ... Далъ бы Богъ, развязала бы она тебя несчастнаго... Пожилъ бы ты на свободѣ, повеселился... на другой бы оженился... Ну, пу, не буду! Не хмурься! Я вѣдь такъ только, по-стариковски... По мнѣ, какъ знаешь... Хочешь — люби, хочешь — не люби, а я вѣдь такъ... добра желаючи... Не живетъ съ тобой, знать тебя не хочетъ... что жъ это за жена? Некрасивая, хилая, злоправная... И жалѣть не за что... Пушай бы...

— Легко вы разсуждаете, Аристархъ Ивановичъ! — вздохнулъ Кувалдинъ. — Любовь — не волосъ, не скоро ее вырвешь.

— Есть за что любить! Окромѣ ехидства ты отъ нея ничего не видѣлъ. Ты прости меня старика, а не любилъ я ея... Видѣть не могъ! Ъду мимо ея квартиры и глаза закрываю, чтобы не увидѣть... Богъ съ ней! Царство ей небесное, вѣчный покой, но... не любилъ, грѣшный человѣкъ!

— Послушайте, Аристархъ Ивановичъ... — поблѣднѣлъ Кувалдинъ. — Вы уже во второй разъ проговариваетесь... Умерла она, что ли?

— То-есть кто умерла? Никто не умиралъ, а только не любилъ я ее, покойницу... тьфу! То-есть не покойницу, а ее... Аннушку-то твою...

— Да она умерла, что ли? Аристархъ Ивановичъ, не мучьте меня! Вы какъ-то странно возбуждены, путаетесь... холостую жизнь хвалите... Умерла? Да?

— Ужъ такъ и умерла! — пробормоталъ Пискаревъ, кашляя. — Какъ ты, братъ, все сразу... А хоть бы и умерла! Всѣ помереть, и ей, стало-быть, помирать надо... И ты померешь и я...

Глаза Кувалдина покраснѣли и налили слезами.

— Въ какомъ часу? — спросилъ онъ тихо.

— Ни въ какомъ... Ужъ ты и рюмзаешь! Да не умерла она! Кто тебѣ сказалъ, что она померла?

— Аристархъ Ивановичъ, я... я прошу васъ. Не щадите меня!

— Съ тобой, братъ, и говорить нельзя, словно ты маленкій. Вѣдь не говорилъ же я тебѣ, что она преставилась? Вѣдь не говорилъ? Чего же слюни распускаешь? Поди, полюбуйся — живехонька! Когда заходилъ къ ней,

съ теткой бранилась... Тутъ отецъ Матвѣй панихиду служить, а она на весь домъ оретъ.

— Какую панихиду? Зачѣмъ ее служить?

— Панихиду-то? Да такъ... словно какъ бы вмѣсто молебствія. То-есть... никакой панихиды не было, а что-то такое... ничего не было.

Аристархъ Ивановичъ залутался, всталъ и, отвернувшись къ окну, началъ кашлять.

— Кашель у меня, братецъ... Не знаю, гдѣ простудился...

Кувалдинъ тоже поднялся и нервно заходилъ около стола.

— Морочаете вы меня, — сказалъ онъ, теребя дрожащими руками свою бородку. — Теперь понятно... все понятно. И не знаю, къ чему вся эта дипломатія! Почему же сразу не говорить? Умерла вѣдь?

— Гм... Какъ тебѣ сказать? — пожалъ плечами Пискаревъ. — Не то чтобы умерла, а такъ... Ну вотъ ты ужъ и плачешь! Всѣ вѣдь умремъ! Не одна она смертная, всѣ на томъ свѣтѣ будемъ! Чѣмъ плакать-то при людяхъ, взялъ бы лучше да помянулъ! Перекрестился бы!

Полминуты Кувалдинъ тупо глядѣлъ на Пискарева, потомъ страшно поблѣднѣлъ и, упавши въ кресло, залился истерическимъ плачемъ... Изъ за-столовъ повскакивали его сослуживцы и бросились къ нему на помощь. Пискаревъ почесалъ затылокъ и нахмурился.

— Комиссія съ такими господами, ей-Богу! — проворчалъ онъ, растопыривая руки. — Реветь... ну, а отчего реветъ, спрашивается? Миша, да ты въ своемъ умѣ? Миша! — принялся онъ толкать Кувалдина. — Вѣдь не умерла же еще! Кто тебѣ сказалъ, что она умерла? Напротивъ, доктора говорятъ, что есть еще надежда! Миша! А Миша! Говорю тебѣ, что не померла! Хочешь, вмѣстѣ къ ней съѣздимъ? Какъ разъ и къ панихидѣ поспѣемъ... то-есть, что я? Не къ панихидѣ, а къ обѣду. Мишенька! увѣряю тебя, что еще жива! Накажи меня Богъ! Лопни мои глаза! Не вѣришь? Въ такомъ разѣ ѣдемъ къ ней... Назовешь тогда чѣмъ хочешь, ежели... И откуда онъ это выдумалъ, не понимаю? Самъ я сегодня былъ у покойницы, то-есть не у покойницы, а... тѣфу!

Полковникъ махнулъ рукой, плюнулъ и вышелъ изъ правленія. Придя въ квартиру покойницы, онъ повалился на диванъ и схватилъ себя за волосы.

— Ступайте вы къ нему сами! — проговорилъ онъ въ отчаяніи. — Сами его подготавлийте къ извѣстію, а меня ужъ избавьте! Не желаю-съ! Два слова ему только ска- залъ... Чуть только намекнулъ, поглядите, что съ нимъ дѣлается! Помираетъ! Безъ чувствъ! Въ другой разъ ни за какія коврижки!.. Сами идите!..

1885.

БУМАЖНИКЪ.

(Басня въ прозѣ).

Три странствующихъ актера Смирновъ, Поповъ и Балабайкинъ шли въ одно прекрасное утро по желѣзно-дорожнымъ шпаламъ и нашли бумажникъ. Раскрывъ его, они къ великому своему удовольствію увидѣли въ немъ двадцать банковыхъ билетовъ, шесть выигрышныхъ биле- товъ 2-го займа, чекъ на контору Юнкера и подписной билетъ на журналъ «Будильникъ». Первымъ дѣломъ они крикнули «ура», потомъ же сѣли на насыпи и преда- лись восторгамъ.

— Сколько же это на рыло приходится? — говорилъ Смирновъ, считая деньги. — Батеньки! По пяти тысячъ четыреста сорока пяти рублей! Голубчики, да вѣдь это очумѣешь, умрешь отъ такихъ денегъ! Лопнешь!

— Не такъ я за себя радъ, — сказалъ Балабайкинъ: — какъ за свою семью. Не будутъ теперь голодать да боси- комъ ходить... Перво-наперво, братцы, качу въ Москву и прямо къ Аиѣ: «шей ты мнѣ, братецъ, гардеробъ»... Не хочу пейзажовъ изображать, буду фатовъ да хлы- щей отжаривать... Не забыть бы только къ Вандрагу зайти, шапо-клякъ купить.

— Теперь бы на радостяхъ за галстукъ трахнуть да червячка утробнаго заморить... — замѣтилъ *jeune premier* Поповъ. — Пожрать бы чего-нибудь, а то мы три дня ничего не ѣли... А?

— Да, педурно бы... — промычалъ Смирновъ. — Де- негъ много, а ѣсть нечего... Вотъ что, миляга Поповъ, ты моложе и легче насъ всѣхъ, возьми изъ бумажника



рублевку и маршируй за провизіей... Воо-оонъ деревня! Видишь, за курганомъ бѣлѣтъ церковь? Верстъ пять будетъ, не больше... Видишь? Деревня большая, и ты все тамъ найдешь... Купи водки бутылку, фунтъ колбасы, два хлѣба и сельдь... понимаешь?

Поповъ взялъ рубль и, спустившись съ насыпи, направилъ стопы свои къ темнѣвшей вдали деревенькѣ...

«Вѣдь этокое счастье! — размышлялъ онъ дордогой. — Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ. Махну теперь въ родную Кострому, соберу трупну и выстрою тамъ свой театръ. Впрочемъ... за пять тысячъ нынче и сарая путнаго не выстроишь, особливо ежели безъ купеческой подмоги... Вотъ если бы весь бумажникъ былъ мой, ну, тогда другое дѣло... Такой бы театрище соорудилъ, что даже Лентовскому не снился... Собственно говоря, Смирновъ и Балабайкинъ — свиньи... Они деньги на пустяки изведутъ, а я бы пользу отечеству принесъ и себя бы обезсмертилъ... Вотъ чтò я сдѣлаю... Возьму и положу въ водку яду: пусть околѣютъ. Они умрутъ, но зато въ Костромѣ будетъ театръ, какого не знала еще Россія! Макиавелли сказалъ, что цѣль оправдываетъ средства, а Макиавелли былъ не глупѣе меня!

Пока онъ шелъ и услаждалъ себя такими мыслями, спутники его Смирновъ и Балабайкинъ сидѣли и вели такую рѣчь:

— Нашъ другъ Поповъ славный малый, — говорилъ Смирновъ: — люблю я его, но... знаешь ли? — эти деньги сгубятъ его... Онъ или пропьетъ ихъ, или же пустится на такую аферу, что всѣхъ чертей затопитъ... Онъ такъ молодъ, что ему рано еще имѣть свои деньги...

— Да, — согласился Балабайкинъ. — Къ чему этому мальчишкѣ деньги? Другое дѣло мы съ тобой... Мы люди семейные, положительные... Для насъ съ тобой лишній рубль многое ужъ значить... (Пауза). Знаешь чтò, братъ? Не станемъ нюнить и сентиментальничать, а возьмемъ да и укокошимъ его! Найти пять тысячъ хорошо, но восемь — еще лучше... Укокошимъ его, а въ Москвѣ скажемъ, что онъ подъ поѣздъ попалъ... Идетъ?

— Я согласенъ... Откровенно говоря, этотъ мальчишка не стоить лучшей участи... Интриганъ, билетникъ, пройдоха... бррр! А чтобы ему не такъ обидно было, мы въ Москвѣ напечатаемъ въ газетахъ трогательное повѣствованіе о его кончинѣ...

Сказано, сдѣлано... Когда Поповъ вернулся изъ деревни съ провизіей, спутники напали на него и уколошили. Чтобы скрыть слѣды преступленія, они положили покойника на рельсы... Раздѣливъ находку, убійцы принялись за ѣду въ полной увѣренности, что преступленіе ихъ останется безнаказаннымъ... Но, дѣти, добродѣтель всегда торжествуетъ, а порокъ вѣчно занимается только тѣмъ, что паказывается. Ядъ, брошенный Поповымъ въ бутылку, принадлежалъ къ сильно дѣйствующимъ: не успѣли друзья выпить по другой, какъ ужъ бездыханные лежали на шпалахъ и первый разъ въ жизни выступали въ роли «труновъ»... Черезъ часъ ими обѣдали вороны...

Мораль: идучи втроемъ, старайтесь избѣгать находокъ.

1885.

КУЛАЧЬЕ ГНѢЗДО.

Вокругъ заброшенной барской усадьбы средней руки группируется десятка два деревянныхъ, на живую питку состроенныхъ дачъ. На самой высокой и видной изъ нихъ имѣется вывѣска «Трактиръ» и золотится на солнцѣ нарисованный самоваръ. Вперемежку съ красными крышами дачъ тамъ и сямъ уныло выглядываютъ похилившіяся и поросшія ржавымъ мохомъ крыши барскихъ конюшенъ, оранжерей и амбаровъ.

Майскій полдень. Въ воздухѣ пахнетъ постными щами и самоварною гарью. Управляющій Кузьма Ѳедоровъ, высокій, пожилой мужикъ въ рубахѣ на выпускъ и въ сапогахъ гармоникой, ходитъ около дачъ и показываетъ ихъ дачникамъ-нанимателямъ. На лицѣ его написаны тупая лѣнь и равнодушіе: будутъ ли наниматели, или нѣтъ, для него рѣшительно все равно. За нимъ шагаютъ трое: рыжій господинъ въ формѣ инженера-путейца, тощая дама въ интересномъ положеніи и дѣвочка-гимназистка.

— Какія однако у васъ дорогія дачи, — морщится инженеръ. — Все въ четыреста да въ триста рублей... ужасно! Вы покажите намъ что-нибудь подешевле.

— Есть и подешевле... Изъ дешевыхъ только двѣ остались... Пожалуйте!

Федоръ ведетъ нанимателей черезъ барскій садъ. Тутъ торчатъ ни да рѣдѣтъ жиденкій ельникъ; уцѣлѣло одно только высокое дерево — это стройный старикъ-тополь, поцѣженный топоромъ, словно для того только, чтобы оплакивать несчастную судьбу своихъ сверстниковъ. Отъ каменной ограды, бесѣдокъ и гротовъ остались одни только слѣды въ видѣ разбросанныхъ кирпичей, известки и гниющихъ бревенъ.

— Какъ все запущено! — говоритъ инженеръ, съ грустью поглядывая на слѣды минувшей роскоши. — А гдѣ теперь вашъ баринъ живетъ?

— Они не баринъ, а изъ купцовъ. Въ городѣ меблированные комнаты содержать... Пожалте-съ!

Наниматели нагибаются и входятъ въ маленькое каменное строеніе съ тремя рѣшетчатыми, словно острожными окошечками. Ихъ обдаетъ сыростью и запахомъ гнили. Въ домикѣ одна квадратная комнатка, передѣленная пополамъ тесовой перегородкой на двѣ. Инженеръ щуритъ глаза на темныя стѣны и читаетъ на одной изъ нихъ карандашную надпись: «Въ сей обители мертвыхъ получилъ меланхолію и покушался на самоубійство поручикъ Фильдекосовъ».

— Здѣсь, ваше благородіе, нельзя въ шапкѣ стоять, — обращается Федоровъ къ инженеру.

— Почему?

— Нельзя-съ. Здѣсь былъ склепъ, господъ хоронили. Ежели которую приподнять доску и подъ полъ поглядѣть, то гробы видать.

— Какія новости! — ужасается тощая дама. — Не говоря ужъ о сырости, тутъ отъ одной мнительности умрешь! Не желаю жить съ мертвецами!

— Мертвецы, барыня, не тронутъ-съ. Не бродяги какіе-нибудь похоронены, а вашъ же братъ господа. Пропшлымъ лѣтомъ здѣсь въ этомъ самомъ склепѣ господинъ военный Фильдекосовъ жили и остались вполне довольны. Обѣщались и въ этомъ году пріѣхать, да вотъ что-то не ѣдутъ.

— Онъ на самоубійство покушался? — спросилъ инженеръ о надписи на стѣнѣ.

— А вы откуда знаете? Дѣйствительно это было, сударь. И изъ-за чего-то вся канитель вышла! Не зналъ онъ, что тутъ подъ поломъ, царствіе имъ небесное, покойники лежатъ, ну и вздумалъ, значить, разъ ночью подъ

половицу четверть водки спрятать. Поднял эту доску, да как увидалъ, что тамъ гробы стоятъ, очумѣлъ. Выбѣжалъ наружу и давай выть. Всѣхъ дачниковъ въ сумлѣніе ввелъ. Потомъ чахнуть началъ. Выѣхать не на что, а жить страшно. Подъ конецъ, сударь, не вытерпѣлъ, руку на себя наложилъ. Мое-то счастье, что я съ него впередъ за дачу сто рублей взялъ, а то такъ бы и уѣхалъ, пожалуй, отъ перепугу. Пока лежалъ да лѣчился, попривыкъ... ничего... Опять общался пріѣхать: «Я, говорить, такія приключенія смерть какъ люблю!» Чудакъ!

— Нѣтъ, ужъ вы намъ другую дачу покажите.

— Извольте-съ. Еще одна есть, только похуже-съ.

Кузьма ведетъ дачниковъ въ сторону отъ усадьбы, къ мѣсту, гдѣ высится оборванная клуныя... За клуней блеститъ поросшій травою прудъ и темнѣютъ господскіе сараи.

— Здѣсь можно рыбу ловить? — спрашиваетъ инженеръ.

— Сколько угодно-съ... Пять рублей за сезонъ заплатите и ловите себѣ на здоровье. То-есть удочкой въ рѣкѣ можно, а ежели пожелаете въ пруду карасей ловить, то тутъ особая плата.

— Рыба пустяки, — замѣчаетъ дама: — и безъ нея можно обойтись. А вотъ насчетъ провизіи. Крестьяне носятъ сюда молоко?

— Крестьянамъ сюда не велѣно ходить, сударыня. Дачники провизію обязаны у насъ на фермѣ забирать. Такое ужъ условіе дѣлаемъ. Мы не дорого беремъ-съ. Молоко четвертакъ за пару, яйца, какъ обыкновенно, три гривенника за десятокъ, масло полтинникъ... Зелень и овощъ разную тоже у насъ должны забирать.

— Гм... А грибы у васъ есть гдѣ собирать?

— Ежели лѣто дождливое, то и грибовъ бываетъ. Собирать можно. Вознесете за сезонъ шесть рублей съ человека и собирайте не только грибы, но даже и ягоды. Это можно-съ. Къ нашему лѣсу дорога идетъ черезъ рѣчку. Желаете — въ бродъ пойдете, не желаете — идите черезъ лавы. Всего пятачокъ стоитъ черезъ лавы перейти. Туда пятачокъ и отсюда пятачокъ. А ежели которые господа желаютъ охотиться, ружьемъ побаловаться, то нашъ хозяинъ не прекословитъ. Стрѣляй, сколько хочешь, только фитанцію при себѣ имѣй, что ты десять

рублей заплатилъ. И купанье у насъ чудесное. Берегъ чистенькій, на днѣ песокъ, глубина всякая: и по колѣно и по шею. Мы не стѣсняемъ. За разъ пятачокъ, а ежели за сезонъ, то четыре съ полтиной. Хотя цѣлый день въ водѣ сиди!

— А словеніи у васъ поютъ? — спрашиваетъ дѣвочка.

— Намедни съ рѣкой пѣлъ одинъ, да сынишка мой поймалъ, трактирщику продалъ. Пожалте-съ!

Кузьма вводитъ нанимателей въ ветхій сарайчикъ съ новыми окнами. Внутри сарайчикъ раздѣленъ иерегородками на три каморки. Въ двухъ каморкахъ стоятъ пустые закрома.

— Нѣтъ, куда же тутъ жить! — заявляетъ тощая дама, брезгливо оглядывая мрачныя стѣны и закрома. — Это сарай, а не дача. И смотрѣть нечего, Жоржъ... Тутъ навѣрное и течетъ, и дуетъ. Невозможно жить!

— Живутъ люди! — вздыхаетъ Кузьма. — На безптичѣ, какъ говорится, и кастрюля соловей, а когда нѣтъ дачъ, такъ и эта въ добрую душу сойдетъ. Не вы наймете, такъ другіе наймутъ, а ужъ кто-нибудь да будетъ въ ней жить. По-моему, эта дача для васъ самая подходящая, напрасно вы, это самое... супругу свою слушаете. Лучше нигдѣ не найтись. А я бы съ васъ и взялъ бы подешевле. Ходить она за полтораста, а я бы сто двадцать взялъ.

— Нѣтъ, милый, не идетъ. Прощайте, извините, что обезпокоили.

— Ничего-съ. Будьте здоровы-съ.

И, провожая глазами уходящихъ дачниковъ, Кузьма кашляетъ и добавляетъ:

— На чаекъ бы слѣдовало съ вашей милости. Часа два, небось, водилъ. Полтинничка-то ужъ не пожалѣйте!

1885.

ДАЧНЫЙ КАЗУСЪ.

(Изъ воспоминаній идеалиста).

Десятаго мая взялъ я отпускъ на 28 дней, выключилъ у нашего казначея сто рублей впередъ и порѣшилъ во что бы то ни стало «пожить», пожить во всѣ лопатки и во всю ивановскую, такъ, чтобы потомъ въ теченіе десяти лѣтъ жить одними только воспоминаніями.

А вы знаете, что значить «пожить» въ лучшемъ смыслѣ этого слова? Это не значить отправиться въ Эрмитажъ, поглядѣть оперетку, стрескать ужинъ и къ утру заклевать носомъ. Это не значить отправиться на выставку, а оттуда на скачки и повертѣть тамъ около тотализатора кошелькомъ. Если вы хотите пожить, то садитесь въ вагонъ и отправляйтесь туда, гдѣ воздухъ пропитанъ запахомъ сирени и черемухи, гдѣ, лаская вашъ взоръ своей нѣжной бѣлизной и блескомъ алмазныхъ росинокъ, наперегонку цвѣтутъ ландыши и ночныя красавицы. Тамъ, на просторѣ, подъ голубымъ сводомъ, въ виду зеленаго лѣса и воркующихъ ручьевъ, въ обществѣ птицъ и зеленыхъ жуковъ, вы поймете, что такое жизнь! Прибавьте къ этому «aimons», двѣ-три встрѣчи съ широкополой шляпкой, быстрыми глазками и бѣлымъ фартучкомъ, и вы согласитесь... Такъ я думалъ, когда, вооруженный отпускомъ и щедротами казначея, перебрался на дачу. Такъ думаю и теперь..

Дачу я нанялъ, по совѣту одного пріятеля, у Софьи Павловны Книгиной, отдававшей у себя на дачѣ личную комнату со столомъ, мебелью и прочими удобствами. Наемъ дачи совершился скорѣе, чѣмъ могъ я думать. Пріѣхавъ въ Перерву и отыскавъ дачу Книгиной, я возо-

шелъ, помню, на террасу и... сконфузился. Терраска была уютна, мила и восхитительна, но еще милѣе и (позвольте такъ выразиться) уютнѣе была молодая, полная дамочка, сидѣвшая за столомъ на террасѣ и пившая чай. Она прищурила на меня глазки и сдѣлала на щекахъ ямочки.

— Что вамъ угодно?

— Извините, пожалуйста... — началъ я, конфузясь. — Я... я, вѣроятно, не туда попалъ... Миѣ нужна дача Книгиной?..

— Я Книгина и есть... Что вамъ угодно?

Я потерялся... Подъ квартирными и дачными хозяйками привыкъ я разумѣть особъ пожилыхъ, пахнущихъ кофейной гущей и ревматическихъ, но тутъ... скотина-пріятель не предупредилъ меня, что миѣ придется имѣть дѣло съ исключеніемъ... Я, заикаясь, объявилъ о цѣли своего прихода.

— Ахъ, очень пріятно! Садитесь, пожалуйста! Миѣ вашъ другъ писалъ уже о васъ. Не хотите ли чаю? Вамъ со сливками или съ лимономъ?

Есть порода женщинъ (чаще всего блондинокъ), съ которыми достаточно посидѣть двѣ-три минуты, чтобы вы почувствовали себя въ своей тарелкѣ, словно вы давнымъ-давно уже знакомы. Такой именно была и Софья Павловна. Выпивая первый стаканъ, я уже зналъ, что она не замужемъ, живетъ на проценты съ капитала и ждетъ къ себѣ въ гости тетю; размѣшивая же сахаръ во второмъ, я зналъ уже мотивы, заставившіе Софью Павловну отдать одну комнату внаймы. Во-первыхъ, платить сто двадцать рублей за дачу для одной тяжело и, во-вторыхъ, какъ-то жутко: вдругъ воръ влѣзетъ или мужикъ войдетъ? И ничего нѣтъ предосудительнаго, если въ угловой комнатѣ будетъ жить какая-нибудь одинокая дама или мужчина.

— Но мужчины лучше! — вздохнула хозяйка, слизывая варенье съ ложечки. — Съ мужчиной меньше хлопотъ и не такъ страшно... У васъ есть родители?

Однимъ словомъ, черезъ какой-нибудь часъ я и Софья Павловна могли бы уже написать біографіи другъ друга...

— Ахъ, да! — вспомнилъ я, прощаясь съ ней. — Обо всемъ поговорили, а о главномъ ни слова. Сколько же вы съ меня возьмете? Жить я у васъ буду только 28 дней... Обѣдъ, конечно... чай и прочее...

— Ну, нашли, о чемъ говорить! Сколько можете,

столько и дайте... Я вѣдь не изъ расчета отдаю комнату, а такъ... чтобъ люднѣй было... 25 рублей можете дать?

Я, конечно, согласился, и дачная жизнь моя началась... Эта жизнь интересна тѣмъ, что день похожъ на день, почъ на почъ, и — сколько прелести въ этомъ однообразіи, какіе дни, какія ночи! Утромъ я просыпался и, нимало не думая о службѣ, пилъ чай со сливками. Въ 11 шелъ къ хозяйкѣ поздравить ее съ добрымъ утромъ и пилъ у нея кофе съ жирными, топлеными сливками. Отъ кофе до обѣда болтали. Въ два часа обѣдъ, но что за обѣдъ! Представьте себѣ, что вы, голодный, какъ собака, садитесь за столъ, хватаете большую рюмку лимонки (бррр!) и закусываете горячей солонинкой съ хрѣномъ и чуть-чуть просоленнымъ огурчикомъ... Засимъ крошка или зеленые щи со сметаной и т. д. и т. д. Послѣ обѣда безмятежное лежанье на кровати, чтеніе романа и ежеминутное всакиваніе, такъ какъ хозяйка то и дѣло мелькаетъ около двери и «Лежите! Лежите!».. Повалявшись, я шелъ купаться и пилъ чай. Вечеромъ до глубокой ночи прогулка съ Софьей Павловной... Представьте себѣ, что въ вечерній часъ, когда все спитъ, кромѣ соловья да изрѣдка вскрикивающей цапли, когда слабо дышашій вѣтерокъ еле-еле доносить до васъ шумъ далекаго поѣзда, вы гуляете по рошѣ или шпаламъ съ полной блондиночкой, которая кокетливо пожимается отъ вечерней прохлады и то и дѣло поворачиваетъ къ вамъ блѣдное отъ луны личико... Ужасно хорошо! Не прошло и недѣли, какъ случилось то, чего вы давно уже ждете отъ меня, читатель, и безъ чего не обходится ни одинъ порядочный рассказъ... Я не устоялъ... Мои объясненія Софья Павловна выслушала равнодушно, почти холодно, словно давно уже ждала ихъ...

— 28 дней промелькнули, какъ одна секунда. Когда кончился срокъ моего отпуска, я, тоскующій, неудовлетворенный, прощался съ дачей и Соней. Хозяйка, когда я укладывалъ чемоданъ, сидѣла на диванѣ и утирала глазки. Я, самъ едва не плача, утѣшалъ ее, обѣщая навѣдываться къ ней на дачу по праздникамъ и бывать у ней зимой въ Москвѣ.

— Ахъ... когда же мы, душа моя, съ тобой посчитаемся? — вспомнилъ я. — Сколько съ меня слѣдуетъ?

— Когда-нибудь послѣ,—проговорилъ мой «предметъ», всхлипывая.

— Зачѣмъ послѣ? Дружба дружбой, а денежки врозь, говоритъ пословица, и къ тому же я нисколько не желаю быть... альфонсомъ, жить на твой счетъ... Не лмайся же, Соня... Сколько тебѣ?

— Тамъ... пустяки какіе-то... — проговорила хозяйка, всхлипывая и выдвигая изъ стола ящичекъ. — Могъ бы и послѣ заплатить...

Соня порылась въ ящичкѣ, достала оттуда бумажку и подала ее мнѣ.

— Это счетъ? — спросилъ я. — Ну, вотъ и отлично... и отлично... (я надѣлъ очки) расквитаемся и ладно... (я взглянулъ на низъ счета). Итого... Пстой, что же это? Итого... Да это не то, Соня! Здѣсь «итого 212 р. 44 к.» Это не мой счетъ!

— Твой, Дудочка! Ты погляди!

— Но... откуда же столько? За дачу и столъ 25 р. — согласенъ... За прислугу 3 р. — ну, пусть, и на это согласенъ...

— Я не понимаю, Дудочка, — сказала протяжно хозяйка, взглянувъ на меня удивленно заплаканными глазами. — Неужели ты мнѣ не вѣришь? Счоти въ такомъ случаѣ! Листовку ты пилъ... не могла же я давать тебѣ къ обѣду водки!.. Сливки къ чаю и кофе... потомъ клубника, огурцы, вишни... Насчетъ кофе тоже... Вѣдь ты не договаривался пить его, а пилъ каждый день! Впрочемъ, все это такіе пустяки, что я, изволь, могу скоотить тебѣ 12 руб. Пусть останется только 200.

— Но... тутъ поставлено 75 руб. и не обозначено за что... За что это?

— Какъ за что? — вспыхнула Соня. — Ты забылъ развѣ?

Я посмотрѣлъ на личико моей барыньки... и вспомнилъ... Оно глядѣло такъ искренно, ясно и удивленно, что языкъ мой прильпелъ къ гортани. Я далъ Сонѣ сто рублей и вексель на столько же, взвалилъ на плечи чемоданъ, и — айда! Хорошій урокъ идеалисту!

Нѣтъ ли, господа, у кого-нибудь займы ста рублей?

ВВЕРХЪ ПО ЛѢСТИЦѢ.

Провинціальный совѣтникъ Долбоносовъ, будучи однажды по дѣламъ службы въ Питерѣ, попалъ случайно на вечеръ къ князю Фингалову. На этомъ вечерѣ онъ, между прочимъ, къ великому своему удивленію, встрѣтилъ студента-юриста Щепоткина, бывшаго лѣтъ пять тому назадъ репетиторомъ его дѣтей. Знакомыхъ у него на вечерѣ не было, и онъ отъ скуки подошелъ къ Щепоткину.

— Вы это... тово... какъ же сюда попали? — спросилъ онъ, зѣвая въ кулакъ.

— Такъ же, какъ и вы...

— То-есть, положимъ, не такъ, какъ я... — нахмурился Долбоносовъ, оглядывая Щепоткина. — Гм... тово... дѣла ваши какъ?

— Такъ себѣ... Кончилъ курсъ въ университетѣ и служу чиновникомъ особыхъ порученій при Подоконниковѣ...

— Да? Это на первыхъ порахъ недурно... Но... ээ... простите за нескромный вопросъ, сколько даетъ вамъ ваша должность?

— Восемьсотъ рублей...

— Пф!.. На табакъ не хватитъ... — пробормоталъ Долбоносовъ, опять впадая въ снисходительно-покровительственный тонъ.

— Конечно, для безбѣднаго прожитія въ Петербургѣ этого недостаточно, но кромѣ того вѣдь я состою секретаремъ въ правленіи Угаро-Дебоширской желѣзной дороги... Это даетъ мнѣ полторы тысячи...

— Дааа, въ такомъ случаѣ, конечно... — перебилъ Долбоносовъ, при чемъ на лицу его разлилось нѣчто

въ родѣ сіянія. — Кстати, милѣйшій мой, какимъ образомъ вы познакомились съ хозяиномъ этого дома?

— Очень просто, — равнодушно отвѣчалъ Щепоткинъ. — Я встрѣтился съ нимъ у статсъ-секретаря Лодкина...

— Вы... бываете у Лодкина? — вытаращилъ глаза Долбоносовъ...

— Очень часто... Я женатъ на его племянницѣ...

— На племянницѣ? Гм... Скажите... Я, знаете ли... того... всегда желалъ вамъ... пророчилъ блестящую будущность, высокоуважаемый Иванъ Петровичъ...

— Петръ Ивановичъ...

— То-есть Петръ Ивановичъ... А я, знаете ли, гляжу сейчасъ и вижу — что-то лицо знакомое... Въ одну секунду узналъ... Дай, думаю, позову его къ себѣ отобѣдать... Хе-хе... Старику-то, думаю, небось, не откажетъ! Отель «Европа», № 33... отъ часу до шести...

1885.

СТРАЖА ПОДЪ СТРАЖЕЙ.

Видали ли вы когда-нибудь, какъ навьючиваютъ ословъ? Обыкновенно на бѣднаго осла валятъ все, что вздумается, не стѣсняясь ни количествомъ ни громоздкостью: кухонный скарбъ, мебель, кровати, бочки, мѣшки съ грудными младенцами... такъ что навьюченный азинусъ представляетъ собою громадный, безформенный комъ, изъ котораго еле видны кончики ослиныхъ копытъ. Нѣчто подобное представлялъ собою и прокуроръ Хламовскаго окружнаго суда, Алексѣй Тимоѣевичъ Балбинскій, когда послѣ третьяго звонка спѣшилъ занять мѣсто въ вагонѣ. Онъ былъ нагруженъ съ головы до ногъ... Узелки съ провизіей, картонки, жестянки, чемоданчики, бутылъ съ чѣмъ-то, женская тальма и... чортъ знаетъ, чего только на немъ не было! Съ его краснаго лица лился ручьями потъ, ноги гнулись, въ глазахъ свѣтилось страданіе. За нимъ съ пестрымъ зонтикомъ шла его жена Настасья Львовна, маленькая, весноватая

блондинка съ выдающеюся впередъ нижнею челюстью и съ выпуклыми глазами, точь въ точь молодая щука, когда ее тянуть крючкомъ изъ воды... Занявъ послѣ долгихъ странствованій по вагонамъ мѣсто и сваливъ на скамьи багажъ, прокуроръ вытеръ со лба потъ и направился къ выходу.

— Куда это ты? — спросила его жена.

— Хочу, душенька, въ вокзалъ сходить... рюмку водки выпить...

— Нечего тамъ выдумывать... Сиди...

Балбинскій вздохнулъ и покорно сѣлъ.

— Возьми на руки эту корзину... Тутъ посуда...

Балбинскій взялъ на руки большую корзину и съ тоской взглянулъ на окно... На четвертой станціи жена послала его въ вокзалъ за горячей водой, и тутъ около буфета онъ встрѣтился со своимъ пріятелемъ, товарищемъ предсѣдателя Плинскаго окружнаго суда Фляжкинымъ, уговорившимся вмѣстѣ съ нимъ ѣхать за границу.

— Батенька, да чтò же это такое? — налетѣлъ на него Фляжкинъ. — Вѣдь это свинство по меньшей мѣрѣ. Уговорились вмѣстѣ въ одномъ вагонѣ ѣхать, а васъ пелегкая въ III классѣ понесла! Зачѣмъ вы въ III классѣ ѣдете? Денегъ у васъ нѣтъ, что ли?

Валбинскій махнулъ рукой и заморгалъ глазами.

— Мнѣ теперь все равно... — проворчалъ онъ: — хоть на тендерѣ ѣхать. Гляжу, гляжу, да, кажется, кончу тѣмъ, что съ собой порѣшу... подѣ поѣздъ брошусь... Вы не можете себѣ, голубчикъ, представить, до чего заѣздила меня моя благовѣрная! То-есть такъ заѣздила, что удивительно, какъ я еще живъ до сихъ поръ. Боже мой! Погода великолѣпная... воздухъ этотъ... ширь, природа... всѣ условія для безмятежнаго житія. Одна мысль, что за границу ѣдемъ, должна была бы, кажется, приводить въ телячій восторгъ... Такъ нѣтъ! Нужно было злomu року навязать мнѣ на шею это сокровище! И вѣдь какая насмѣшка судьбы! Нарочно, чтобъ избавиться отъ супруги, придумалъ я болѣзнь печенокъ... за границу хотѣлъ удрать... Всю зиму о свободѣ мечталъ, и во снѣ и наяву себя одинокимъ видѣлъ. И чтò же? Навязалась со мной ѣхать! Ужъ я и такъ и этакъ—ничего! «Поѣду да поѣду», хоть ты тресни! Ну, вотъ, поѣхали... Предлагаю ѣхать во II классѣ... Ни за что!.. Какъ это, молъ, можно такъ тратиться? Я ей всѣ резоны предста-

вляю... Говорю, что и деньги у насъ есть, и престижъ нашъ падеть, ежели мы будемъ въ III классѣ ѣздить, что и душно и вонь... не слушаетъ! Бѣсъ экономіи обуялъ... Теперь хоть этотъ багажъ взять. Ну, для чего мы такую массу съ собой тащимъ? Для чего всѣ эти узелки, картонки, сундуки и прочая дрянь? Мало того, что въ багажный вагонъ десять пудовъ сдали, мы еще въ нашемъ вагонѣ четыре скамьи заняли. Кондуктора то и дѣло просить расчислить мѣсто для публики, пассажиры сердятся, она съ ними въ пререканія вступаетъ... Совѣстно! Вѣрите ли? Въ огнѣ горю! А отойти отъ нея сохрани Богъ! Ни на шагъ отъ себя не отпускаетъ. Сиди около нея и на колѣняхъ громадную корзину держи. Сейчасъ вотъ за горячей водой послала. Ну, прилично ли прокурору суда, съ мѣднымъ чайникомъ ходить? Вѣдь тутъ на поѣздѣ, небось, свидѣтели и подсудимые мои ѣдутъ! Пропаль къ чорту престижъ! А это, батенька, впредь мнѣ наука! Чтобъ зналъ, что значитъ личная свобода! Иной разъ увлечешься и, знаете ли, ни за что ни про что человѣчину подъ стражу увлечешь. Ну, теперь я понимаю... проникся... Понимаю, что значитъ быть подъ стражей! Охъ, какъ понимаю!

— Небось, рады бы пойти на поруки? — усмѣхнулся Фляжкинъ.

— Съ восторгомъ! Вѣрите ли? При всей своей бѣдности десять тысячъ залога внесъ бы... Но однако бѣгу... Небось, ужъ горячку поретъ... Быть головомоикѣ!

Въ Вержболовъ Фляжкинъ, гуляя утромъ рано по платформѣ, увидѣлъ въ окнѣ одного изъ вагоновъ III класса сонную физиономію Балбинскаго.

— На минуточку! — закивалъ ему прокуроръ. — Моя еще спитъ, не просыпалась. Когда она снѣтъ, я относительно свободенъ... Выйти-то изъ вагона нельзя, но зато корзинку можно пока на полъ поставить... Хоть за это спасибо. Ахъ, да! Я вамъ не говорилъ? У меня радость!

— Какая?

— Двѣ картонки и одинъ мѣшочекъ у насъ украли... Все-таки легче... Вчера съѣли гуся и всѣ пирожки... Нарочно больше ѣлъ, чтобъ меньше багажа осталось... Да и воздухъ же у насъ въ вагонѣ! Хоть топоръ вѣшай... Пфф... Не ѣзда, а чистая мука...

Прокуроръ повернулся назадъ и поглядѣлъ со злобой на свою спавшую супругу.

— Варварка ты моя! — зашепталъ онъ. — Мучительница, Иродіада ты этакая! Скоро ли я, несчастный, избавлюсь отъ тебя, Ксантиппа? Вѣрите ли, Иванъ Никитичъ? Иной разъ закрою глаза и мечтаю: а что если бы да кабы, она да попала бы ко мнѣ въ когти въ качествѣ подсудимой? Кажется, въ каторгу бы упецъ! Но... просыпается... Тссс...

Прокуроръ въ мгновеніе ока сооронилъ невинную фізіономію и взялъ на руки корзину.

Въ Эйдкуненѣ, идя за горячей водой, онъ глядѣлъ веселѣе.

— Еще двѣ картонки украли! — похвастался онъ передъ Фляжкинымъ. — И уже мы всѣ колачи съѣли... Все-таки легче...

Въ Кенигсбергѣ же онъ совсѣмъ преобразился. Вбѣжавъ утромъ въ вагонъ къ Фляжкину, онъ повалился на диванъ и залился счастливымъ смѣхомъ.

— Голубчикъ! Иванъ Никитичъ! Дай обнять! Извини, что я тебѣ «ты» говорю, но я такъ радъ, такъ ехидно счастливъ! Я сво-бо-день! Понимаешь? Сво-бо-день! Жена бѣжала!

— То-есть какъ бѣжала?

— Вышла ночью изъ вагона, и до сихъ поръ ея нѣтъ. Бѣжала ли она, свалилась ли подъ вагонъ, или, быть-можетъ, на станціи гдѣ-нибудь осталась... Однимъ словомъ, нѣтъ ея! Ангель ты мой!

— Но послушай же, — встревожился Фляжкинъ. — Въ такомъ случаѣ телеграфировать надо!

— Храни меня Создатель! То-есть такъ я теперь эту свободу чувствую, что описать тебѣ не могу! Пойдемъ по платформѣ пройдемся... на свободѣ подышимъ!

Пріятели вышли изъ вагона и зашагали по платформѣ. Прокуроръ шагаль и каждый свой вздохъ сопровождалъ восклицаніями: «Какъ хорошо! Какъ легко дышится! Неужели же есть такіе люди, которымъ всегда такъ живется?»

— Знаешь что, братъ? — рѣшилъ онъ. — Я сейчасъ къ тебѣ въ вагонъ переберусь. Развалимся и заживемъ на холостую ногу.

И прокуроръ опрометью побѣжалъ въ свой вагонъ за вещами. Минуты черезъ двѣ онъ вышелъ изъ своего вагона, но уже не сіяющій, а блѣдный, ошеломленный, съ мѣднымъ чайникомъ въ рукахъ. Онъ пошатывался и держался за сердце.

— Вернулась! — махнул он рукой, встрѣтивъ вопросительный взглядъ Фляжкина. — Оказывается, что ночью вагоны перепутала и по ошибкѣ въ чужой попала. Шабашъ, братъ!

Прокуроръ остановился передъ Фляжкинымъ и вперилъ въ него взглядъ, полный тоски и отчаянія. На глазахъ его навернулись слезы. Минута прошла въ молчаніи.

— Знаешь что? — сказалъ ему Фляжкинъ, нѣжно беря его за пуговицу. — Я на твоёмъ мѣстѣ... самъ бы бѣжалъ...

— То-есть какъ?

— Бѣги—вотъ и все... А то вѣдь этакъ зачахнешь, на тебя гляючи!

— Вѣжать... бѣжать...—задумался прокуроръ.—А вѣдь это идея! Такъ я, братецъ, вотъ что сдѣлаю: сяду на встрѣчный поѣздъ и айда! Скажу ей потомъ, что по ошибкѣ сѣлъ. Ну, прощай... Въ Парижѣ встрѣтимся...

1885.

ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ БРЕВНО.

(Сценка).

Архипъ Елисѣичъ Помоевъ, отставной корнетъ, надѣлъ очки, нахмурился и прочелъ: «Мировой судья... округа... участка приглашаетъ васъ и т. д. и т. д. въ качествѣ обвиняемаго по дѣлу объ оскорбленіи дѣйствіемъ крестьянина Григорія Власова... Мировой судья П. Шестикрыловъ».

— Это отъ кого же? — поднялъ глаза Помоевъ на разсыльнаго.

— Отъ г. мирового судьи-съ, Петра Сергѣевича-съ... Шестикрылова-съ...

— Гм... Отъ Петра Сергѣича? Зачѣмъ же это онъ меня приглашаетъ?

— Должно, на судъ... Тамъ написано-съ...

Помоевъ прочелъ еще разъ повѣстку, поглядѣлъ съ удивленіемъ на разсыльнаго и пожалъ плечами.

— Псс... въ качествѣ обвиняемаго... Забавникъ этотъ Петръ Сергѣичъ! Ну ладно, скажи, хорошо! Пусть только фриштыкъ лучше приготовить... Скажи, буду! Натальѣ Егоровѣ и дѣточкамъ кланяйся!

Помоевъ расписался и отправился въ комнату, гдѣ жилъ братъ его жены поручикъ Ниткинъ, пріѣхавшій къ нему въ отпускъ.

— Посмотри-ка-ся, какую цидулу мнѣ Петька Шестикрыловъ прислалъ, — сказалъ онъ, подавая Никитину повѣстку. — Къ себѣ въ четвергъ зоветь... Поѣдешь со мной?

— Да онъ тебя не въ гости зоветь, — сказалъ Никитинъ, прочитавъ повѣстку. — Онъ вызываетъ тебя на судъ въ качествѣ обвиняемаго... Судить тебя будетъ...

— Меня-то? Псс... Молоко у него на губахъ еще не обсохло, чтобъ меня судить... Мелко плаваетъ... Это онъ такъ, въ шутку...

— Вовсе не въ шутку! Не понимаешь ты, что ли? Тутъ ясно сказано: въ оскорбленіи дѣйствіемъ... Ты Гришку побилъ, вотъ и судъ.

— Чудакъ ты, ей-Богу! Да какъ же онъ можетъ меня судить, ежели мы съ нимъ, можно сказать, друзья? Какой онъ мнѣ судья, ежели мы вмѣстѣ и въ карты играли, и пили, и чортъ знаетъ чего только ни дѣлали? И какой онъ судья? Ха-ха! Петька — судья! Ха-ха!

— Смѣйся, смѣйся, а вотъ онъ какъ засадитъ тебя, не по дружбѣ, а на основаніи законовъ, подъ арестъ, такъ не до смѣха будетъ!

— Ты очумѣлъ, братъ! Какое тутъ основаніе законовъ, ежели онъ у меня Ваню крестилъ? Поѣдемъ къ нему въ четвергъ, вотъ и увидишь, какіе тамъ законы...

— А я тебѣ совѣтовалъ бы вовсе не ѣздить, а то и себя и его въ неловкое положеніе поставишь... Пусть рѣшаетъ заочно...

— Нѣтъ, зачѣмъ заочно? Поѣду, погляжу, какъ это онъ судить будетъ... Любопытно поглядѣть, какой изъ Петьки судья вышелъ... Кстати же давно у него не былъ... пеловко...

Въ четвергъ Помоевъ отправился съ Ниткинымъ къ Шестикрылову. Мирового застали они въ камерѣ за разбирательствомъ.

— Здорово, Петюха! — сказалъ Помоевъ, подходя къ судейскому столу и подавая руку. — Судишь по ма-

леньку? Крючкотворствуешь? Суди, суди... я погожу, погляжу... Это, рекомендую, брать моей жены... Жена здорова?

— Да... здорова... Посидите тамъ... въ публикѣ...

Пробормотавши это, судья покраснѣлъ. Вообще начинающіе судьи всегда конфузятся, когда видятъ въ своей камерѣ знакомыхъ; когда же имъ приходится судить знакомыхъ, то они дѣлаютъ впечатлѣніе людей, проваливающихся отъ конфуза сквозь землю. Помоевъ отошелъ отъ стола и сѣлъ на передней скамьѣ рядомъ съ Ниткинымъ.

— Важности-то сколько у бестін! — зашепталъ онъ на ухо Ниткину. — Не узнаешь! И не улыбнется! Въ золотой цѣпи! Фу ты, ну ты! Словно и не онъ у меня на кухнѣ сояную Агашку черпилами разрисовалъ. Потѣха! Да нешто такіе люди могутъ судить? Я тебя спрашиваю: могутъ такіе люди судить? Тутъ нуженъ человѣкъ, который съ чинами, солидный... чтобъ, знаешь, страхъ внушалъ, а то посадили какого-то, и на, суди! Хе-хе...

— Григорій Власовъ! — вызвалъ мировой. — Господинъ Помоевъ.

Помоевъ улыбнулся и подошелъ къ столу. Изъ публики вылѣзъ малый въ поношенномъ сюртукѣ съ высокой таліей, въ полосатыхъ брючкахъ, надѣтыхъ въ короткія, рыжія голенища, и сталъ рядомъ съ Помоевымъ.

— Г. Помоевъ! — началъ мировой, потупя глаза. — Вы обвиняетесь въ томъ, что-о-о... оскорбили дѣйствіемъ вашего служащаго... вотъ Григорія Власова. Признаете вы себя виновнымъ?

— Еще бы! Да ты давно такимъ серьезнымъ сталъ? Хе-хе...

— Не признаете? — перебилъ его судья, ерзая отъ конфуза на стулѣ. — Власовъ, расскажите, какъ было дѣло!

— Очень просто-съ! Я у нихъ, изволите ли видѣть, въ лакеяхъ состоялъ, въ разсужденіи какъ бы камельдинеръ... Извѣстно, наша должность каторжная, ваше в — е... Они сами встаютъ въ девятомъ часу, а ты будь на ногахъ чуть свѣтъ... Богъ ихъ знаетъ, надѣнутъ ли они сапоги, или щиблеты, или, можетъ, цѣлый день въ туфляхъ проходятъ, но ты все чистъ: и сапоги, и щиблеты, и ботинки... Хорошо-съ... Зовутъ это они меня утромъ одѣваться. Я, извѣстно, пошелъ... Надѣлъ на

нихъ сорочку, надѣлъ брючки, сапожки... все, какъ надо... Началь надѣвать жилетъ... Вотъ они и говорятъ: «Подай, Гришка, гребенку. Она, говорятъ, въ боковомъ карманѣ въ сюртучкѣ». Хорошо-съ... Роюсь я это въ боковомъ карманѣ, а гребенку словно чортъ слопалъ — нѣту! Рылся-рылся и говорю: «Да тутъ нѣтъ гребенки, Архипъ Елисѣичъ!» Они нахмурились, подошли къ сюртуку и достали оттуда гребенку, но не изъ бокового кармана, какъ велѣли, а изъ передняго. «А это же что? Не гребенка?» — говорятъ, да тыкъ меня въ носъ гребенкой. Такъ всѣми зубцами и прошлись по носу. Цѣлый день потомъ кровь изъ носу шла. Сами изволите видѣть, какъ носъ распухши... У меня свидѣтели есть. Все видѣли.

— Что вы скажете въ свое оправданіе? — поднялъ мировой глаза на Помоева.

Помоевъ поглядѣлъ вопросительно на судью, потомъ на Гришку, опять на судью и побагровѣлъ.

— Какъ я долженъ это понимать? — пробормоталъ онъ. — За насмѣшку?

— Тутъ никакой надъ вами насмѣшки нѣтъ-съ, — замѣтилъ Гришка: — я вамъ по чистой совѣсти. Не давайте воли рукамъ.

— Молчи! — застучалъ Помоевъ палкой о полъ. — Дуракъ! Шваль!

Мировой быстро снялъ цѣпь, выскочилъ изъ-за стола и побѣжалъ къ себѣ въ канцелярію.

— Прерываю засѣданіе на пять минутъ! — крикнулъ онъ по дорогѣ.

Помоевъ пошелъ за нимъ.

— Послушай, — началъ мировой, всплескивая руками: — скандалъ ты мнѣ устроить хочешь, что ли? Или тебѣ пріятно слушать, какъ твои же кухарки да лакеи въ своихъ показаніяхъ будутъ тебя чистить, осла такого? Зачѣмъ ты пріѣхалъ? Безъ тебя я не могъ дѣла рѣшить, что ли?

— Я же у него и виноватъ! — растопырилъ руки Помоевъ. — Самъ комедію эту устроилъ и на меня же сердится! Посади этого Гришку подъ арестъ, и... и все!

— Гришку подъ арестъ! Тьфу! Какимъ дуракомъ былъ ты, такимъ и остался! Ну, какъ же это можно Гришку подъ арестъ!

— Посади, вотъ и все! Не меня же сажать!

— Прежнія времена теперь, что ли? Гришку онъ по-

билъ и Гришку же подъ арестъ! Удивительная логика! Да ты имѣешь какое-нибудь понятіе о теперешнемъ судопроизводствѣ?

— Отродясь я не судился и судьей не былъ, а такъ я понимаю, что явись ко мнѣ съ жалобой на тебя этотъ самый Гришка, я такъ бы его съ лѣстницы спустилъ, что и внукамъ запретилъ бы жаловаться, а не то, чтобы еще позволять ему замѣчанія свои хамскія дѣлать. Скажи просто, что пасмѣяться хочешь, прыть свою показать... вотъ и все! Жена, какъ прочла повѣстку, да какъ увидала, что ты всѣмъ кухаркамъ и скотницамъ повѣстки прислалъ, удивилась. Не ожидала она отъ тебя такихъ штукъ. Нельзя такъ, Петя! Такъ друзья не дѣлають.

— Но пойми же ты мое положеніе!

И Шестикрыловъ принялся объяснять Помоеву свое положеніе.

— Ты посиди здѣсь, — кончилъ онъ: — а я пойду и заочно рѣшу. Ради Бога, не выходи! Со своими допотопными понятіями, ты такое ляпнешь тамъ, что, чего добраго, придется протоколъ составлять.

Шестикрыловъ пошелъ въ камеру и занялся разбирательствомъ. Помоевъ, сидя въ канцеляріи за однимъ изъ столиковъ и перечитывая отъ-нечего-дѣлать свѣжеизготовленные исполнительные листы, слышалъ, какъ мировой склонялъ Гришку къ миру. Гришка долго топорщился, но наконецъ согласился, потребовавъ за обиду десять рублей.

— Ну, слава Богу! — сказалъ Шестикрыловъ, входя по проченіи приговора въ канцелярію. — Спасибо, что дѣло такъ кончилось... Словно тысяча пудовъ съ плечъ свалилась. Заплатишь ты Гришкѣ 10 рублей и можешь быть покоенъ.

— Я Гришкѣ... десять... рублей?! — обомлѣлъ Помоевъ. — Да ты въ умъ?..

— Ну, да ладно, ладно, я за тебя заплачу, — махнулъ рукой Шестикрыловъ, поморщившись. — Я и сто рублей готовъ дать, только чтобъ не заводить неудовольствій. И не дай Богъ знакомыхъ судить. Лучше, братъ, чѣмъ Гришекъ бить, пріѣзжай всякій разъ ко мнѣ и лупи меня! Это въ тысячу разъ легче. Пойдемъ къ Наташѣ вѣтъ!

Черезъ десять минутъ пріятели сидѣли въ алартаментѣхъ мирового и завтракали жареными карасями.

— Ну, хорошо, — начал Помоевъ, выпивая третью: — ты Гришкѣ 10 рублей присудить, а на сколько же ты его въ арестантскую уpekъ?

— Я его не унекалъ. За что же его?

— Какъ за что? — вытаращилъ глаза Помоевъ. — А за то, чтобъ жалобы не подавалъ! Нешто онъ смѣетъ на меня жалобы подавать?

Мировой и Ниткинъ принялись объяснять Помоеву, но онъ не понималъ и стоялъ на своемъ.

— Чтò ли говори, а не годится Петька въ судьи! — вздохнулъ онъ, бесѣдуя съ Ниткинымъ на обратномъ пути. — Человѣкъ онъ добрый, образованный, услужливый такой, но... не годится! Не умѣетъ по-настоящему судить... Хоть жалко, а придется его на слѣдующее трехлѣтье забастовать! Придется!..

ВЪ АПТЕКѢ.

(Сценка).

Быль поздній вечеръ. Домашній учитель Егоръ Алексѣичъ Свойкинъ, чтобы не терять попусту времени, отъ доктора отправился прямо въ аптеку.

«Словно къ богатой содержанкѣ идешь или къ желѣзнодорожнику, — думалъ онъ, взбираясь по аптечной лѣстницѣ, лоснящейся и устланной дорогими коврами. — Ступить страшно!»

Войдя въ аптеку, Свойкинъ былъ охваченъ запахомъ, присущимъ всѣмъ аптекамъ въ свѣтѣ. Наука и лѣкарства съ годами мѣняются, но аптечный запахъ вѣченъ, какъ матерія. Его нюхали наши дѣды, будутъ нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, въ аптекѣ не было. За желтой, лоснящейся контуркой, уставленной вазочками съ сигнатурами, стоялъ высокій господинъ съ солидно закинутой назадъ головой, съ строгимъ лицомъ и съ выхоленными бакенами — по всѣмъ видимостямъ, провизоръ. Начиная съ маленькой плѣши на головѣ и кончая длинными розовыми ногтями, все на этомъ чело-

вѣкъ было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть подъ вѣнецъ ступай. Нахмуренные глаза его глядѣли свысока внизъ на газету, лежавшую на конторкѣ. Онъ читалъ. Въ сторонѣ за проволоочной рѣшеткой сидѣлъ кассиръ и лѣниво считалъ мелочь. По ту сторону прилавка, отдѣляющаго латинскую кухню отъ толпы, въ полумракѣ копошились двѣ темныя фигуры. Свойкинъ подошелъ къ конторкѣ и подаль выутюженному господину рецептъ. Тотъ, не глядя на него, взялъ рецептъ, дочиталъ въ газетѣ до точки и, сдѣлавши легкій полуоборотъ головы направо, пробормоталъ:

— *Calomeli grana duo, sacchari albi grana quinque, numero decem!*

— Га! — послышался изъ глубины аптеки рѣзкій, металлическій голосъ.

Провизоръ продиктовалъ тѣмъ же глухимъ, мѣрнымъ голосомъ микстуру.

— Га! — послышалось изъ другого угла.

Провизоръ написалъ что-то на рецептѣ, нахмурился и, закинувъ назадъ голову, опустилъ глаза на газету.

— Черезъ часъ будетъ готово — процѣдилъ онъ сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился.

— Нельзя ли, знаете ли, поскорѣе? — пробормоталъ Свойкинъ. — Мнѣ рѣшительно невозможно ждать.

Провизоръ не отвѣтилъ. Свойкинъ опустился на диванъ и принялся ждать. Кассиръ кончилъ считать мелочь, глубоко вздохнулъ и щелкнулъ ключомъ. Въ глубинѣ одна изъ темныхъ фигуръ завозилась около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала въ синей склянкѣ. Гдѣ-то мѣрно и осторожно стучали часы.

Свойкинъ былъ боленъ. Во рту у него горѣло, въ ногахъ и рукахъ стояли тянущія боли, въ отяжелѣвшей головѣ бродили туманные образы, похожіе на облака, и закутанныя человѣческія фигуры. Провизора, полки съ банками, газовые рожки, этажерки... онъ видѣлъ сквозь флеръ, а однообразный стукъ о мраморную ступку и медленное тиканье часовъ, казалось ему, происходили не внѣ, а въ самой его головѣ... Разбитость и головной туманъ овладѣвали его тѣломъ все больше и больше, такъ что, дожидаясь немного и чувствуя, что его тошнить отъ стука мраморной ступки, онъ, чтобъ подбодрить себя, рѣшилъ заговорить съ провизоромъ.

— Должно-быть, у меня горячка пачинается, — сказалъ

онъ. — Докторъ сказалъ, что еще трудно рѣшить, какаѣ у меня болѣзни, но ужъ больно я ослабъ... Еще счастье мое, что я въ столицѣ заболѣлъ, а не дай Богъ такую напасть въ деревнѣ, гдѣ нѣтъ докторовъ и аптекъ!

Провизоръ стоялъ неподвижно и, закинувъ назадъ голову, читалъ. На обращеніе къ нему Свойкина онъ не отвѣтилъ ни словомъ ни движеніемъ, словно не слышалъ... Кассиръ громко зѣвнулъ и чиркнулъ о панталоны спичкой... Стукъ мраморной ступки становился все громче и звонче. Видя, что его не слушаютъ, Свойкинъ поднялъ глаза на полки съ банками и принялся читать надписи... Передъ нимъ замелькали сначала всевозможные «радиксы»: генціана, пимпинелла, торментилла, задоаріа и проч. За радикасами замелькали тинктуры, oleum'ы, semen'ы, съ названіями одно другого мудренѣе и допотопнѣе.

«Сколько, должно-быть, здѣсь ненужнаго балласта! — подумалъ Свойкинъ. — Сколько рутины въ этихъ банкахъ, стоящихъ тутъ только по традиціи, и въ то же время какъ все это солидно и внушительно!»

Съ полокъ Свойкинъ перевелъ глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тутъ увидѣлъ онъ резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки съ зубной пастой, капли Пьерро, капли Адельгейма, косметическія мыла, мазь для рощенія волосъ.

Въ аптеку вошелъ мальчикъ въ грязномъ фартукѣ и попросилъ на 10 коп. бычачьей желчи.

— Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь? — обратился учитель къ провизору, обрадовавшись темѣ для разговора. Не получивъ отвѣта на свой вопросъ, Свойкинъ принялся разсматривать строгую, надменно-учепую фізіономію провизора.

«Странные люди, ей-Богу! — подумалъ онъ. — Чего ради папускаютъ они на свои лица учепый колеръ? Дерутъ съ ближняго втридорога, продаютъ мази для рощенія волосъ, а глядя на ихъ лица, можно подумать, что они и въ самомъ дѣлѣ жрецы науки. Пишутъ по-латыни, говорятъ по-нѣмецки... Средневѣковое изъ себя что-то корчатъ... Въ здоровомъ состояніи не замѣчаешь этихъ сухихъ, черствыхъ фізіономій, а вотъ какъ заболѣешь, какъ я теперь, то и ужаснешься, что святое дѣло попало въ руки этой безчувственной уютной фигуры»...

Разсматривая неподвижную фізіономію провизора, Свой-

кинъ вдругъ почувствовалъ желаніе лечь въ что бы то ни стало, подальше отъ свѣта, ученой фیزیоміи и стука мраморной ступки... Болѣзненное утомленіе овладѣло всѣмъ его существомъ... Онъ подошелъ къ прилавку и, сооротивъ умоляющую гримасу, попросилъ:

— Будьте такъ любезны, отпустите меня! Я... я боленъ...

— Сейчасъ... Пожалуйста, не облакачивайтесь!

Учитель сѣлъ на диванъ и, гоняя изъ головы туманные образы, сталъ смотрѣть, какъ курить кассиръ.

«Полчаса еще только прошло, — подумалъ онъ. — Еще осталось столько же... Невыносимо!»

Но вотъ наконецъ къ провизору подошелъ маленький, черпенькій фармацевтъ и положилъ около него коробку съ порошками и склянку съ розовой жидкостью. Провизоръ дочиталъ до точки, медленно отошелъ отъ конторки и, взявъ склянку въ руки, поболталъ ее передъ глазами... Засимъ онъ написалъ сигнатурку, привязалъ ее къ горлышку склянки и потянулся за печаткой.

«Ну къ чему эти церемоніи? — подумалъ Свойкинъ. — Трата времени, да и деньги лишнія за это возмуть».

Завернувъ, связавъ и запечатавъ микстуру, провизоръ сталъ продѣлывать то же самое и съ порошками.

— Получите! — проговорилъ онъ наконецъ, не глядя на Свойкина. — Вознесите въ кассу рубль шесть коп!

Свойкинъ полѣзъ въ карманъ за деньгами, досталъ рубль и тутъ же вспомнилъ, что у него кромѣ этого рубля нѣтъ больше ни копейки.

— Рубль шесть копеекъ? — забормоталъ онъ, конфузясь. — А у меня только всего одинъ рубль... Думалъ, что рубля хватитъ... Какъ же быть-то?

— Не знаю! — отчеканилъ провизоръ, принимаясь за газету.

— Въ такомъ случаѣ ужъ вы извините... Шесть копеекъ я вамъ завтра занесу, или пришлю...

— Этого нельзя... У насъ кредита нѣтъ...

— Какъ же мнѣ быть-то?

— Сходите домой, принесите шесть копеекъ, тогда и лѣкарства получите.

— Пожалуй, но... мнѣ тяжело ходить, а прислать некого...

— Не знаю... Не мое дѣло...

— Гм... — задумался учитель. — Хорошо, я схожу домой...

Свойкинъ вышелъ изъ аптеки и отправился къ себѣ домой... Пока онъ добрался до своего номера, то сѣдился отдыхать разъ пять... Придя къ себѣ и найдя нѣсколько мѣдныхъ монетъ, онъ присѣлъ на кровать отдохнуть... Какая-то сила потянула его голову къ подушкѣ... Онъ прилегъ, какъ бы на минутку... Туманные образы въ видѣ облаковъ и закутанныхъ фигуръ стали заволакивать сознание... Долго онъ помнилъ, что ему пужно идти въ аптеку, долго заставлялъ себя встать, но болѣзнь взяла свое. Мѣдяки высыпались изъ кулака, и больному стало сниться, что онъ уже пошелъ въ аптеку, и вновь бесѣдуетъ тамъ съ провизоромъ.

1885.

ЖЕНИХЪ И ПАПЕНЬКА.

(Нѣчто современное).

— А вы, я слышалъ, женитесь!—обратился къ Петру Петровичу Милкину на дачномъ балу одинъ изъ его знакомыхъ. — Когда же мальчишникъ справлять будете?

— Откуда вы взяли, что я жепшусь? — вспыхнулъ Милкинъ. — Какой это дуракъ вамъ сказалъ?

— Всеъ говорятъ, да и по всему видно... Нечего скрывать, батенька... Вы думаете, что намъ ничего не извѣстно, а мы васъ насквозь видимъ и знаемъ! Хе-хе-хе... По всему видно... Цѣлые дни проживаете вы у Кондрашкиныхъ, обѣдаете тамъ, ужинаете, романсы поете... Гуляете только съ Настенькой Кондрашкиной, ей одной только букеты и таскаете... Все видимъ-съ! Намедни встрѣчается мнѣ самъ Кондрашкинъ-папенька и говоритъ, что ваше дѣло совсѣмъ уже въ шляпѣ, что какъ только переѣдете съ дачи въ городъ, то сейчасъ же и свадьба... Что жъ? Дай Богъ! Не такъ я за васъ радъ, какъ за самого Кондрашкина... Вѣдь семь дочекъ у бѣдняги! Семь! Шутка ли? Хоть бы одну Богъ привелъ пристроить...

«Чортъ побери... — подумалъ Милкинъ. — Это ужъ десятый говорить мнѣ про женитьбу на Настенькѣ. И изъ чего заключили, чортъ ихъ возьми совсѣмъ! Изъ того, что ежедневно обѣдаю у Кондрашкиныхъ, гуляю съ Настенькой... Нѣ-ѣтъ, пора ужъ прекратить эти толки, пора, а то того и гляди, что женять, анаемы!.. Схожу завтра объяснюсь съ этимъ болваномъ Кондрашкинымъ, чтобъ не надѣялся попусту, и — айда!»

На другой день послѣ описаннаго разговора Милкинъ, чувствуя смущеніе и нѣкоторый страхъ, входилъ въ дачный кабинетъ надворнаго совѣтника Кондрашкина.

— Петру Петровичу! — встрѣтилъ его хозяинъ. — Какъ живемъ-можемъ? Соскучились, ангель? Хе-хе-хе... Сейчасъ Настенька придетъ... На минутку къ Гусевымъ побѣжала...

— Я, собственно говоря, не къ Настасьѣ Кирилловнѣ, — пробормоталъ Милкинъ, почесывая въ смущеніи глазъ: — а къ вамъ... Мнѣ нужно поговорить съ вами кое-о-чемъ... Въ глазъ что-то попало...

— О чемъ же это вы собираетесь поговорить? — мигнулъ глазомъ Кондрашкинъ. — Хе-хе-хе... Что же вы смущены такъ, милаша? Ахъ, мужчина, мужчина! Бѣда съ вами, съ молодежью! Знаю, о чемъ это вы хотите поговорить! Хе-хе-хе... Давно пора...

— Собственно говоря, нѣкоторымъ образомъ... дѣло, видите ли, въ томъ, что я... пришелъ проститься съ вами... Уѣзжаю завтра...

— То-есть какъ уѣзжаете? — спросилъ Кондрашкинъ, вытаращивъ глаза.

— Очень просто... Уѣзжаю, вотъ и все... Позвольте поблагодарить васъ за любезное гостепріимство... Дочери ваши такія милыя... Никогда не забуду минутъ, которыя...

— Позвольте-съ... — побагровѣлъ Кондрашкинъ. — Я не совсѣмъ васъ понимаю... Конечно, каждый человѣкъ имѣетъ право уѣзжать... можете вы дѣлать все, что вамъ угодно, но, милостивый государь, вы... отвиливаете... Нечестно-съ!

— Я... я... я не знаю, какъ же это я отвиливаю?

— Ходилъ сюда цѣлое лѣто, ѣлъ, пилъ, обнадеживалъ, балясы тутъ съ дѣвчонками отъ зари до зари точилъ, и вдругъ, на тебѣ, уѣзжаю!

— Я... я не обнадеживалъ...

— Конечно, предложенія вы не дѣлали, да развѣ не

видно было, къ чему клонились ваши поступки? Каждый день обѣдалъ, съ Настей по цѣлымъ ночамъ подъ ручку... да нешто все это просто дѣлается? Женихи только ежедневно обѣдаютъ, а не будь вы женихомъ, нешто я сталъ бы васъ кормить? Да-съ! Нечестно-съ! Я и слушать не желаю! Извольте дѣлать предложеніе, иначе я... тово...

— Настасья Кирилловна очень милая... хорошая дѣвица... Уважаю я ее и... лучшей жены не желалъ бы я себѣ, но... мы не сошлись убѣжденіями, взглядами.

— Въ этомъ и причина? — улынулся Кондрашкинъ. — Только-то? Да, душенька ты моя, развѣ можно найти такую жену, чтобъ взглядами была на мужа похожа? Ахъ, молодецъ, молодецъ! Зеленъ, зеленъ! Какъ запустить какую-нибудь теорію, такъ ей-Богу... хе-хе-хе... въ жаръ даже бросаетъ... Теперь взглядами не сошлись, а поживете, такъ всѣ эти шероховатости и сгладятся... Мостовая, пока новая — ѣздить нельзя, а какъ пообѣздить ее немножко, то мое почтеніе!

— Такъ-то такъ, но... я недостойнъ Настасьи Кирилловны...

— Достойнъ, достойнъ! Пустяки! Ты славный парень!

— Вы не знаете всѣхъ моихъ недостатковъ... Я бѣденъ...

— Пустое! Жалованье получаете и слава Богу...

— Я... пьяница...

— Ни-ни-ни! Ни разу не видалъ пьянымъ!.. — замахалъ руками Кондрашкинъ. — Молодежь не можетъ не пить. Самъ былъ молодъ, переливалъ черезъ край. Нельзя безъ этого...

— Но вѣдь я запоемъ. Во мнѣ наслѣдственный порокъ!

— Не вѣрю! Такой розанъ и вдругъ — залой! Не вѣрю!

«Не обманешь чорта! — подумалъ Милкинъ. — Какъ ему однако дочекъ спихнуть хочется!» — Мало того, что я запоемъ страдаю, — продолжалъ онъ вслухъ: — но я падѣленъ еще и другими пороками. Взятки беру...

— Милаша, да кто же ихъ не беретъ? Хе-хе-хе. Эка поразилъ!

— И къ тому же я не имѣю права жениться до тѣхъ поръ, пока я не узнаю рѣшенія моей судьбы... Я скрывалъ отъ васъ, но теперь вы должны все узнать... Я... я состою подъ судомъ за растрату...

— Подъ судомъ? — обомлѣлъ Кондрашкинъ. — Н-да... новость... Не зналъ я этого. Дѣйствительно, нельзя же

ниться, покуда судьбы не узнаешь... А вы много растратили?

— Сто сорокъ четыре тысячи.

— Н-да... сумма! Да, дѣйствительно, Сибирью исторія пахнетъ... Этакъ дѣвчонка можетъ ии за грошъ пропасть. Въ такомъ случаѣ нечего дѣлать, Богъ съ вами...

Милкинъ свободно вздохнулъ и потянулся къ шляпѣ...

— Впрочемъ, — продолжалъ Кондрашкинъ, немного подумавъ: — если Настенька васъ любить, то она можетъ за вами туда слѣдовать. Чтò за любовь, ежели она жертвѣ боится? И къ тому же Томская губернія плодородная. Въ Сибири, батенька, лучше живется, чѣмъ здѣсь. Самъ бы поѣхалъ, коли бъ не семья. Можете дѣлать предложеніе!

«Экій чортъ несговорчивый! — подумалъ Милкинъ. — За нечистаго готовъ бы дочку выдать, лишь бы только съ плечъ спихнуть». — Но это не все... — продолжалъ онъ вслухъ. — Меня будутъ судить не за одну только растрату, но и за подлогъ.

— Все равно! Одно наказанье!

— Тьфу!

— Чего это вы такъ громко плюете?

— Такъ... Послушайте, я вамъ еще не все открылъ... Не заставляйте меня высказывать вамъ то, чтò составляетъ тайну моей жизни... страшную тайну!

— Не желаю я знать вашихъ тайнъ! Пустяки!

— Не пустяки, Кириллъ Трофимычъ! Если вы услышите... узнаете, кто я, то отшатнетесь.... Я бѣглый каторжникъ!!

Кондрашкинъ отскочилъ отъ Милкина, какъ ужаленный, и окаменѣлъ. Минуту онъ стоялъ молча, неподвижно и глазами, полными ужаса, глядѣлъ на Милкина, потомъ упалъ въ кресло и простоналъ:

— Не ожидалъ... — промычалъ онъ. — Кого согрѣлъ на груди своей! Идите! Ради Бога уходите! Чтòбъ я и не видѣлъ васъ! Охъ!

Милкинъ взялъ шляпу и, торжествуя, направился къ двери.

— Пойдите! — остановилъ его Кондрашкинъ. — Отчего же васъ до сихъ поръ еще не задержали?

— Подъ чужой фамиліей живу... Трудно меня задержать...

— Можетъ-быть, вы и до самой смерти такъ проживете, что никто и не узнаетъ, кто вы... Пойдите! Те-

перь вы честный человекъ, раскаялись уже давно... Богъ съ вами, такъ и быть, ужъ женитесь!

Милкина бросило въ потъ... Вратъ дальше бѣлаго каторжника было бы уже некуда, и оставалось одно только: позорно бѣжать, не мотивируя своего бѣгства... И онъ готовъ ужъ былъ юркнуть въ дверь, какъ въ его головѣ мелькнула мысль...

— Послушайте, вы еще не все знаете! — сказалъ онъ. — Я... я сумасшедшій, а безумнымъ и сумасшедшимъ бракъ возбрается....

— Не вѣрю! Сумасшедшіе не рассуждаютъ такъ логично...

— Стало-быть, не понимаете, если такъ рассуждаете! Развѣ вы не знаете, что многіе сумасшедшіе только въ известное время сумасшествуютъ, а въ промежуткахъ ничѣмъ не отличаются отъ обыкновенныхъ людей?

— Не вѣрю! И не говорите!

— Въ такомъ случаѣ я вамъ отъ доктора свидѣтельство доставлю!

— Свидѣтельству повѣрю, а вамъ нѣтъ... Хорошъ сумасшедшій!

— Чрезъ полчаса я принесу вамъ свидѣтельство... Пока прощайте...

Милкинъ схватилъ шляпу и поспѣшно выбѣжалъ. Минутъ черезъ пять онъ уже входилъ къ своему пріятелю, доктору Фитюеву, но, къ несчастью, попалъ къ нему именно въ то время, когда онъ поправлялъ свою куафюру послѣ маленькой ссоры со своей женой.

— Другъ мой, я къ тебѣ съ просьбой! — обратился онъ къ доктору. — Дѣло вотъ въ чемъ... Меня хотятъ окрутить во что бы то ни стало... Чтобы избѣгнуть этой напасти, я придумалъ показать себя сумасшедшимъ... Гамлетовскій пріемъ въ нѣкоторомъ родѣ... Сумасшедшимъ, понимаешь, нельзя жениться... Будь другомъ, дай мнѣ удостовѣреніе въ томъ, что я сумасшедшій!

— Ты не хочешь жениться? — спросилъ докторъ.

— Ни за какія коврижки!

— Въ такомъ случаѣ не дамъ я тебѣ свидѣтельства, — сказалъ докторъ, трогая за свою куафюру. — Кто не хочетъ жениться, тотъ не сумасшедшій, а, напротивъ, умнѣйшій человекъ... А вотъ когда захочешь жениться, ну тогда приходи за свидѣтельствомъ. Тогда ясно будетъ, что ты сошелъ съ ума....

1885.

НЕ СУДЬБА.

Часу въ десятомъ утра два помѣщика, Гадюкинъ и Шиловостовъ, ѣхали на выборы участковаго мирового судьи. Погода стояла великолѣпная. Дорога, по которой ѣхали пріятели, зеленѣла на всемъ своемъ протяженіи. Старыя березы, насаженныя по краямъ ея, тихо шептались молодой листвою. Направо и налево тянулись богатые луга, оглашаемые криками перепеловъ, чибисовъ и куличковъ. На горизонтѣ тамъ и сямъ бѣлѣли въ снѣжной дали церкви и барскія усадьбы съ зелеными крышами.

— Взять бы сюда нашего предводителя и носомъ его потыкать.... — проворчалъ Гадюкинъ, толстый, сѣдовласый баринъ въ грязной сѣломенной шляпѣ и съ развязавшимся нестрымъ галстукомъ, когда бричка, подпрыгивая и звякая всѣми своими суставами, объѣзжала мостикъ. — Наши земскіе мосты для того только и строятся, чтобы ихъ объѣзжали. Правду сказалъ на прошломъ земскомъ собраніи графъ Дублеве, что земскіе мосты построены для испытанія умственныхъ способностей: ежели человекъ объѣхалъ мостъ, то, стало-быть, онъ умный, ежели же въѣхалъ на мостикъ и, какъ водится, шею сломалъ, то дуракъ. А все предсѣдатель виноватъ. Будь у насъ предсѣдателемъ другой кто-нибудь, а не пьяница, не соня, не размазня, не было бы такихъ мостовъ. Тутъ нуженъ человекъ съ понятіемъ, энергическій, зубастый, какъ ты, напримѣръ... Нелегкая тебя посетъ въ мировые судьи! Баллотировался бы, право, въ предсѣдатели!

— А вотъ погоди, какъ прокатятъ сегодня на воротахъ, — скромно замѣтилъ Шиловостовъ, высокій, рыжій человекъ въ новой дворянской фуражкѣ: — то поневолѣ придется баллотироваться въ предсѣдатели.

— Не прокатятъ.... — зѣвнулъ Гадюкинъ. — Намъ нужны

образованные люди, а университетских-то у насъ въ уѣздѣ всего-навсего одинъ—ты! Кого же и выбирать, какъ не тебя? Такъ ужъ и рѣшили... Только напрасно ты въ мировые лѣзешь... Въ предсѣдателяхъ ты нужнѣе былъ бы....

— Все равно, другъ... И мировой получаетъ 2.400 и предсѣдатель 2.400. Мировой знай сиди себѣ дома, а предсѣдатель то и дѣло трясись въ бричкѣ въ управу... Мировому непримѣръ легче, и къ тому же...

Шилохвостовъ не договорилъ... Онъ вдругъ безпокойно задвигался и вперилъ взоръ впередъ на дорогу. Затѣмъ онъ побагровѣлъ, плюнулъ и откинулся на задокъ.

— Такъ и зналъ! Чужало мое сердце!—пробормоталъ онъ, снимая фуражку и вытирая со лба потъ. — Опять не выберутъ!

— Чтò такое? Почему?

— Да нешто не видишь, что отецъ Онисимъ навстрѣчу ѣдетъ? Ужъ это какъ пить дать... Встрѣтится тебѣ на дорогѣ такая фигура, можешь назадъ воротаться, потому—ни черта не выйдетъ. Это ужъ я знаю! Митька, поворачивай назадъ! Господи, нарочно пораньше выѣхалъ, чтобъ съ этимъ іезуитомъ не встрѣчаться, такъ нѣтъ, пронюхалъ, что ѣду! Чутье у него такое!

— Да полно, будетъ тебѣ! Выдумываешь, ей-Богу!

— Не выдумываю! Ежели священникъ на дорогѣ встрѣтится, то быть бѣдѣ, а онъ каждый разъ, какъ я ѣду на выборы, всегда норовитъ мнѣ навстрѣчу выѣхать. Старый, чуть живой, помирать собирается, а такая злоба, что не приведи Создатель! Недаромъ ужъ двадцать лѣтъ за штатомъ сидитъ! И за что мститъ-то? За образъ мыслей! Мысли мои ему не нравятся! Были мы, знаешь, однажды у Ульева. Послѣ обѣда, выпивши, конечно, сѣлъ я за фортепьяны и давай безъ всякой, знаешь, задней мысли, пѣть «Настоечка травная» да «Грянемъ въ хоро-водѣ при всемъ честномъ народѣ», а онъ услышалъ и говоритъ: «Не подобаетъ судии быть съ такимъ образомъ мыслей касательно іерархіи. Не допущу до избранія!» И съ той поры каждый разъ навстрѣчу ѣздитъ... Ужъ я и ругался съ нимъ и дороги мѣнялъ—ничего не помогаетъ. Чутьемъ слышитъ, когда я выѣзжаю... Чтò жъ? Теперь надо воротаться! Все равно не выберутъ! Это ужъ какъ пить дать... Въ прошлые разы не выбирали,—а почему? По его милости!

— Ну, полно, образованный человекъ, въ университетѣ кончилъ, а въ бабьи предрасудки вѣришь...

— Не вѣрю я въ предрасудки, но у меня примѣта: какъ только начну что-нибудь 13-го числа, или встрѣчусь съ этой фигурой, то всегда кончаю плохо. Все это, конечно, чепуха, вздоръ, нельзя этому вѣрить, но... объясни, почему всегда такъ случается, какъ примѣты говорятъ? Не объяснишь же вотъ! По-моему, вѣрить не нужно, но на всякій случай не мѣшаетъ подчиняться этимъ проклятымъ примѣтамъ... Вернемся! Ни меня ни тебя, братъ, не выберутъ, и вдобавокъ еще ось сломается или проиграемся... Вотъ увидишь!

Съ бричкой поровнялась крестьянская телѣга, въ которой сидѣлъ малешкій, дряхленькій іерей въ широкополомъ, позеленѣвшемъ отъ времени цилиндрѣ и въ парусиновой ряскѣ. Поровнявшись съ бричкой, онъ снялъ цилиндръ и поклонился.

— Такъ нехорошо дѣлать, батюшка! — замахалъ ему рукой Шилохвостовъ. — Такіе ехидные поступки неприличны вашему сану! Да-съ! За это вы отвѣтъ должны дать на страшномъ судилищѣ! Воротимся! — обратился онъ къ Гадюкину. — Даромъ только ѣдемъ...

Но Гадюкинъ не согласился вернуться...

Вечеромъ того же дня пріятели ѣхали обратно домой... Оба были багровы и сумрачны, какъ вечерняя заря передъ плохой погодой.

— Говорилъ вѣдь я тебѣ, что нужно было вернуться! — ворчалъ Шилохвостовъ. — Говорилъ, вѣдь. Отчего не послушался? Вотъ тебѣ и предрасудки! Будешь теперь не вѣрить! Мало того, что на вороныхъ подлецы прокатили, но еще и на смѣхъ подняли, анаемы! «Кабакъ, говорятъ, на своей землѣ держишь!» Ну, и держу! Кому какое дѣло? Держу, да!

— Ничего, черезъ мѣсяцъ въ председатели будешь баллотироваться... — успокоилъ его Гадюкинъ. — Тебя нарочно сегодня прокатили, чтобъ въ председатели тебя выбрать...

— Пой соловьемъ! Всегда ты меня, ехида, утѣшаешь, а самъ первый норовишь черняковъ набросать! Сегодня ни одного бѣлаго не было, все черняки, стало-быть, и ты, другъ, черняка положилъ... Мерси...

Черезъ мѣсяцъ пріятели по той же дорогѣ ѣхали на

выборы председателя земской управы, но уже ѣхали не въ десятомъ часу утра, а въ седьмомъ. Шилохвостовъ ёрзалъ въ бричкѣ и безпокойно поглядывалъ на дорогу...

— Онъ не ожидаетъ, что мы такъ рано выѣдемъ, — говорилъ онъ: — но все-таки надо спѣшить... Чортъ его знаетъ, можетъ-быть, у него шпионы есть! Гони, Митька! Шибче! Вчера, братъ, — обратился онъ къ Гадюкину: — я послалъ отцу Онисиму два мѣшка овса и фунтъ чаю... Думалъ его лаской умилостивить, а онъ взялъ подарки и говоритъ Федору: «Клапаяся барину и поблагодари его за даръ совершенъ, но, говоритъ, скажи ему, что я неподкупенъ. Не токмо овсомъ, но и золотомъ онъ не поколеблетъ моихъ мыслей». Каковъ? Погоди же... Поѣдешь и чорта пухлаго встрѣтишь... Гони, Митька!

Бричка выѣхала въ деревню, гдѣ жилъ отецъ Онисимъ. Проѣзжая мимо его двора, пріятели заглянули въ ворота. Отецъ Онисимъ суетился около телѣги и торопился запрячь лошадь. Одной рукой онъ застегивалъ себѣ поясъ, другой рукой и зубами надѣвалъ на лошадь шлею...

— Опоздалъ! — захохоталъ Шилохвостовъ. — Донесли шпионы, да поздно! Ха-ха! Накася выкуси! Чтò съѣлъ? Вотъ тебѣ и неподкупенъ! Ха-ха!

Бричка выѣхала изъ деревни, и Шилохвостовъ почувствовалъ себя въ опасности. Онъ заликовалъ.

— Ну, у меня, братъ, такихъ мостовъ не будетъ! — началъ бравировать будущій председатель, подмигивая глазомъ. — Я ихъ подтяну, этихъ подрядчиковъ! У меня, братъ, не такія школы будутъ! Чуть замѣчу, что который изъ учителей пьяница или социалистъ — айда, братъ! Чтобъ и духу твоего не было! У меня, братъ, земскіе доктора не посмѣютъ въ красныхъ рубахахъ ходить! Я, братъ... ты, братъ... Гони, Митька, чтобъ другой какой попъ не встрѣтился... Ну, кажись, благополучно доѣха... Ай!

Шилохвостовъ вдругъ поблѣднѣлъ и вскочилъ, какъ ужаленный.

— Заяцъ! Заяцъ! — закричалъ онъ. — Заяцъ дорогу перебѣжалъ! Аа... чортъ подери, чтобъ его разорвало!

Шилохвостовъ махнулъ рукой и опустилъ голову. Онъ помолчалъ немного, подумалъ и, проведя рукой по блѣдному, вспотѣвшему лбу, прошепталъ:

— Не судьба, знать, мнѣ 2.400 получать... Ворочай назадъ, Митька! Не судьба!

1885.

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВІЕ.

Молодая, только-что повѣнчанная пара ѣдетъ изъ церкви во-свояси.

— Ну-ка, Варя, — говоритъ мужъ: — возьми-ка меня за бороду и рвани изъ **всѣхъ** силъ.

— Богъ знаетъ, что ты выдумываешь!

— Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйста! Прошу тебя! Возьми и рвани безъ всякихъ церемоній...

— Полно, для чего тебѣ это?

— Варя, я прошу... требую наконецъ! Если ты любишь меня, то возьми меня за бороду и дернешь... Вотъ моя борода, рви!

— Ни за что! Причинять боль человѣку, котораго я люблю больше жизни... нѣтъ, никогда!

— Но я прошу! — начинаетъ сердиться новоиспеченный супругъ. — Понимаешь? Я прошу и... требую!

Наконецъ, послѣ долгихъ ломаній, недоумѣвающая жена запускаетъ свои маленькія ручки въ мужнину бороду и рветъ ее, насколько хватаетъ силъ... Мужъ даже не морщится...

— Представь, а мнѣ **вѣдъ** нисколько не больно! — говоритъ онъ. — Ей-Богу, не больно! А ну-ка постой, теперь я тебя!

Мужъ беретъ жену за нѣсколько волосковъ, что около виска, и сильно дергаетъ. Жена громко взвизгиваетъ.

— Теперь, мой другъ, — резюмируетъ мужъ: — ты видишь, что я во много разъ сильнѣе и выносливѣе тебя. Это тебѣ необходимо знать на случай, если когда-нибудь въ будущемъ полѣзешь на меня съ кулаками или пообѣщаешь выцарапать мнѣ глаза... Однимъ словомъ, жена да убьется мужа своего!

1885.

СВИСТУНЫ.

Алексѣй Оедоровичъ Восьмеркинъ водилъ по своей усадьбѣ пріѣхавшаго къ нему погостить брата-магистра и показывалъ ему свое хозяйство. Оба только-что позавтракали и были слегка навеселѣ.

— Это, братецъ ты мой, кузница...—пояснялъ Восьмеркинъ. — На этой висѣлщѣ лошадей подковываютъ... А вотъ это, братецъ ты мой, баня... Тутъ въ банѣ длинный диванъ стоитъ, а подъ диваномъ индѣйки сидятъ въ рѣшетахъ на яйцахъ... Какъ взглянешь на диванъ, такъ и вспомнишь толикая многая... Баню только зимою топлю... Важная, братъ, штукаенція! Только русскій человекъ и могъ выдумать баню! За одинъ часъ на верхней полочкѣ столько переживешь, чего итальянцу или пѣмцу въ столѣтъ не пережить... Лежишь какъ въ пеклѣ, а тутъ Авдотья тебя вѣникомъ, вѣникомъ... чики-чики... чики-чики... Встанешь, выпьешь холодного квасу и опять чики-чики... Слѣзаешь потомъ съ полки, какъ сатана красный... А вотъ это людская... Тутъ мои вольнонаемники... Зайдемъ?

Помѣщикъ и магистръ нагнулись и вошли въ похилившуюся, нештукатуренную развалюшку съ продавленной крышей и разбитымъ окномъ. При входѣ ихъ обдало запахомъ варева. Въ людской обѣдали... Мужики и бабы сидѣли за длиннымъ столомъ и большими ложками ѣли гороховую похлебку. Увидѣвъ господъ, они перестали жевать и поднялись.

— Вотъ они, мои... — началъ Восьмеркинъ, окидывая глазами обѣдающихъ. — Хлѣбъ да соль, ребята!

— Алалаблблбл...

— Вотъ они! Русь, братецъ ты мой! Настоящая Русь!

Народъ на подборъ! И что за народъ! Какому, прости Господи, скоту нѣмцу или французу сравняться? Супротивъ нашего народа все то свиньи, тля!

— Ну, не говори... — залепеталъ магистръ, закуривая для чистоты воздуха сигару. — У всякаго народа свое историческое прошлое... свое будущее...

— Ты западникъ! Развѣ ты понимаешь? Вотъ то-то и жалъ, что вы, ученые, чужое выучили, а своего знать не хотите! Вы презираете, чуждаетесь! А я читалъ и согласенъ: интеллигенція протухла, а ежели въ комъ еще можно искать идеаловъ, такъ только вотъ въ нихъ, вотъ въ этихъ лодаряхъ... Взять хоть бы Фильку...

Восьмеркинъ подошелъ къ пастуху Филькѣ и потрясъ его за плечо. Филька ухмыльнулся и издалъ звукъ «гы-ы»...

— Взять бы хоть этого Фильку... Ну, чего, дуракъ, смѣешься? Я серьезно говорю, а ты смѣешься... Отъѣлся, морда, и ухмыляется! Бсть и смѣяться вотъ ты умѣешь, а глядѣть, чтобъ поросята не дохли, лѣнь тебѣ... Взять хоть этого дурня... Погляди, магистръ! Въ плечахъ — косая сажень! Грудница, словно у слона! Съ мѣста анаемы не сдвинешь! А сколько въ немъ силы-то этой нравственной тaitся! Сколько тaitся! Этой силы на десятокъ васъ, интеллигентовъ, хватить... Дерзай, Филька! Бди! Не отступай отъ своего! Крѣпко держись! Ежели кто будетъ говорить тебѣ что-нибудь, совращать, то плюй, не слушай... Ты сильнѣе, лучше! Мы тебѣ подражать должны!

— Господа наши милостивые! — замигалъ глазами степенный кучеръ Антипъ. — Нешто онъ это чувствуетъ? Нешто понимаетъ господскую ласку? Ты въ ножки, простофиля, поклонись и ручку поцѣлуй... Милостивцы вы наши! На что уже человѣка, какъ Филька, да и то вы ему прощаете, а ежели человѣкъ тверезый, не баловникъ, то такому не жистъ, а рай... дай Богъ всякому... И награждаете и взыскиваете.

— Вво! Самая суть заговорила! Патріархъ лѣсовъ! Понимаешь, магистръ? «И награждаете и взыскиваете»... Въ простыхъ словахъ идея справедливости!.. Преклоняюсь, братъ! Вѣришь ли? Учусь у нихъ! Учусь!

— Это вѣрно!..

— Что вѣрно?

— Насчетъ ученья-съ...

— Какого ученья? Что ты мелешь?

— Я насчетъ вашихъ словъ-съ... насчетъ ученія-съ... На то вы и господа, чтобъ всякія ученія постигать... Мы темень! Видимъ, что вывѣска нарисована, а что она, какой смыслъ обозначаетъ, намъ и невдомекъ... Носомъ больше понимаемъ... Ежели водкой пахнетъ, то, значить, кабакъ, ежели дегтемъ, то лавка...

— Магистръ, а? Что скажешь? Каковъ народъ? Что ни слово, то съ закорючкой, что ни фраза, то глубокая истина! Гнѣздо, братъ, правды въ Антипкиной головѣ! А погляди-ка на Дуняшку! Дуняшка, пошла сюда!

Скотница Дуняша, весноватая, съ вздернутымъ носомъ, застыдилась и зацарапала столъ ногтемъ.

— Дуняшка, тебѣ говорятъ, пошла сюда! Чего, дура, стыдишься? Не укусимъ!

Дуняша вышла изъ-за стола и остановилась передъ бариномъ.

— Какова? Такъ и дышитъ силищей! Видалъ ты такіхъ у себя тамъ въ Питерѣ? Тамъ у васъ спички, жилы да кости, а эта, гляди, кровь съ молокомъ! Простота, ширь! Улыбку погляди, румянецъ щекъ! Все это натура, правда, дѣйствительность, не такъ, какъ у васъ тамъ! Что это у тебя за щеками набито?

Дуняша пожевала и проглотила что-то...

— А погляди-ка, братецъ ты мой, на плечищи, на ножичи! — продолжалъ Восьмеркинъ. — Небось, какъ бултыхнуть этимъ кулачищемъ въ спинищу своего любезнаго, такъ звонъ поидетъ, словно изъ бочки... Что, все еще съ Андрюшкой валандаешься? Смотри мнѣ, Андрюшка, задамъ я тебѣ пфеферу. Смѣйся, смѣйся... Магистръ, а? Формы-то, формы...

Восьмеркинъ нагнулся къ уху магистра и зашепталъ... Дворня стала смѣяться.

— Вотъ и дождалась, что тебя на смѣхъ подняли, непутящая... — замѣтилъ Антигъ, глядя съ укоризной на Дуняшу. — Что, краснѣй рака стала? Про путную дѣвку не стали бы такъ рассказывать...

— Теперь, магистръ, на Любку посмотри! — продолжалъ Восьмеркинъ. — Эта у насъ первая запѣвала... Ты тамъ ѣздишь межъ своихъ чухонцевъ и собираешь плоды народнаго творчества... Нѣтъ, ты нашихъ послушай! Пусть тебѣ наши споютъ, такъ слюной истечешь! Нукася, ребята! Нукася! Любка, начинай! Да ну же, свищи! Слушайся!

Люба стыдливо кашлянула въ кулакъ и рѣзкимъ, сильнымъ голосомъ затянула пѣсню. Ей вторили остальные... Восьмеркинъ замахалъ руками, замигалъ глазами и, стараясь прочесть на лицѣ магистра восторгъ, закудахталъ.

Магистръ нахмурился, стиснулъ губы и съ видомъ глупокаго знатока сталъ слушать.

— Мда...—сказалъ онъ:—Вариантъ этой пѣсни имѣется у Кирѣвскаго, выпускъ седьмой, разрядъ третій, пѣснь одиннадцатая... Мда... Надо записать...

Магистръ вынулъ изъ кармана книжку и, еще больше нахмурившись, сталъ записывать... Пропѣвъ одну пѣсню, «люди» начали другую... А похлебка между тѣмъ простыла, и каша, которую вынули изъ печи, перестала уже испускать изъ себя дымокъ.

— Такъ его!—притоптывалъ Восьмеркинъ.—Такъ его! Важно! Преклоняюсь!

Дѣло, вѣроятно, дошло бы и до танцевъ, если бы не вошелъ въ людскую кучеръ Петръ и не доложилъ господамъ, что кушать подано.

— И мы, отщепенцы, отбросы, осмѣливаемся еще считать себя выше и лучше!—негодовалъ плаксивымъ голосомъ Восьмеркинъ, выходя съ братомъ изъ людской.—Что мы? Кто мы? Ни идеаловъ, ни пауки, ни труда... Ты слышишь, они хохочутъ? Это они надъ нами!.. И они правы! Чуютъ фальшь! Тысячу разъ правы и... и... А видалъ Дуняшку? Ше-ельма дѣвчонка! Ужо, погоди, послѣ обѣда я позову ее...

За обѣдомъ оба брата все время рассказывали о самобытности, нетронутости и цѣлости, бранили себя и искали смысла въ словѣ «интеллигентъ».

Послѣ обѣда легли спать. Выспавшись, вышли на крыльцо, приказали подать себѣ сельтерской и опять начали о томъ же...

— Петька!—крикнулъ Восьмеркинъ лакею.—Поди, позови сюда Дуняшку, Любку и прочихъ! Скажи, хороводы водить! Да чтобъ скорѣй! Живо у меня!

1885.

СТѢНА.

...Люди, кончившіе курсъ въ спеціальныхъ заведеніяхъ, сидятъ безъ дѣла или же занимаютъ должности не имѣющія ничего общаго съ ихъ спеціальностью, и такимъ образомъ высшее техническое образованіе является у насъ пока непронизываемымъ...

(Изъ передовой статьи).

— Тутъ, ваше превосходительство, по два раза на день ходитъ какой-то Масловъ, васъ спрашиваетъ... — говорилъ камердинеръ Иванъ, брея своего барина Букина. — И сегодня приходилъ, сказывалъ, что въ управляющіе хочетъ наниматься... Общался сегодня въ часъ прійти... Чудной человѣкъ!

— Что такое?

— Сидитъ въ передней и все бормочетъ. Я, говорить, не лакей и не проситель, чтобъ въ передней по два часа тереться. Я, говорить, человѣкъ образованный... Хоть, говорить, твой баринъ и генералъ, а скажи ему, что это невѣжливо людей въ передней морить...

— И онъ безконечно правъ! — нахмурился Букинъ. — Какъ ты, братецъ, иногда бываешь нетактиченъ! Видишь, что человѣкъ порядочный, изъ чистенькихъ, ну и пригласилъ бы его куда-нибудь... къ себѣ въ комнату, что ли...

— Не важная птица! — усмѣхнулся Иванъ. — Не въ генералы пришелъ наниматься, и въ передней посидишь. Сидятъ люди и почище твоего носа, и то не обижаются... Коли ежели ты управляющій, слуга своему госнодину, то и будь управляющимъ, а нечего выдумки выдумывать, въ образованные лѣзть... Тоже, поди ты, въ гостиную

захотѣлъ, харя немытая... Ужъ очень много ноняче смѣшныхъ людей развелось, ваше превосходительство!

— Если сегодня еще разъ придетъ этотъ Масловъ, то проси...

Ровно въ часъ явился Масловъ. Иванъ повелъ его въ кабинетъ.

— Васъ графъ ко мнѣ прислалъ?—встрѣтилъ его Букинъ. — Очень пріятно познакомиться! Садитесь! Вотъ сюда садитесь, молодой человекъ, тутъ помягче будетъ... Вы ужъ тутъ были... мнѣ говорили объ этомъ, но, *rag-don*, я вѣчно въ отлучкѣ, или занятъ. Курите, милѣйшій... Да, дѣйствительно, мнѣ нуженъ управляющій... Съ прежнимъ мы немощко не поладили... Я ему не уважилъ, онъ мнѣ не потрафилъ, пошли, знаете ли, контры... Хе-хе-хе... Вы ранѣе управляли гдѣ-нибудь имѣньемъ?

— Да, я у Киришахера годъ служилъ младшимъ управляющимъ... Имѣніе было продано съ аукціона, и мнѣ поневолѣ пришлось ретироваться... Опыта у меня, конечно, почти нѣтъ, но я кончилъ въ Петровской земледѣльческой академіи, гдѣ изучалъ агрономію... Думаю, что мои науки хоть немного замѣняютъ практику...

— Какія же тамъ, батенька, науки? Глядѣть за рабочими, за лѣсниками... хлѣбъ продавать, отчетность разъ въ годъ представлять... никакихъ тутъ наукъ не нужно! Тутъ нужны глазъ острый, ротъ зубастый, голосина... Впрочемъ, знанія не мѣшаютъ...—вздыхнулъ Букинъ. — Ну-съ, имѣніе мое находится въ Орловской губерніи. Какъ, что и почему, узнаете вы вотъ изъ этихъ плановъ и отчетовъ, самъ же я въ имѣніи никогда не бываю, въ дѣла не вмѣшиваюсь, и отъ меня, какъ отъ Расплюева, ничего не добьетесь, кромѣ того, что земля черная, лѣсъ зеленый... Условія, я думаю, останутся прежнія, то-есть тысяча жалованья, квартира, провізія, экипажъ и полнѣйшая свобода дѣйствій!

«Да онъ душка!»—подумалъ Масловъ.

— Только вотъ что, батенька... Простите, но лучше заранѣе уговориться, чѣмъ потомъ ссориться. Дѣлайте, тамъ, что хотите, но да хранитъ васъ Богъ отъ нововведеній, не сбивайте съ толку мужиковъ и, что главнѣе всего, хапайте не болѣе тысячи въ годъ...

— Простите, я не разслышалъ послѣдней фразы... — пробормоталъ Масловъ.

— Хапайте не больше тысячи въ годъ... Конечно, безъ

хапанья нельзя обойтись, но, милый мой, мѣра, мѣра! Вашъ предшественникъ увлекся и на одной шерсти стилиснулъ пять тысячъ, и... и мы разошлись. Конечно, по-своему, онъ правъ... человекъ ищетъ, гдѣ лучше, и своя рубашка ближе къ тѣлу, но, согласитесь, для меня это тяжеленко. Такъ вотъ помните же: тысячу можно... ну, такъ и быть ужъ—двѣ, но не дальше!

— Вы говорите со мной, словно съ мошенникомъ!— Масловъ взялъ шапку и поднимаясь. — Извините, я къ такому бесѣдамъ не привыкъ...

— Да? Какъ угодно-съ... Не смѣю удерживать...

Масловъ взялъ шапку и быстро вышелъ.

— Что, папа, нанялъ управляющаго?—спросила Букина его дочь по уходѣ Маслова.

— Нѣтъ... Ужъ больно малый... тово... честенъ...

— Что жъ, и отлично! Чего же тебѣ еще нужно?

— Нѣтъ, спаси Господи и помилуй отъ честныхъ людей... Если честенъ, то, навѣрное, или дѣла своего не знаетъ, или же авантюристъ, пустомеля... дуракъ. Избави Богъ... Честный не крадетъ, не крадетъ, да ужъ зато, какъ царапнетъ залпомъ за одинъ разъ, такъ только ротъ разинешь... Нѣтъ, душечка, спаси Богъ отъ этихъ честныхъ...

Букинъ подумалъ и сказалъ:

— Пять человекъ являлось и всѣ такіе, какъ этотъ... Чортъ знаетъ, счастье какое! Придется, вѣроятно, прежняго управляющаго пригласить...

1885.

ДВА ГАЗЕТЧИКА.

(НЕПРАВДОПОДОБНЫЙ РАЗСКАЗЪ).

Рыбкинъ, сотрудникъ газеты «Начихать вамъ на головы!», человекъ обрюзглый, сырой и тусклый, стоялъ посреди своего номера и любовно поглядывалъ на потолочекъ, гдѣ торчалъ крючокъ, приспособленный для лампы. Въ рукахъ у него болталась веревка.

«Выдержитъ или не выдержитъ? — думалъ онъ. — Оборвется, чего добраго, и крючкомъ по головѣ... Жизнь анаемская! Даже повѣситься путемъ негдѣ!»

Не знаю, чѣмъ кончились бы размышленія безумца, если бы не отворилась дверь и не вошелъ въ номеръ пріятель Рыбкина, Шлепкинь, сотрудникъ газеты «Гуда предатель», живой, веселый, розовый.

— Здорово, Вася! — началъ онъ, садясь. — Я за тобой... Ыдемъ! Въ Выборгской покушеніе на убійство, строкъ на тридцать... Какая-то шельма рѣзала и не до-рѣзала. Рѣзалъ бы ужъ на цѣлыхъ сто строкъ, подлець! Часто, братъ, я думаю и даже хочу объ этомъ писать: если бы человечество было гуманно и знало, какъ намъ жрать хочется, то оно вѣшалось бы, горѣло и судилось во сто разъ чаще. Ба! Это что такое? — развелъ онъ руками, увидѣвъ веревку. — Ужъ не вѣшаться ли вздумалъ?

— Да, братъ... — вздохнулъ Рыбкинъ. — Шабашъ... прощай! Опротивѣла жизнь! Пора ужъ...

— Ну, не идиотство ли? Чѣмъ же могла тебѣ жизнь опротивѣть?

— Да такъ, всемъ... Туманъ какой-то кругомъ, неопредѣленность... безызвѣстность... писать не о чемъ. Отъ одной мысли можно десять разъ повѣситься: кругомъ

другъ друга ѣдятъ, грабятъ, томятъ, другъ другу въ морды плюютъ, а писать не о чемъ! Жизнь кипитъ, трещитъ, шипитъ, а писать не о чемъ! Дуализмъ проклятый какой-то...

— Какъ же не о чемъ писать? Вудь у тебя десять рукъ, и на всѣ бы десять работы хватило.

— Нѣтъ, не о чемъ писать! Кончена моя жизнь! Ну, о чемъ прикажешь писать? О кассирахъ писали, объ аптекахъ писали, про восточный вопросъ писали... до того писали, что все перекутали и ни черта въ этомъ вопросѣ не поймешь. Писали о невѣри, тещахъ, о юбилеяхъ, о пожарахъ, женскихъ шляпкахъ, паденіи нравовъ, о Цукки... Всю вселенную перебрали, и ничего не осталось. Ты вотъ сейчасъ про убійство говоришь: человека зарѣзали... Эка невидаль! Я знаю такое убійство, что человека повѣсили, зарѣзали, керосиномъ облили и сожгли все это сразу, и то я молчу. Наплевать мнѣ! Все это уже было, и ничего тутъ нѣтъ необыкновеннаго. Допустимъ, что ты двѣсти тысячъ укралъ или что Невскій съ двухъ концовъ поджегъ — наплевать и на это! Все это обыкновенно, и писали ужъ объ этомъ. Прощай!

— Не понимаю! Такая масса вопросовъ... такое разнообразіе явленій! Въ собаку камень бросишь, а въ вопросъ или явленіе попадешь...

— Ничего не стоятъ ни вопросы, ни явленія... Напримѣръ, вотъ я вѣшаюсь сейчасъ... По-твоему, это вопросъ, событіе, а по-моему, пять строкъ пегита — и больше ничего. И писать не о чемъ. Околѣвали, околѣваютъ и будутъ околѣвать — ничего тутъ нѣтъ новаго... Всѣ эти, братъ, разнообразія, кипѣнія, шипѣнія очень ужъ однообразны... И самому писать тошно, да и читателя жалко: за что его, бѣднаго, въ меланхолію вгонять?

Рыбкинъ вздохнулъ, покачалъ головой и горько улыбнулся.

— А вотъ если бы, — сказалъ онъ: — случилось что-нибудь особенное, этакое, знаешь, зашибательное, что-нибудь мерзвѣйшее, распереподное, такое, чтобъ черти съ перепугу передохли, ну, тогда ожить бы я! Прощла бы земля сквозь хвостъ кометы, что ли, Бисмаркъ бы въ магометанскую вѣру перешелъ, или турки Калугу приступомъ взяли бы, или, знаешь, Нотовича въ тайные совѣтники произвели бы... однимъ словомъ, что-нибудь зажигательное, отчаянное, — ахъ, какъ бы я зажилъ тогда!

— Любишь ты широко глядѣть, а ты попробуй поменьше плавать. Вглядись въ былинку, въ песчинку, въ щелочку... всюду жизнь, драма, трагедія! Въ каждой щепкѣ, въ каждой свиньѣ драма!

— Благо у тебя натура такая, что ты и про выѣденное яйцо можешь писать, а я... нѣтъ!

— А что жъ? — окрысился Шлепкинъ. — Чѣмъ, по твоему, плохо выѣденное яйцо? Масса вопросовъ! Во-первыхъ, когда ты видишь передъ собой выѣденное яйцо, тебя охватываетъ негодование, ты возмущенъ!! Яйцо, предназначенное природою для воспроизведенія жизни индивидуума... понимаешь! жизни!.. жизни, которая, въ свою очередь, дала бы жизнь цѣлому поколѣнію, а это поколѣніе тысячамъ будущихъ поколѣній, вдругъ съѣдено, стало жертвою чревоугодія, прихоти! Это яйцо дало бы курицу, курица въ теченіе всей своей жизни снесла бы тысячу яицъ... — вотъ тебѣ, какъ на ладони, подрывъ экономическаго строя, зафданіе будущаго! Во-вторыхъ, глядя на выѣденное яйцо, ты радуешься: если яйцо съѣдено, то, значитъ, на Руси хорошо питаются... Въ-третьихъ, тебѣ приходитъ на мысль, что яичной скорлупой удобряютъ землю, и ты совѣтуешь читателю дорожить отбросами. Въ-четвертыхъ, выѣденное яйцо наводитъ тебя на мысль о бренности всего земного: жило и нѣтъ его! Въ-пятыхъ... Да что я считаю? На сто ну-меровъ хватитъ!

— Нѣтъ, куда мнѣ! Да и вѣру я въ себя потерялъ, въ уныніе впалъ... Ну его, все къ чорту!

Рыбкинъ сталъ на табуретъ и прицѣпилъ веревку къ крючку.

— Напрасно, ей-Богу, напрасно! — убѣждалъ Шлепкинъ. — Ты погляди: двадцать у насъ газетъ и всѣ полны! Стало-быть, есть о чемъ писать! Даже провинціальныя газеты, и тѣ полны!

— Нѣтъ... Спящіе гласные, кассиры... — забормоталъ Рыбкинъ, какъ бы ища за что ухватиться: — дворянскій банкъ, паспортная система... упраздненіе чиновъ, Румелия... Богъ съ ними!

— Ну, какъ знаешь...

Рыбкинъ накинулъ себѣ петлю на шею и съ удовольствіемъ повѣсился. Шлепкинъ сѣлъ за столъ и въ одинъ мигъ написалъ замѣтку о самоубійствѣ, некрологъ Рыбкина, фельетонъ по поводу частыхъ самоубійствъ, пе-

редовую объ усиленіи кары, налагаемой на самоубійцъ, и еще нѣсколько другихъ статей на ту же тему. Написавъ все это, онъ положилъ въ карманъ и весело побѣжалъ въ редакцію, гдѣ его ждали мзда, слава и читатели.

1885.

ГОСТЬ.

(Сценка).

У частнаго повѣреннаго Зельтерскаго слипались глаза. Природа погрузилась въ потемки. «Затихли вѣтерки, замолкли птичекъ хоры, и прилегли стада». Жена Зельтерскаго давно уже пошла спать, прислуга тоже спала, вся живность уснула, одному только Зельтерскому нельзя было идти въ спальную, хотя на его вѣкахъ висѣла трехпудовая тяжесть. Дѣло въ томъ, что у него сидѣлъ гость, сосѣдъ по дачѣ, отставной полковникъ Перегаринъ. Какъ пришелъ онъ послѣ обѣда и какъ сѣлъ на диванъ, такъ съ той поры ни разу не поднимался, словно прилипъ. Онъ сидѣлъ и хрипѣлъ, гнусавымъ голосомъ разсказывалъ, какъ въ 1842 г. въ городѣ Кременчугѣ его бѣшеная собака укусила. Разсказалъ и опять началъ снова. Зельтерскій былъ въ отчаяніи. Чего онъ только ни дѣлалъ, чтобы выжить гостя! Онъ то и дѣло посматривалъ на часы, говорилъ, что у него голова болитъ, то и дѣло выходилъ изъ комнаты, гдѣ сидѣлъ гость, но ничего не помогало. Гость не понималъ и продолжалъ про бѣшеную собаку.

— Этотъ старый хрычъ до утра просидитъ! — злился Зельтерскій. — Такая дубина! Ну, ужъ если онъ не понимаетъ обыкновенныхъ намековъ, то придется пустить въ ходъ болѣе грубые приемы. Послушайте, — сказалъ онъ вслухъ: — знаете, чѣмъ нравится мнѣ дачная жизнь?

— Чѣмъ-съ?

— Тѣмъ, что здѣсь жизнь можно регулировать. Въ городѣ трудно держаться какого-либо опредѣленнаго режима, здѣсь же наоборотъ. Въ девять мы встаемъ, въ

три обѣдаемъ, въ десять ужинаемъ, въ двѣнадцать спимъ. Въ двѣнадцать я всегда въ постели. Храни меня Богъ лечь позже: не отдѣлаться на другой день отъ мигрени!

— Скажите... Кто какъ привыкъ, это дѣйствительно. Былъ у меня, знаете ли, одинъ знакомый, пѣкто Ключинъ, штабсъ-капитанъ. Познакомился я съ нимъ въ Серпуховѣ. Ну-съ, такъ вотъ этотъ самый Ключинъ...

И полковникъ, заикаясь, причмокивая и жестикулируя жирными пальцами, началъ рассказывать про Ключина. Пробило двѣнадцать, часовую стрѣлку потянуло къ половинѣ перваго, а онъ все рассказывалъ. Зельтерскаго бросило въ потъ.

«Не понимаетъ! Глупъ! — злился онъ. — Неужели онъ думаетъ, что своимъ посѣщеніемъ доставляетъ мнѣ удовольствіе? Ну какъ его выжить?»—Послушайте,—перебилъ онъ полковника:—что мнѣ дѣлать? У меня ужасно болитъ горло! Чортъ меня дернулъ зайти сегодня утромъ къ одному знакомому, у котораго ребенокъ лежитъ въ дифтеритѣ. Вѣроятно, я заразился. Да, чувствую, что заразился. У меня дифтеритъ!

— Случается!—невозмутимо прогнусавилъ Перегаринъ.

— Болѣзнь опасная! Мало, что я самъ боленъ, но могу еще и другихъ заразить. Болѣзнь въ высшей степени прилипчивая! Какъ бы мнѣ васъ не заразить, Пароеній Саввичъ!

— Меня-то? Ге-ге! Въ тифозныхъ госпиталяхъ живалъ — не заражался, а у васъ вдругъ заражусь! Хе-хе... Меня, батенька, старую кочерыжку никакая болѣзнь не возьметъ. Старики живучи. Былъ у насъ въ бригадѣ одинъ старенькій старичокъ, подполковникъ Требень... французскаго происхожденія. Ну-съ, такъ вотъ этотъ Требень...

И Перегаринъ началъ рассказывать о живучести Требьена. Часы пробили половину перваго.

— Виновать, я васъ перебую, Пароеній Саввичъ. Вы въ которомъ часу ложитесь спать?

— Когда въ два, когда въ три, а бываетъ такъ, что и вовсе не ложусь, особливо, ежели въ хорошей компаніи просидишь, или ревматизмъ разгуляется. Сегодня, напримѣръ, я часа въ четыре лягу, потому до обѣда выспался. Я въ состояніи вовсе не спать. На войнѣ мы по цѣлымъ недѣлямъ не ложились. Былъ такой случай. Стояли мы подъ Ахалцыхомъ...

— Виновать. А вотъ я такъ всегда въ двѣнадцать ложусь. Встаю я въ девять часовъ, такъ по неволѣ приходится раньше ложиться.

— Конечно. Раньше вставать и для здоровья хорошо. Ну-съ, такъ вотъ-съ... стоимъ мы подъ Ахалцыхомъ...

— Чортъ знаетъ что. Знобитъ меня, въ жаръ бросаетъ. Всегда такъ у меня передъ припадкомъ бываетъ. Надо вамъ сказать, что со мною случаются иногда странные нервные припадки. Часу такъ въ первомъ почи... днемъ припадковъ не бываетъ... вдругъ въ головѣ начинается шумъ: жжж... Я теряю сознание, вскакиваю и начинаю бросать въ домашнихъ чѣмъ попало. Попадется подъ руку ножъ — я ножомъ, стулъ — я стуломъ. Сейчасъ знобитъ меня, вѣроятно, передъ припадкомъ. Всегда знобомъ начинается.

— Ишь ты... А вы полѣчились бы!

— Лѣчился, не помогаетъ... Ограничиваюсь только тѣмъ, что незадолго до припадка предупреждаю знакомыхъ и домашнихъ, чтобъ уходили, а лѣчение давно уже бросилъ...

— Псс... Какихъ только на свѣтѣ нѣтъ болѣзней! И чума, и холера, и припадки разные...

Полковникъ покачалъ головой и задумался. Наступило молчаніе.

«Почитаю-ка ему свое произведеніе, — подумалъ Зельтерскій. — Тамъ у меня гдѣ-то романъ валяется, въ гимназій еще писалъ... Авось службу сослужить...» — Ахъ, кстати, — перебилъ Зельтерскій размышленія Перегарина: — не хотите ли, я почитаю вамъ свое сочиненіе? На досугѣ какъ-то состряпалъ... Романъ въ пяти частяхъ съ прологомъ и эпилогомъ...

И, не дожидаясь отвѣта, Зельтерскій вскочилъ и вытащилъ изъ стола старую заржавленную рукопись, на которой крупными буквами было написано: «Мертвая зыбь. Романъ въ пяти частяхъ».

«Теперь, навѣрное, уйдетъ, — мечталъ Зельтерскій, перелистывая грѣхи своей юности. — Буду читать ему до тѣхъ поръ, пока не вззоетъ...» — Ну, слушайте, Пароеній Саввичъ...

— Съ удовольствіемъ... я люблю-съ...

Зельтерскій началъ. Полковникъ положилъ ногу на ногу, поудобнѣй усялся и сдѣлалъ серьезное лицо, очевидно, приготовился слушать долго и добросовѣстно...

Чтецъ началъ съ описанія природы. Когда часы пробили часъ, природа уступила свое мѣсто описанію замка, въ которомъ жилъ герой романа, графъ Валентинъ Бленскій.

— Пожить бы въ этакомъ замкѣ! — вздохнулъ Перегаринъ. — И какъ хорошо написано! Вѣкъ бы сидѣлъ да слушалъ!

«Ужо погодн! — подумалъ Зельтерскій. — Взойешь!»

Къ половинѣ второго замockъ уступилъ свое мѣсто красивой наружности героя... Ровно въ два чтецъ тихимъ, подавленнымъ голосомъ читалъ:

«— Вы спрашиваете, чего я хочу? О, я хочу, чтобы тамъ, вдали, подъ сводами южнаго неба ваша маленькая ручка томно трепетала въ моей рукѣ... Только тамъ, тамъ живѣе забьется мое сердце подъ сводами моего душевнаго здалія... Любви, любви!..» — Нѣтъ, Пароеній Саввичъ... силъ нѣтъ... Замучился!

— А вы бросьте! Завтра дочитаете, а теперь поговоримъ... Такъ вотъ-съ, я не рассказаль вамъ еще, что было подъ Ахалцыхомъ...

Измученный Зельтерскій повалился на спинку дивана и, закрывъ глаза, сталъ слушать...

«Всѣ средства испробоваль, — думалъ онъ. — Ни одна пуля не пробилла этого мастодонта. Теперь до четырехъ часовъ будетъ сидѣть... Господи, сто цѣлковыхъ далъ бы теперь, чтобы сію минуту завалиться дрыхнуть... Ба! Попрошу-ка у него денегъ взаймы! Прелестное средство...» — Пароеній Саввичъ! — перебилъ онъ полковника. — Я опять васъ перебую. Хочется мнѣ попросить васъ объ одномъ маленькомъ одолженіи... Дѣло въ томъ, что въ послѣднее время, живя здѣсь на дачѣ, я ужасно истратился. Денегъ нѣтъ ни копейки, а между тѣмъ въ концѣ августа мнѣ предстоитъ получка.

— Однако... я у васъ засидѣлся... — пропыхтѣлъ Перегаринъ, ища глазами фуражку. — Ужъ третій часъ... Такъ вы о чемъ же-съ?

— Хотѣлось бы у кого-нибудь взять взаймы рублей двѣсти, триста... Не знаете ли вы такого человѣка?

— Гдѣ жъ мнѣ знать? Однако... вамъ бай-бай пора... Будемте здоровы... Супругѣ вашей...

Полковникъ взялъ фуражку и сдѣлалъ шагъ къ двери.

— Куда же вы?.. — заторжествовалъ Зельтерскій. —

А мнѣ хотѣлось васъ попросить... Зная вашу доброту, я надѣялся...

— Завтра, а теперь къ женѣ маршъ! Чай, заждалась друга сердечнаго... Хе-хе-хе... Прощайте, ангелъ. Спать!

Перегаринъ быстро пожалъ Зельтерскому руку, надѣлъ фуражку и вышелъ. Хозяинъ торжествовалъ.

1885.

КОНЬ И ТРЕПЕТНАЯ ЛАНЬ.

Третій часъ ночи. Супруги Фибровы не спятъ. Онъ ворочается съ боку на бокъ и то и дѣло сплевываетъ, она, маленькая, худощавая брюнеточка, лежитъ неподвижно и задумчиво смотреть на открытое окно, въ которое нелюдимо и сурово глядится разсвѣтъ...

— Не спится! — вздыхаетъ онъ.

— Тебя мутить?

— Да, немножко.

— Не понимаю, Вася, какъ тебѣ не надоѣсть каждый день являться домой въ такомъ видѣ! Не проходитъ ночи, чтобъ ты не былъ боленъ. Стыдно!

— Ну, извини... Я это нечаянно. Выпилъ въ редакціи бутылку пива, да въ «Аркадіи» немножко перепустилъ. Извини.

— Да что извинять? Самому тебѣ должно быть противно и гадко. Плюетъ, икаетъ... Богъ знаетъ на что похожъ. И вѣдь это каждую ночь, каждую ночь! Я не помню, когда ты являлся домой трезвымъ?

— Я не хочу пить, да оно какъ-то само собой пьется. Должность такая анаемерская. Цѣлый день по городу рыскаешь. Тамъ рюмку выпьешь, въ другомъ мѣстѣ пива, а тамъ, глядь, пріятель пьющій встрѣтился... нельзя не выпить. А иной разъ и свѣдѣнія не получишь безъ того, чтобъ съ какой-нибудь свиньей бутылку водки не стрескать. Сегодня, папримѣръ, на пожарѣ нельзя было съ агентомъ не выпить.

— Да, проклятая должность! — вздыхаетъ брюнетка. — Бросилъ бы ты ее, Вася!

— Бросить? Какъ можно!

— Очень можно. Добро бы писатель настоящій былъ, писалъ бы хорошіе стихи или повѣсти, а то такъ, репортеръ какой-то, про кражи да пожары пишешь. Такіе пустяки пишешь, что иной разъ и читать совѣстно. Хорошо бы еще, пожалуй, если бъ заработалъ много, этакъ рублей двѣсти-триста въ мѣсяцъ, а то получишь какіе-то несчастные пятьдесятъ рублей, да и то не аккуратно. Живемъ мы бѣдно, грязно. Квартира прачечной пропахла, кругомъ все мастеровые да развратныя женщины живутъ. Цѣлый день только и слышишь неприличныя слова и пѣсни. Ни мебели у насъ ни бѣлья. Ты одѣтъ неприлично, бѣдно, такъ что хозяйка на тебя тыкаетъ, а я хуже модистки всякой. Ыдимъ мы хуже всякихъ поденщиковъ... Ты гдѣ-то на сторожѣ въ трактирахъ какую-то дрянъ ѣшь, и то, вѣроятно, не на свой счетъ, я... одному только Богу извѣстно, чтѣ я ѣмъ. Ну, будь мы какіе-нибудь плебен, необразованные, тогда бы помирилась я съ этимъ житьемъ, а то вѣдь ты дворянинъ, въ университетѣ кончилъ, по-французски говоришь. Я въ институтѣ кончила, избалована.

— Погоди, Катюша, пригласятъ меня въ «Куриную Слѣпоту» отдѣлъ хроники вести, тогда иначе заживемъ. Я номеръ тогда возьму.

— Это ужъ ты мнѣ третій годъ обещаешь. Да чтѣ толку, если и пригласятъ? Сколько бы ты ни получилъ, все равно пропьешь. Не перестанешь же водить компанію со своими писателями и актерами! А знаешь чтѣ, Вася? Написала бы я къ дядѣ Дмитрію Ѳедоровичу въ Тулу. Нашелъ бы онъ тебѣ прекрасное мѣсто гдѣ-нибудь въ банкѣ или казенномъ учрежденіи. Хорошо, Вася! Ходилъ бы ты, какъ люди, на службу, получалъ бы каждое 20-е число жалованье и горя мало! Наняли бы мы себѣ домъ-особнячокъ съ дворомъ, съ сараями, съ сѣнникомъ. Тамъ за двѣсти рублей въ годъ отличный домъ можно нанять. Купили бы мебели, посуды, скатертей, наняли бы кухарку и обѣдали бы каждый день. Пришелъ бы ты со службы въ три часа, взглянулъ на столъ, а на немъ чистенькіе приборы, редиска, закуска разная. Завели бы мы себѣ куръ, утокъ, голубей, купили бы корову. Въ провинціи, если не роскошно жить и не пропивать, все это можно имѣть за тысячу рублей въ годъ. И дѣти бы наши не умирали отъ сырости, какъ теперь,

и мнѣ бы не приходилось таскаться то и дѣло въ больницу. Вася, Богомъ молю тебя, поѣдемъ жить въ провинцію.

— Тамъ съ дикарями отъ скуки подохнешь.

— А здѣсь развѣ весело? Ни общества у насъ ни знакомства... Съ чистенькими, мало-мальски порядочными людьми у тебя только дѣловое знакомство, а семейно ни съ кѣмъ ты не знакомъ. Кто у насъ бываетъ? Ну, кто? Эта Клеопатра Сергѣевна. По-твоему, она знаменитость, фелетоны музыкальные пишетъ, а по-моему—она содержанка, распущенная женщина. Ну, можно ли женщинѣ пить водку и при мужчинахъ корсетъ снимать? Пишетъ статьи, говоритъ постоянно о честности, а какъ взяла въ прошломъ году у меня рубль взаймы, такъ до сихъ поръ не отдаетъ. Потомъ, ходитъ къ тебѣ этотъ твой любимый поэтъ. Ты гордишься, что знакомъ съ такой знаменитостью, а разсуди ты по совѣсти: стоитъ ли онъ этого?

— Честнѣйшій человѣкъ!

— Но веселаго въ немъ очень мало. Приходитъ къ намъ для того только, чтобы напиться... Пьетъ и рассказываетъ неприличные анекдоты. Третьяго-дня, напримеръ, нализался и проспалъ здѣсь на полу цѣлую ночь. А актеры! Когда я была дѣвушкой, то боготворила этихъ знаменитостей, съ тѣхъ поръ же, какъ вышла за тебя, я не могу на театрѣ глядѣть равнодушно. Вѣчно пьяны, грубы, не умѣютъ держать себя въ женскомъ обществѣ, надменны, ходятъ въ грязныхъ ботфортахъ. Ужасно тяжелый народъ! Не понимаю, что веселаго ты находишь въ ихъ анекдотахъ, которые они рассказываютъ съ громкимъ, хриплымъ смѣхомъ! И глядишь ты на нихъ какъ-то заискивающе, словно одолженіе дѣлаютъ тебѣ эти знаменитости, что знакомы съ тобой... фи!

— Оставь, пожалуйста!

— А тамъ, въ провинціи, ходили бы къ намъ чиновники, учителя гимназій, офицеры. Народъ все воспитанный, мягкій, безъ претензій. Напьются чаю, выпьютъ по рюмкѣ, если подашь, и уйдутъ. Ни шуму ни анекдотовъ, все такъ степенно, деликатно. Сидятъ, знаешь, на креслахъ и на диванѣ и разсуждаютъ о разныхъ разностяхъ, а тутъ горничная разноситъ имъ чай съ вареньемъ и съ сухариками. Послѣ чаю играютъ на роялѣ, поютъ, пляшутъ. Хорошо, Вася! Часу въ двѣнадцатомъ легонькая

закуска: колбаса, сыръ, жаркое, что отъ обѣда осталось... Послѣ ужина ты идешь дамъ провожать, а я остаюсь дома и прибираю.

— Скучно, Катюша!

— Если дома скучно, то ступай въ клубъ или на гулянье... Здѣсь на гуляньяхъ души знакомой не встрѣтишь, поневолѣ запынешь, а тамъ, кого ни встрѣтилъ, всякій тебѣ знакомъ. Съ кѣмъ хочешь, съ тѣмъ и бесѣдуй... Учителя, юристы, доктора — есть съ кѣмъ умное слово сказать... Образованными тамъ очень интересуются, Вася! Ты бы тамъ одинъ изъ первыхъ былъ...

И долго мечтаетъ вслухъ Катюша... Сѣро-свинцовый свѣтъ за окномъ постепенно переходитъ въ бѣлый. Тишина почти незамѣтно уступаетъ свое мѣсто утреннему оживленію. Репортеръ не спитъ, слушаетъ и то и дѣло приподнимаетъ свою тяжелую голову, чтобы сплунуть... Вдругъ, неожиданно для Катюши, онъ дѣлаетъ рѣзкое движеніе и вскакиваетъ съ постели... Лицо его блѣдно, на лбу потъ.

— Чертовски меня мутитъ, — перебиваетъ онъ мечтанія Катюши. — Постой, я сейчасъ...

Накинувъ на плечи одѣяло, онъ быстро выбѣгаетъ изъ комнаты. Съ нимъ происходитъ непріятный казусъ, такъ знакомый по своимъ утреннимъ посѣщеніямъ пьющимъ людямъ. Минуты черезъ двѣ онъ возвращается блѣдный, томный... Его пошатываетъ... На лицѣ его выраженіе омерзѣнія, отчаянія, почти ужаса, словно онъ сейчасъ только понялъ всю внѣшнюю неприглядность своего житья-бытья. Дневной свѣтъ освѣщаетъ передъ нимъ бѣдность и грязь его комнаты, и выраженіе безнадежности на его лицѣ становится еще живѣе.

— Катюша, напиши дядѣ! — бормочетъ онъ.

— Да? Ты согласенъ? — торжествуетъ брюнетка. — Завтра же напишу и даю тебѣ честное слово, что ты получишь прекрасное мѣсто! Вася, ты это... не нарочно?

— Катюша, прошу... ради Бога...

И Катюша опять начинаетъ мечтать вслухъ. Подъ звукъ своего голоса и засыпаетъ она. Спитъ ей домъ-особнячокъ, дворъ, по которому солидно шагаютъ ея собственныя куры и утки. Она видитъ, какъ изъ слухового окна глядятъ на нее голуби, и слышитъ, какъ мычитъ корова. Кругомъ все тихо: ни сосѣдей-жилцовъ, ни хриплаго смѣха, не слышно даже этого пена-

вистнаго, спѣшашаго скрипа перьевъ. Вася чинно и благородно шагаетъ около палисадника къ калиткѣ. Это идетъ онъ на службу. И душу ея наполняетъ чувство покоя, когда ничего не желается, мало думается... Къ полудню просыпается она въ прекраснѣйшемъ настроеніи духа. Сонъ благотворно вліяетъ на нее. Но вотъ, протеревъ глаза, она глядитъ на то мѣсто, гдѣ такъ недавно ворочался Вася, и обхватывавшее ее чувство радости сваливается съ нея, какъ тяжелая пуля. Вася ушелъ, чтобы возвратиться поздно ночью въ нетрезвомъ видѣ, какъ возвращался онъ вчера, третьяго-дня... всегда... Опять она будетъ мечтать, опять на лицѣ его мелькнетъ омерзѣніе.

— Не зачѣмъ писать дядѣ! — вздыхаетъ она.

1885.

УТОПЛЕННИКЪ.

(Сценка).

На пабережной большой, судоходной рѣки суматоха, какая обыкновенно бываетъ въ лѣтніе полудни. Нагрузка и разгрузка барокъ въ разгарѣ, слышатся, не переставая, ругань и шипѣнье пароходовъ.

— Тирли... тирли... — стонутъ блоки-лебедки.

Въ воздухѣ стоитъ запахъ вяленой рыбы и дегтя... Къ агенту общества пароходства «Щелкоперъ», сидящему на берегу у самой воды и поджидающему грузоотправителя, подходит приземистая фигура, съ страшно испитымъ, опухшимъ лицомъ, въ рваномъ пиджакѣ и латаныхъ полосатыхъ брюкахъ. На головѣ ея полинявшая фуражка съ полупившимся козырькомъ и съ нятномъ, оставшимся отъ когда-то бывшей кокарды... Галстукъ сползъ съ воротничка и ерзаетъ по шеѣ...

— Вивать господину купцу! — хрипитъ фигура, дѣлая подъ козырекъ. — Живьо! Не желаете ли, ваше высокостепенство, утопленника посмотреть?

— А гдѣ утопленникъ? — спрашиваетъ агентъ.

— Въ дѣйствительности утопленника не существуетъ,

но я могу вамъ его представить. Прижокъ въ воду и — предъ вами гибель утопающаго человѣка! Картина не столь печальная, сколько ироническая въ смыслѣ своихъ комедійныхъ свойствъ... Позвольте, господинъ купецъ, представить!

— Я не купецъ.

— Виновать... Милъ пардонъ... Нынче и купцы стали ходить въ партикулярномъ, такъ что самъ Ной не сумѣлъ бы отдѣлить чистыхъ отъ нечистыхъ. Но тѣмъ лучше, что вы интеллигентъ... Мы поймемъ другъ друга... Я тоже изъ благородныхъ... Оберъ-офицерскій сынъ и въ свое время былъ представленъ къ чину XIV класса... Итакъ, милордъ, артистъ художествъ предлагаетъ вамъ свои услуги... Одинъ прыжокъ въ воду, и передъ вами картина.

— Нѣтъ, благодарю васъ...

— Если васъ тревожатъ соображенія матеріальнаго свойства, то сиѣшу васъ успокоить... Съ васъ я возьму недорого. За утопленіе себя въ сапогахъ — два рубля, безъ сапогъ — только рубль...

— Почему же такая разница?

— Потому что сапоги составляютъ самую дорогую часть одежды, и сушить ихъ весьма трудно. Ergo, вы позволяете заработать?

— Нѣтъ, я не купецъ и не люблю такихъ сильныхъ ощущеній...

— Гм... Вы, насколько я понимаю васъ, вѣроятно, незнакомы съ сущностью дѣла... Вы думаете, что я предлагаю вамъ нѣчто грубое, невѣжественное, но тутъ кромѣ юмористическаго и сатирическаго ничего не будетъ-съ... Вы лишній разъ улыбнетесь и — только... Вѣдь смѣшно видѣть, какъ человѣкъ плаваетъ въ одеждѣ и борется съ волнами! И къ тому же... дадите заработать.

— А вы бы, чѣмъ утопленниковъ изображать, дѣломъ занялись бы.

— Дѣломъ... Какимъ же дѣломъ? Благороднаго занятія мнѣ не дадутъ, благодаря склонности моей къ алкоголизму, да и протекція необходима-съ, а за простое, чернорабочее ремесло мѣшаетъ мнѣ взяться мое благородство.

— А вы паллюйте на ваше благородство.

— То-есть какъ же это паллевать? — спрашиваетъ фигура, гордо поднимая голову и усмѣхаясь. — Если птица

понимаетъ, что она птица, то какъ же благородному человѣку не понимать своего званія? Я хоть и бѣденъ, оборванъ, нищъ, но я горррдъ... Кровью своей гордъ!

— Однако гордость не мѣшаетъ вамъ плавать въ одеждѣ...

— Краснѣю! Ваше замѣчаніе имѣетъ свою долю горькой истины. Сейчасъ видно просвѣщеннаго человѣка! Но прежде, чѣмъ бросать камень въ грѣшника, вы должны выслушать... Точно, между нами есть много субъектовъ, которые, забывъ свое достоинство, позволяютъ невѣжественнымъ купцамъ мазать себѣ голову горчицей, мазаться въ банѣ сажей и изображать дьявола, одѣваться въ бабье платье и выдѣлывать непристойности, но я... я далекъ отъ всего этого! Сколько бы мнѣ купецъ ни давалъ денегъ, я не позволю вымазать свою голову горчицей и другимъ, хотя бы благороднымъ, веществомъ. Въ изображеніи же утопленника я не вижу ничего позорнаго... Вода предметъ мокрый, чистый, отъ окунутія не зачачкаешься, а, напротивъ, еще чище станешь. И медицина не противъ этого... Впрочемъ, если вы не согласны, то я могу взять и дешевле... Извольте, я за рубль въ сапогахъ...

— Нѣтъ, не нужно...

— Почему же съ?

— Не нужно, вотъ и все...

— Поглядѣли бы, какъ я захлебываюсь... Лучше меня по всей рѣкѣ никто не умѣетъ тонуть... Если бъ господя доктора убѣдили, какъ я дѣлаю мертвое лицо, они бы меня возвысили... Извольте, я съ васъ только шесть гривенъ возьму! Починъ дороже денегъ... Съ другого бы я и трехъ рублей не взялъ, но по лицу замѣчаю, что вы хорошій господинъ... Съ ученыхъ я беру дешевле...

— Оставьте меня, пожалуйста!

— Какъ знаете! Вольному воля, спасенному рай, только напрасно вы не соглашаетесь... Въ другой разъ захотите и десять рублей дать, да не найдете утопленника...

Фигура садится на берегу повыше агента и, громко сопя, начинаетъ рыться въ карманахъ...

— Гм... чортъ... — бормочетъ она. — Гдѣ жъ это мой табакъ? Знать, на пристани забылъ... Заспорилъ съ офицеромъ о политикѣ и куда-то сгоряча портсигаръ сунулъ... Нынче въ Англіи перемѣна министерства... Чудятъ люди! Позвольте, ваше высокоблагородіе, папироску!

Агентъ подаетъ фигурѣ папиросу. Въ это время на берегу показывается грузоотправитель-купецъ, котораго поджидаетъ агентъ. Фигура вскакиваетъ, прячетъ папиросу въ рукахъ и дѣлаетъ подъ козырекъ.

— Вивать, ваше степенство! — хрипитъ онъ. — Живьо!

— А-а-а... Это вы! — говоритъ агентъ купцу. — Долгонько заставили ждать себя! А тутъ безъ васъ вотъ этотъ ферть меня замучилъ! Лѣзетъ со своими представленіями! Предлагаетъ за шесть гривенъ утопленника представить...

— Шесть гривенъ? Ну, это, братъ, облопаешься, — говоритъ купецъ. — Красная цѣна четвертакъ. Вчерась намъ тридцать человѣкъ на рѣкѣ кораблекрушеніе представляли и всего-на-всего пятерку взяли, а ты... ишь ты! Шесть гривенъ! Такъ и быть, бери три гривенника!

Фигура надуваетъ щеки и презрительно усмѣхается.

— Три гривенника... Нынче кочанъ капусты эту цѣну стодитъ, а вы хотите утопленника... Жирно будетъ...

— Ну, не надо... Некогда съ тобой тутъ...

— Такъ и быть ужъ, для почину... Только вы не рассказывайте купцамъ, что я такъ дешево взялъ.

Фигура снимаетъ сапоги и, нахмурившись, задравъ вверхъ подбородокъ, подходитъ къ водѣ и дѣлаетъ неловкій прыжокъ... Слышится звукъ паденія тяжелаго тѣла въ воду... Всплывши наверхъ, фигура нелѣпно размахиваетъ руками, болтаетъ ногами и старается изобразить на лицѣ своемъ испугъ... Но вмѣсто испуга получается дрожь отъ холода...

— Тони! Тони! — кричитъ купецъ: — будетъ плавать, тони!..

Фигура мигаетъ глазами и, растопыривъ руки, погружается съ головой. Въ этомъ и заключается все представленіе. «Утопувъ», фигура вылѣзаетъ изъ воды и, получивъ свои три гривенника, мокрая и дрожащая отъ холода, продолжаетъ свой путь по берегу.

СТАРОСТА.

(Сценка).

Въ одномъ изъ грязныхъ трактирчиковъ уѣзднаго городишка Н. сидитъ за столомъ староста Шельма и ѣсть жирную кашу. Онъ ѣсть и послѣ каждыхъ трехъ ложекъ выпиваетъ «последнюю».

— Такъ-то, душа ты моя, тяжело вести крестьянскія дѣла! — говоритъ онъ трактирщику, застегивая подъ столомъ пугови, которыя то и дѣло разстегиваются. — Да, милаша! Крестьянскія дѣла это такая политика, что Бисмарка мало. Чтобы вести ихъ, нужно имѣть особую умственность, сноровку. Почему вотъ меня мужики любить? Почему они ко мнѣ, какъ мухи, льнутъ? А? По какой это причинѣ я ѣмъ кашу съ масломъ, а другіе адвокаты безъ масла? А потому, что въ моей головѣ талантъ есть, даръ.

Шельма выпиваетъ съ софѣнѣемъ рюмку и съ достоинствомъ вытягиваетъ свою грязную шею. Не одна шея грязна у этого человѣка. Руки, сорочка, брюки, салфетка, уши... все грязно.

— Я не ученый. Зачѣмъ врать? Курсовъ я не кончалъ, во фракахъ по-ученому не ходилъ, но, братъ, могу безъ скромности и всякихъ тамъ репрессалій сказать тебѣ, что и за миллионъ не найдешь другого такого юриста. То-есть скопинскаго дѣла я тебѣ не рѣшу и за Сарру Беккеръ не возьмусь, но ежели что по крестьянской части, то никакіе защитники, никакіе тамъ прокуроры... никто супротивъ меня не годится. Ей-Богу! Одинъ только я могу крестьянскія дѣла рѣшать, а больше никто. Будь ты хоть Ломоносовъ, хоть Бетховенъ, но ежели въ тебѣ нѣтъ моего таланта, то лучше и не суйся. Къ примѣру

взять хоть дѣло рѣпловскаго старосты. Слыхалъ ты про это дѣло?

— Нѣтъ, не слыхалъ.

— Хорошее дѣло, политичное! Плевако бы осѣлся, а у меня выгорѣло. Да-съ. Есть, братецъ ты мой, недалеко отъ Москвы колокольный заводъ. На этомъ заводѣ, душа ты моя, служить старшимъ мастеромъ нашъ рѣпловскій мужикъ Евдокимъ Петровъ. Служить онъ тамъ ужъ лѣтъ двадцать. По пачпорту онъ, конечно, мужикъ, лапотникъ, кацапъ, но видъ паружности у него совсѣмъ не мужицкій. За двадцать лѣтъ и обтесался и обшлифовался. Ходить, понимаешь, въ триковомъ костюмѣ, на рукахъ кольца, черезъ все пузо золотая цѣпка перетянута — не подходи! Совсѣмъ не мужикъ. Еще бы, братецъ ты мой! Тыщи полторы жалованья, квартира, харчи, хозяинъ съ нимъ за панибрата, такъ поневолѣ въ баре полѣзешь. И фізіомордія, знаешь, этакая тово... (говорящій выпиваетъ) внушительная. Только вотъ, братецъ ты мой, вздумалось этому Евдокиму Петрову съѣздить въ гости къ себѣ на родину, то-есть въ наше Рѣплово. Жилъ-жилъ да вдругъ соскучился. Житье на колокольномъ заводѣ медовое, не съ чего, кажись бы, старшему мастеру скучать, но, знаешь, дымъ отечества. Поѣзжай ты въ Америку, сядь тамъ по горло въ сторублевки, а тебя все въ твой трактиръ тянуть будетъ. Такъ вотъ и его сердечнаго потянуло. Ну-съ. Отпросился у своего хозяина на педѣлку и поѣхалъ. Приѣзжаетъ въ Рѣплово. Первымъ дѣломъ идетъ къ родственникамъ. «Тутъ, говоритъ, я когда-то жилъ. Тутъ вотъ насъ стада отца моего, тутъ вотъ я спалъ и проч.»... воспоминанія дѣтства, однимъ словомъ. Ну, не безъ того, чтобъ и похвастать: «Вотъ, братцы, глядите! Такимъ лапотникомъ былъ, какъ и вы, а трудомъ и пѣтомъ достигъ степеней, богатъ и сытъ. Трудитесь, молъ, и вы»... Косолапые сначала слушали и величали, а потомъ и думаютъ: «Такъ-то такъ, милый человѣкъ, все это очень даже великолѣпно, только какой намъ съ тебя толкъ? Недѣля ужъ, какъ у насъ живешь, а хоть бы косушку»... Послали къ нему сотскаго...

— Давай, Евдокимъ, сто рублей денегъ!

— Почему такое?

— Міру на водку... Міръ за твое здоровье погулять хочетъ...

А Евдокимъ челоѣкъ степенный, божественный. Ни водки не пьетъ ни табаку не курить и другимъ этого не дозволяетъ.

— На водку, говоритъ, и полушки не дамъ.

— Какъ такъ? По какому полному праву? Нешто ты не нашъ?

— Чтò жъ такое, что вашъ? Недоимки за мной не значится... все какъ слѣдуетъ. Съ какой же стати мнѣ платить?

И пошло и пошло. Евдокимъ свое, міръ ему свое. Озлобился міръ. Знаешь дураковъ-то! Имъ не втолкуешь. Захотѣли погулять, такъ ты тутъ хоть на двенадцати языкахъ объясняй имъ, хоть изъ пушекъ пали, ничего не поймутъ. Выпить хочется, и шабашъ! Да и досадно: богатый землякъ—и вдругъ ни шерсти ни молока! Стали придирки выдумывать, какъ изъ Евдокима сто рублей выцыганить. Думали всѣмъ міромъ, думали и ничего не выдумали. Ходятъ около избы и только пугаютъ: мы тебя, да я тебя! А онъ сидитъ и въ усь не дуетъ. «Чистъ я, думаетъ, и передъ Богомъ, и передъ закономъ, и передъ міромъ, чего жъ мнѣ бояться? Вольная я птица!» Хорошо. Видятъ мужики, что денегъ имъ не видать, какъ ушей своихъ, стали думать, какъ бы этой вольной птицѣ за неуваженіе крылья ошипать. Своего ума нѣтъ, посылаютъ за мной. Приѣзжаю въ Рѣплово. «Такъ и такъ, говорятъ, Денисъ Семенычъ, денегъ не даетъ! Выдумай-ка закорючку!» Чтò жъ, братецъ ты мой? Ничего выдумать нельзя, все какъ на ладони, всѣ Евдокимовы права налицо. Никакой прокуроръ тутъ закорючки не выдумаетъ, хоть три года онъ думай... самъ чортъ не прицѣпится.

Шельма выпиваетъ рюмку и подмигиваетъ глазомъ.

— А я нашелъ, къ чему прицѣпиться! — хихикаетъ онъ. — Да-съ! Угадай-ка, чтò я придумалъ! Во вѣки вѣковъ не угадаешь! «Вотъ чтò, говорю, ребята, выбирайте вы его въ свои сельскіе старосты». Тѣ смекнули и выбрали. Слушай же. Приносятъ Евдокиму старостову бляху. Тотъ смѣется. «Шутите, говоритъ, не желаю я быть вашимъ старостой».

— А мы желаемъ!

— А я не желаю! Завтра же уѣду!

— Нѣтъ, не уѣдешь. Права не имѣешь. Староста не можетъ, по закону, свое мѣсто бросать.

— Такъ я, — говоритъ Евдокимъ: — слагаю съ себя это званіе.

— Не имѣешь права. Староста обязанъ пробыть на мѣстѣ не менѣе трехъ лѣтъ и только по суду лишается сего званія. Ужъ разъ тебя выбрали, такъ ни ты ни мы... никто не можетъ тебя отставить!

Взвылъ мой Евдокимъ. Летитъ, какъ угорѣлый, къ волостному старшинѣ. Тотъ съ писаремъ ему всѣ законы.

— По такимъ-то и такимъ-то статьямъ раньше трехъ лѣтъ не можешь оставить этого званія. Послужи три года, тогда и ѣзжай.

— Какое тутъ три года? И мѣсяца мнѣ ждать нельзя! Безъ меня хозяинъ какъ безъ рукъ! Онъ тысячные убытки терпитъ! Да и, кромѣ завода, у меня тамъ домъ, семейство!

И прочее. Проходитъ мѣсяцъ, Евдокимъ суетъ міру ужъ не сто, а триста рублей, только отпустите Христа ради. Тѣ рады бы деньги взять, да ужъ подѣлать нечего, поздно. Ёдетъ Евдокимъ къ господину непремѣнному члену.

— Такъ и такъ, ваше высокоблагородіе, по домашнимъ обстоятельствамъ не могу служить. Отпустите, Богомъ молю!

— Не имѣю права. Нѣтъ законныхъ причинъ для увольненія. Ты, во-первыхъ, не боленъ, и, во-вторыхъ, нѣтъ опорочивающихъ обстоятельствъ. Ты долженъ служить.

А надо тебѣ сказать, тамъ на всѣхъ тыкаютъ. Волостной старшина или сельскій староста не малая шишка въ государствѣ, почище и поважнѣе любого канцелярскаго, а межъ тѣмъ на него тыкаютъ, словно на лакея. Каково-то Евдокиму въ триковомъ костюмѣ это тыканье слышать! Молитъ онъ непремѣннаго члена Христомъ Богомъ.

— Не имѣю права, — говоритъ членъ. — Ежели не вѣришь, то спроси вотъ уѣздное присутствіе. Всѣ тебѣ скажутъ. Не только я, но даже и губернаторъ не можетъ тебя уволить. Приговоръ мірскаго схода, ежели форма не нарушена, не подлежитъ кассацин.

Ёдетъ Евдокимъ къ предводителю, отъ предводителя къ исправнику. Весь уѣздъ объѣздитъ, и всѣ ему одно и то же: служи, не имѣемъ права. Чтò тутъ дѣлать? А изъ завода письмо за письмомъ, депеша за депешей. Посовѣтовала родня Евдокиму послать за мной. Такъ

онъ — вѣришь ли? — не то что послалъ, а самъ приска-
калъ. Приѣхалъ и, ни слова не говоря, суетъ мнѣ въ
руки красненькую. Одна, молъ, надежда.

— Что жъ? — говорю. — Извольте, за сто рублей
устрою вамъ увольненіе.

Взялъ сто рублей и устроилъ.

— Какъ? — спрашиваетъ трактирщикъ.

— Угадай-ка. Ларчикъ просто открывается. Въ самомъ
законѣ загадка разгадывается.

Шельма подходитъ къ трактирщику и, хохоча, шепчетъ
ему на ухо:

— Посоветовалъ ему украсть что-нибудь, подъ судъ
попасть. А? Какова закорючка? Сначала, братецъ ты
мой, онъ опѣшилъ. Какъ такъ украсть? Да такъ, говорю,
украдь у меня вотъ пустой портмонежъ, вотъ тебѣ
и тюрьма на полтора мѣсяца. Сначала онъ форды-
бачился: доброе имя и прочее. На чертей тебѣ, го-
ворю, твое доброе имя? Нешто у тебя, говорю, фор-
муляръ, что ли? Отсидишь въ тюрьмѣ полтора мѣсяца,
тѣмъ дѣло и кончится, да зато опорочивающія обстоя-
тельства у тебя будутъ, бляху снимутъ! Подумалъ чело-
вѣчина, махнулъ рукой и укралъ у меня портмонежъ.
Теперь онъ ужъ отсидѣлъ свой срокъ и за меня Бога
молить. Такъ вотъ, братецъ ты мой, какая умствен-
ность! Во всемъ вселенномъ шарѣ такой политики не
найдешь, какъ въ крестьянскихъ дѣлахъ, и ежели кто
можетъ рѣшать эти дѣла, такъ только я. Никто не мо-
жетъ кассировать, а я могу. Да.

Шельма требуетъ себѣ еще бутылку водки и начи-
наетъ другой рассказъ — о пропитіи рѣпловскими мужи-
ками чужого хлѣба на корню.

ПОСЛѢ БЕНЕФИСА.

(Сценка).

Трагикъ Упыловъ и благородный отецъ Тигровъ сидѣли въ 37 номерѣ гостиницы «Вѣнеція» и пожинали плоды бенефиса. Передъ ними на столѣ стояли водка, плохое красное, полбутылка коньяку и сардины. Тигровъ, толстенькій, угреватый человѣчекъ, созерцательно глядѣлъ на графинъ и угрюмо безмолвствовалъ. Уныловъ же пламенѣлъ. Держа въ одной рукѣ пачку ассигнацій, въ другой карандашъ, онъ ерзалъ на стулѣ, какъ на иголкахъ, и изливалъ свою душу.

— Что меня утѣшаетъ и бодритъ, Максимъ,—говорилъ онъ:—такъ это то, что меня молодежь любить. Гимназистики, реалистики—мелюзга, отъ земли не видно, но ты не шути, братъ! Сидятъ бестіи на галеркѣ, у чорта на куличкахъ, за тридцать копеекъ, но только ихъ и слышно, клоповъ этакихъ. Первые критики и цѣнители! Иной съ воробья ростомъ, подъ столъ пѣшкомъ ходитъ, а на мордочку взглянешъ, совсѣмъ Добролюбовъ. Какъ они вчера кричали! Уны-ло-ва! Унылова!! Вообще, братецъ, не ожидалъ. Шестнадцать разъ вызвали! И «амъ-поше» не дурно: 123 руб. 30 копеекъ! Выпьемъ!

— Ты же, Васечка, тово...—забормоталъ Тигровъ, конфузливо мигая глазами:—презентуй мнѣ сегодня двадцать талеровъ. Въ Елецъ надо съѣздить. Тамъ дядька померъ. Послѣ него, можетъ-быть, осталось что-нибудь. Коли не дашь, придется пѣшедраломъ махать. Дашь?

— Гм... Но вѣдь ты не отдашь, Максимъ!

— Не отдамъ, Васечка...—вздыхнулъ благородный отецъ. — Гдѣ жъ мнѣ взять? Ужъ ты такъ... по дружбѣ.

— Постой, можетъ-быть, мяѣ не хватитъ. Покупки нужно будетъ сдѣлать да заказать кое-что. Давай считать.

Уныловъ потянулъ къ себѣ бумагу, въ которой былъ завернутъ коньякъ, и сталъ писать на ней карандашомъ.

— Тебѣ 20, сестрѣ послать 25... Бѣдная женщина ужъ три года проситъ прислать что-нибудь. Обязательно пошлю! Это такая милая... хорошая. Пару себѣ новую сшить рублей въ 30. За номеръ и за обѣдъ я еще подожду отдавать, успѣю. Табаку фунта три... штиблеты. Что еще? Выкупить фракъ... часы. Куплю тебѣ новую шапку, а то въ этой ты на чорта похожъ. Совѣстно съ тобой по улицѣ ходить. Постой, еще что?

— Купи, Васечка, револьверъ для «Блуждающихъ огней». Нашъ не стрѣляетъ.

— Да, правда. Антрепренеръ подлець ни за что не купить. Бутафоріи знать не хочетъ, антихристъ этакій. Ну, стало-быть, шесть-семь рублей на револьверъ. Что еще?

— Въ баню сходи, съ мыломъ помойся.

— Баня, мыло и прочее рубль.

— Тутъ, Васечка, татаринъ ходитъ, отличное чучело лисицы продаетъ. Вотъ купилъ бы!

— Да на что мнѣ лисица?

— Такъ. На столъ поставить. Проснешься утромъ, взглянешь, а у тебя на столѣ звѣрь стоитъ и... и такъ на душѣ весело станетъ!

— Роскошь! Лучше я себѣ портсигаръ новый куплю. Вообще, знаешь, слѣдовало бы мнѣ свой гардеробъ ремонтировать. Надо бы сорочекъ со стоячими воротниками купить. Стоячіе воротники теперь въ модѣ. Ахъ, да! Чуть-было не забылъ! Пикейную жилетку!

— Необходимо. Въ крыловскихъ пьесахъ нельзя безъ пикейной жилетки. Штиблеты съ пуговками... тросточка. Прачкѣ будешь платить?

— Нѣтъ, погожу. Перчатки нужно бѣлыя, черныя и цвѣтныя. Что еще? Сода и кислоты. Касторки раза на три... Бумаги, конвертовъ. Что еще?

Уныловъ и Тигровъ подняли на потолокъ глаза, наморщили лбы и стали думать.

— Персидскаго порошку! — вспомнилъ Уныловъ. — Житья нѣтъ отъ краснокожихъ. Что еще? Ватюшки, пальто! Про самое главное-то мы и забыли, Максимъ!

Какъ зимой безъ пальто? Пишу 40. Но... у меня не хватитъ! Наплевалъ бы ты на своего дядьку, Максимъ!

— Не могу. Единственный родственникъ и вдругъ наплевать! Навѣрное послѣ него осталось что-нибудь.

— Чтѣ? Пѣйковая трубка, тетушкинъ портретъ? Ей-Богу, наплюй!

— Не понимаю, что у тебя за эго... эгои... эгонистизмъ такой, Ванечка? — замигалъ глазами Тигровъ. — Будь у меня деньги, да нешто бы я пожалѣлъ? Сто... триста... тысячу... бери, сколько хочешь! У меня послѣ родителей десять тысячъ осталось. Все актерамъ роздалъ!..

— Ладно, ладно, бери свои двадцать!

— Мерси. Карманы всѣ порваны, некуда положить. Но однако шестой часъ уже, пора мнѣ на вокзалъ.

Тигровъ тяжело поднялся и сталъ натягивать на свое шаровидное тѣло махонькое, узкоплечее пальто.

— Ты же, Васечка, не говори нашимъ, что я уѣхалъ, — сказалъ онъ. — Нашъ подлецъ бунтъ подниметъ, ежели узнаетъ, что я уѣхалъ, не сказавшись. Пусть думаютъ, что я въ запоѣ. Проводилъ бы ты меня, Васечка, на вокзалъ, а то, неровенъ часъ, найду по дорогѣ въ трактиръ и всѣ твои талеры ухну. Знаешь мою слабость! Проводи, голубчикъ!

— Ладно.

Актеры одѣлись и вышли на улицу.

— Чтѣ бы такое купить? — бормоталъ Уныловъ, заглядывая по дорогѣ въ окна магазиновъ и лавокъ. — Погляди, Максимъ, какой чудный окорокъ! Будь полный сборъ, накажи меня Богъ, купилъ бы. А знаешь, почему не было полного сбора? Потому что у купца Чудакова была свадьба. Всѣ плутократы тамъ были. Вздумали же черти не во-время жениться! Погляди-ка, какой въ окнѣ цилиндръ! Купить нешто? Впрочемъ, шутъ съ нимъ.

Придя на вокзалъ, пріятели усѣлись въ залъ перваго класса и задымили сигарами.

— Чортъ возьми, — поморщился Уныловъ: — мнѣ что-то пить захотѣлось. Давай, пива выпьемъ. Челаэкъ, пива! Еще перваго звонка не было, такъ что тебѣ нечего спѣшить. Ты же, карапузъ, не долго ѣзди. Сдери съ мертваго дяденьки малую толику и назадъ. Вотъ чтѣ ээ... чеаэкъ! Не нужно пива! Дай бутылку нюю! Вы-

пьемъ съ тобой на прощанье красенькаго... и ѣзжай себѣ.

Черезъ полчаса актеры оканчивали ужъ вторую бутылку. Подперевъ свою горячую голову кулаками, Уныловъ глядѣлъ любвеобильными глазами на жирное лицо Тигрова и бормоталъ коснѣющимъ языкомъ.

— Главное зло въ нашемъ мірѣ — это антрр...репрренеръ. Только тогда артистъ будетъ крѣпко стоять на ногахъ, когда онъ въ своемъ дѣлѣ будетъ дер...держаться коллективныхъ началъ.

— На паяхъ.

— Да, на паяхъ. Парршивое вино. Вотъ что, выпьемъ рейнвейнцу!

— Васечка... второй звонокъ.

— Начхай. Съ ночнымъ поѣздемъ уѣдешь, а теперь я тебѣ... выскажу. Челаэкъ, бутылку рейнскаго! Антр-репрр...енеръ видитъ въ артистѣ вещь... мя-со для пушекъ. Онъ кулакъ. Ему не понять артиста. Взять хоть тебя. Ты человѣкъ безъ таланта, но... ты полезный актеръ. Тебя нужно цѣнить. Пстой, не лѣзь цѣловаться, неловко!.. Я тебя за что люблю? За твою душу... истинно артистическое сердце. Максимъ, я тебѣ завтра пару заказываю! Все для тебя. И лисицу даже. Дай пожать руку!

Прошелъ часъ. Артисты все еще сидѣли и бесѣдовали.

— Дай только Богъ встать мнѣ на ноги, — говорилъ Уныловъ: — и ты увидишь... Я покажу тогда, что значить сцена! Ты у меня двѣсти въ мѣсяцъ получать будешь... Мнѣ бы только на первый разъ тысячу рублей... лѣтній театръ снять... Вотъ что, не съѣсть ли намъ что-нибудь? Ты хочешь ѣсть? Ты откровенно... Хочешь? Чеаэкъ, пару жареныхъ дупелей!

— Теперь не бываетъ-съ дупелей, — сказалъ человѣкъ.

— Чорртъ возьми, у васъ никогда ничего не бываетъ! Въ такомъ случаѣ, болванъ, подай... какая у васъ тамъ есть дичь? Всю подай! Привыкли, подлецы, купцовъ кормить всякой дрянью, такъ думаютъ, что и артистъ станетъ ѣсть ихъ дрянью! Неси все сюда! Подай также ликеры! Максимъ, сигаръ хочешь? Подашь и сигаръ.

Немного погодя къ пріятелямъ присталъ комикъ Дудкинъ.

— Нашли, гдѣ пить! — удивился Дудкинъ. — Ъдемъ въ «Бель-вю». Тамъ теперь всѣ наши...

— Счетъ! — крикнулъ Уныловъ.

— Тридцать шесть рублей двадцать копеекъ.

— Получай... безъ сдачи! Ёдемъ, Максимъ! Наплюй на дядьку! Пусть бѣдный Йорикъ остается безъ послѣдниковъ! Давай сюда двадцать рублей! Завтра поѣдешь!

Въ «Бель-вю» пріятели потребовали устрицъ и рейнскаго.

— И сапоги тебѣ завтра куплю, — говорилъ Уныловъ, наливая Тигрову. — Ней! Кто любитъ искусство, тотъ... За искусство!

Пошли въ ходъ искусство, коллективныя начала, наи, единодушіе, солидарность и прочіе актерскіе идеалы... Поѣздка же въ Елецъ, покупка чаю, табаку и одежды, выкупъ заложеннаго и уплата сами собой улеглись въ далекій... очень далекій ящикъ. Счетъ «Бель-вю» съѣлъ всю бенефисную выручку.

1885.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

(Последніе выводы зубоврачебной науки).

— Не повезло мнѣ по зубной части, Осипъ Францычъ! — вздыхалъ маленькій, поджарый человѣчекъ, въ потускнѣвшемъ пальто, латанныхъ сапогахъ и съ сѣрыми, словно ошипанными усами, глядя съ подобострастіемъ на своего коллегу, жирнаго, толстаго нѣмца въ новомъ дорогомъ пальто и съ гаванкой въ зубахъ. Совсѣмъ не повезло! Собака его знаетъ, отчего это такъ! Или оттого, что нынче зубныхъ врачей больше, чѣмъ зубовъ... или у меня таланта настоящаго нѣтъ, чума его знаетъ! Трудно фортуны понять. Взять къ примѣру хоть васъ. Вмѣстѣ мы въ уѣздномъ училищѣ курсъ кончили, вмѣстѣ у жида Берки Швахера работали, а какая разница! Вы два дома и дачу имѣете, въ коляскѣ катаетесь, а я, какъ видите, яко нагъ, яко бланъ, яко нѣтъ ничего. Ну, отчего это такъ?

Нѣмецъ Осипъ Францычъ кончилъ курсъ въ уѣздномъ училищѣ и глупъ, какъ тетеревъ, но сытость, жиръ и

собственные дома придаютъ ему массу самоувѣренности. Говорить авторитетно, философствовать и читать сентенціи онъ считаетъ своимъ неотъемлемымъ правомъ.

— Вся бѣда въ насъ самихъ, — вздохнулъ онъ авторитетно въ отвѣтъ на жалобы коллеги. — Самъ ты виновать, Петръ Ильичъ! Ты не сердись, но я говорилъ и буду говорить: насъ, специалистовъ, губить недостатокъ общаго образованія. Мы залѣзли по уши въ свою спеціальность, а что дальше этого, до того намъ и дѣла нѣтъ. Нехорошо, братъ! Ахъ, какъ плохо! Ты думаешь, что, какъ научился зубы дергать, такъ ужъ и можешь приносить обществу пользу? Ну, нѣтъ, братъ, съ такими узкими, односторонними взглядами далеко не пойдешь... ни-ни, ни въ какомъ случаѣ. Общее образованіе надо имѣть.

— А что такое общее образованіе? — робко спросилъ Петръ Ильичъ.

Нѣмецъ не нашелся, что отвѣтить, и понесъ чепуху, но потомъ, выпивши вина, разошелся и далъ своему русскому коллегѣ уразумѣть, что онъ понимаетъ подъ «общимъ образованіемъ». Пояснилъ онъ не прямо, а косвенно, говоря о другомъ.

— Главнѣе всего для нашего брата — приличная обстановка, — рассказывалъ онъ. — Публика только по обстановкѣ и судить. Ежели у тебя грязный подъѣздъ, тѣсныя комнаты да жалкая мебель, то, значитъ, ты бѣденъ, а ежели бѣденъ, то, значитъ, у тебя никто не лѣчится. Не такъ ли? Зачѣмъ я къ тебѣ пойду лѣчиться, если у тебя никто не лѣчится? Лучше я пойду къ тому, у кого большая практика! А заведи ты себѣ бархатную мебель, да понатыкай вездѣ электрическихъ звонковъ, такъ тогда ты и опытный, и практика у тебя большая. Обзавестись же шикарною квартирою и приличною мебелью — разъ плюнуть. Нынче мебельщики подтянулись, духомъ пали. Въ кредитъ сколько хочешь, хоть на сто тысячъ, особливо, ежели подпишешься подъ счетомъ: «докторъ такой-то». И одѣваться нужно прилично. Публика такъ рассуждаетъ: если ты оборванъ и въ грязи живешь, то съ тебя и рубля довольно, а если ты въ золотыхъ очкахъ, съ жирной пѣпочкой, да кругомъ тебя бархатъ, то ужъ совѣстно давать тебѣ рубль, а падо пять или десять. Не такъ ли?

— Это вѣрно... — согласился Петръ Ильичъ. — Признаться сказать, я сначала завелъ себѣ обстановку. У

меня все было: и бархатныя скатерти, и журналы въ пріемной и Бетховенъ висѣлъ около зеркала, но... чортъ его знаетъ! Затменіе дурацкое нашло. Хожу по своей роскошной квартирѣ, и совѣстно мнѣ отчего-то! Словно я не въ свою квартиру попалъ, или укралъ все это... не могу! Не умѣю сидѣть на бархатномъ креслѣ, да и шабашъ! А тутъ еще моя жена... простая баба, никакъ не хочетъ понять, какъ соблюдать обстановку. То щами или гусемъ навоняетъ на весь домъ, то канделябры начнетъ кирпичомъ чистить, то полы начнетъ мыть въ пріемной при больныхъ... чортъ знаетъ что! Вѣрите ли, какъ продали всю эту обстановку съ аукціона, такъ я словно ожилъ.

— Значить, не привыкъ къ приличной жизни... Что жъ? Надо привыкать! Потомъ, кромѣ обстановки, нужна еще вывѣска. Чѣмъ меньше человѣкъ, тѣмъ вывѣска его должна быть больше. Не такъ ли? Вывѣска должна быть громадная, чтобы даже за городомъ ее видно было. Когда ты подѣзжаешь къ Петербургу или къ Москвѣ, то, прежде чѣмъ увидишь колокольни, тебѣ станутъ видны вывѣски зубныхъ врачей. А тамъ, братъ, врачи не намъ съ тобой чета. На вывѣскѣ должны быть нарисованы золотые и серебряные круги, чтобы публика думала, что у тебя медали есть: уваженія больше! Кромѣ этого, нужна реклама. Продай послѣднія брюки, а напечатай объявленіе. Печатай каждый день во всѣхъ газетахъ. Ежели кажется тебѣ, что простыхъ объявленій мало, то валяй съ фокусами: вели напечатать объявленіе вверхъ ногами, закажи клише «съ зубами» и «безъ зубовъ», проси публику не смѣшивать тебя съ другими дантистами, публикуй, что ты возвратился изъ-за границы, что бѣдныхъ и учащихся лѣчишь бесплатно... Нужно также повѣсить объявленія на вокзалѣ, въ буфетахъ... Много способовъ.

— Это вѣрно! — вздохнулъ Петръ Ильичъ.

— Многіе также говорятъ, что, какъ ни обращайся съ публикой, все равно... Нѣтъ, не все равно! Съ публикой надо умѣть обращаться... Публика нынче хоть и образованная, но дикая, бессмысленная. Сама она не знаетъ, чего хочетъ, и приноровиться къ ней очень трудно. Вудъ ты хоть распрепрофессоръ, но ежели ты не умѣешь подладиться подъ ея характеръ, то она скорѣй къ коновалу пойдетъ, чѣмъ къ тебѣ... Приходить ко мнѣ, положимъ, барыня съ зубомъ. Развѣ ее можно безъ фокусовъ

принять? Ни-ни! Я сейчас нахмуриваюсь по-ученому и молча показываю на кресло: ученымъ, молъ, людямъ некогда разговаривать. А кресло у меня тоже съ фокусами: на винтахъ! Вертишь винты, а барыня то поднимается, то опускается. Потомъ начнешь въ больномъ зубѣ копать. Въ зубѣ чепуха, вырвать надо, и больше ничего, но ты копайся долго, съ разстановкой... разъ десять зеркало всунь въ ротъ, потому что барыни любятъ, если ихъ болѣзнями долго занимаются. Барыня визжитъ, а ты ей: «Сударыня! мой долгъ облегчить ваши ужасныя страданія, а потому прошу относиться ко мнѣ съ довѣріемъ», и этакъ, знаешь, величественно, трагически... А на столѣ передъ барыней челюсти, черепа, кости разныя, всевозможные инструменты, банки съ адамовыми головами — все страшное, таинственное. Самъ я въ черномъ балахонѣ, словно инквизиторъ какой. Тутъ же около кресла стоитъ машина для веселящаго газа. Машину-то я никогда не употребляю, но все-таки страшно! Зубъ рву я огромнѣйшимъ ключомъ. Вообще, чѣмъ крупнѣе и страшнѣе инструментъ, тѣмъ лучше. Рву я быстро, безъ запинки.

— И я рву недурно, Осипъ Францычъ, но чортъ меня знаетъ! Только-что, знаете, сдѣлаю тракцію и начну зубъ тянуть, какъ откуда ни возмись мысль: а что если я не вырву, или сломаю? Отъ мысли рука дрожить. И это постоянно!

— Зубъ сломается, не твоя вина.

— Такъ-то такъ, а все-таки. Бѣда, ежели апломба нѣтъ! Хуже нѣтъ, ежели ты себѣ не вѣришь, или сомнѣваешься. Былъ такой случай. Наложилъ я щипцы, тащу... тащу и вдругъ, знаете, чувствую, что очень долго тащу. Пора бы ужъ вытащить, а я все тащу. Окаменѣлъ я отъ ужаса! Надо бы бросить да снова начать, а я тащу, тащу... ошалѣлъ! Больной видитъ по моему лицу — тово, что я швахъ, сомнѣваюсь, вскочилъ, да отъ боли и злости какъ хватить меня табуретомъ! А то однажды ошалѣлъ тоже и вмѣсто больного здоровый зубъ вырвалъ.

— Пустяки, со всякимъ случается. Рви здоровые зубы, до больного доберешься. А ты правъ, безъ апломба нельзя. Ученый человѣкъ долженъ держать себя по-ученому. Публика вѣдь не понимаетъ, что мы съ тобой въ университетѣ не были. Для нея всѣ доктора. И Воткинъ докторъ, и я докторъ, и ты докторъ. А потому и держи себя,

какъ докторъ. Чтобъ поученій казаться и пыль пустить, издай брошюрку «О содержаніи зубовъ». Самъ не сумѣешь сочинить, закажи студенту. Онъ рублей за десять тебѣ и предисловіе накачаетъ и изъ французскихъ авторовъ цитаты повыдергаетъ. Я ужъ три брошюры выпустилъ. Еще что? Зубной порошокъ изобрѣти. Закажи себѣ коробочки со штемпелемъ, насыпь въ нихъ чего знаешь, навяжи пломбу и ваяй: «цѣна 2 рубля, остерегаться поддѣлокъ». Выдумай и эликсиръ. Наболтай чего-нибудь, чтобъ пахло да щипало, вотъ тебѣ и эликсиръ. Цѣны круглыхъ не назначай, а такъ: эликсиръ № 1 стоитъ 77 к., № 2 — 82 к. и т. д. Это потаинственнѣе. Зубныя щетки продавай со своимъ штемпелемъ по рублю за штуку. Видалъ мои щетки?

Петръ Ильичъ нервно почесалъ затылокъ и въ волненіи зашагалъ около нѣмца...

— Вотъ поди же ты! — зажестикублировалъ онъ. — Вотъ оно какъ! Но не умѣю я, не могу! Не то, чтобы я шарлатанствомъ или жульничествомъ считалъ, а не могу, руки коротки! Сто разъ пробовалъ, и ни черта не вышло. Вы вотъ сыты, одѣты, дома имѣете, а меня — табуретомъ! Да, дѣйствительно, плохо безъ общаго образованія! Это вы вѣрно, Осипъ Францычъ! Очень плохо!

1885.

ПСИХОПАТЫ.

(Сценка).

Титулярный совѣтникъ Семень Алексѣевичъ Нянинъ, служившій когда-то въ одномъ изъ провинціальныхъ коммерческихъ судовъ, и сынъ его Гриша, отставной поручикъ — личность безпѣтная, живущая на хлѣбахъ у папашы и мамы, сидятъ въ одной изъ своихъ маленькихъ комнатокъ и обѣдаютъ. Гриша, по обыкновенію, пьетъ рюмку за рюмкой и безъ умолку говоритъ; папаша, блѣдный, вѣчно встревоженный и удивленный, робко заглядываетъ въ его лицо и замираетъ отъ какого-то неопредѣленнаго чувства, похожего на страхъ.

— Болгарія и Румелія — это одні только цвѣтки, — го-

ворить Гриша, съ ожесточеніемъ ковыряя вилкой у себя въ зубахъ.—Это что, пустяки, чепуха! А вотъ ты прочти, что въ Греціи да въ Сербіи дѣлается, да какъ въ Англіи разговоръ идетъ! Греція и Сербія поднимутся, Турція тоже... Англія вступится за Турцію.

— И Франція не утерпитъ... — какъ бы нерѣшительно замѣчаетъ Нянинъ.

— Господи, опять о политикѣ начали! — кашляетъ въ сосѣдней комнатѣ жилецъ Ѳеодоръ Ѳеодорычъ. — Хотя бы больного пожалѣли!

— Да, и Франція не утерпитъ. — соглашается съ отцомъ Гриша, словно не замѣчая кашля Ѳеодора Ѳеодорыча.—Она, братъ, еще не забыла пять милліардовъ! Она, братъ... эти, братъ, французы себѣ на умѣ! Того только и ждутъ, чтобъ Бисмарку фернапиксу задать да въ табакерку его чемерицы насыпать! А ежели французъ поднимется, то нѣмецъ не станетъ ждать — комменьъ зи геръ, Иванъ Андреичъ, шпрехенъ зи дейчъ!.. Хо-хо-хо! За нѣмцами Австрія, потомъ Венгрія, а тамъ, гляди, и Испанія насчетъ Каролинскихъ острововъ... Китай съ Тонкиномъ, афганцы... и пошло, и пошло, и пошло! Такое, братъ, будетъ, что и не снилось тебѣ! Вотъ помни мое слово! Только руками разведешь...

Старикъ Нянинъ, отъ природы мнительный, трусливый и забитый, перестаетъ ѣсть и еще больше блѣднѣетъ. Гриша тоже перестаетъ ѣсть. Отецъ и сынъ—оба трусы, малодушны и мистичны; душу обоихъ наполняетъ какой-то неопредѣленный, безпредметный страхъ, безпорядочно витающій въ пространствѣ и во времени: что-то будетъ!! Но что именно будетъ, гдѣ и когда, не знаютъ ни отецъ ни сынъ. Старикъ обыкновенно предается страху, безмолвствуя. Гриша же не можетъ безъ того, чтобъ не раздражать себя и отца длинными словоизверженіями; онъ не успокоится, пока не напугаетъ себя въ конецъ.

— Вотъ ты увидишь! — продолжаетъ онъ. — Ахнуть не успѣешь, какъ въ Европѣ пойдетъ все шиворотъ навыворотъ. Достанется на орѣхи! Тебѣ-то, положимъ, все равно, тебѣ хотъ трава не расти, а мнѣ—пожалуйте-съ на войну! Мнѣ, впрочемъ, плевать... съ нашимъ удовольствіемъ.

Попугавъ себя и отца политикой, Гриша начинаетъ толковать про холеру.

— Тамъ, братъ, не станутъ разбирать, живой ты или

мертвый, а сейчас тебя на телѣгу и айда за городъ! Лежи тамъ съ мертвецами! Некогда будетъ разбирать, боленъ ты или уже померъ!

— Господи!—кашляетъ за перегородкой Федоръ Федорычъ. — Мало того, что табакомъ наладили да сивухой навоняли, такъ вотъ хотятъ еще разговорами добить!

— Чѣмъ же, позвольте васъ спросить, не нравятся вамъ наши разговоры?—спрашиваетъ Гриша, возвышая голосъ.

— Не люблю невѣжества... Ужъ очень тошно.

— Точно, такъ и не слушайте... Такъ-то, братъ-папаша, быть дѣламъ! Разведешь руками, да поздно будетъ. А тутъ еще въ банкахъ воруютъ, въ земствахъ... Тамъ, слышишь, миллионъ украли, тамъ сто тысячъ, въ третьемъ мѣстѣ тысячу... каждый день! Того дня нѣтъ, чтобъ кассиръ не бѣгалъ.

— Ну, такъ что жъ?

— Какъ что жъ? Проснешься въ одно прекрасное утро, выглянешь въ окно, ахъ ничего нѣтъ, все украдено! Взглянешь, а по улицѣ бѣгутъ кассиры, кассиры, кассиры... Хватишься одѣваться, а у тебя штановъ нѣтъ—украли! Вотъ тебѣ и что жъ!

Въ концѣ концовъ Гриша принимается за процессъ Мироновича.

— И не думай, не мечтай!—говоритъ онъ отцу.—Этотъ процессъ во вѣки вѣковъ не кончится. Приговоръ, братъ, рѣшительно ничего не значитъ. Какой бы ни былъ приговоръ, а темна вода во облацѣхъ! Положимъ, Семенова виновата... Хорошо, пусть, но куда же дѣвать тѣ улики, что противъ Мироновича? Ежели, допустимъ, Мироновичъ виноватъ, то куда ты сунешь Семенову и Безака? Туманъ, братецъ... Все такъ бесконечно и туманно, что не удовлетворятся приговоромъ, а безъ конца будутъ философствовать... Есть конецъ свѣта? Есть... А что же за этимъ концомъ? Тоже копецъ... А что же за этимъ вторымъ концомъ? И такъ далѣе... Такъ и въ этомъ процессѣ. Разъ двадцать еще разбирать будутъ и то ни къ чему не придутъ, а только туману напустятъ... Семенова сейчасъ созналась, а завтра она опять откажется—знать не знаю, вѣдать не вѣдаю. Опять Карабчевскій кружить начнетъ.... Наберетъ себѣ десять помощниковъ и начнетъ съ ними кружить, кружить, кружить...

— То-есть какъ кружить?

— Да такъ: послать за гирей водолазовъ подъ Туч-

ковъ мостъ! Хорошо, а тутъ сейчасъ Ашанинъ бумагу: не нашли гири! Карабчевскій разсердится... Какъ такъ не нашли? Это оттого, что у насъ настоящихъ водолазовъ и хорошаго водолазнаго аппарата нѣтъ! Выписать изъ Англіи водолазовъ, а изъ Нью-Йорка аппаратъ. Пока тамъ гирию ищутъ, стороны экспертовъ треплютъ. А эксперты кружатъ, кружатъ, кружатъ. Одинъ съ другимъ не соглашается, другъ другу лекціи читаютъ... Прокуроръ не соглашается съ Эргардомъ, а Карабчевскій съ Сорокинымъ... и пошло, и пошло! Выписать новыхъ экспертовъ, позвать изъ Франціи Шарко! Шарко пріѣдетъ и сейчасъ: не могу дать заключенія, потому что при вскрытіи не была осмотрѣна спинная кость! Вырыть опять Сарру! Потомъ, братецъ ты мой, насчетъ волосъ... Чьи были волосы? Не могли же они сами на полу вырасти, а чьи-нибудь да были же! Позвать для экспертизы парикмахеровъ! И вдругъ оказывается, что одинъ волосъ совѣтъ похожъ на волосъ Монбазонъ! Позвать сюда Монбазонъ! И пошло, и пошло. Все завертится, закружится. А тутъ еще англичане-водолазы въ Невѣ найдутъ не одну гирию, а пять. Ежели не Семенова убила, то настоящій убійца, навѣрное, туда десятокъ гирь бросилъ. Начнутъ гири осматривать. Первымъ дѣломъ: гдѣ онѣ куплены? У купца Подскокова! Подать сюда купца! Г. Подскоковъ, кто у васъ гири покупалъ? Не помню. Въ такомъ случаѣ назовите намъ фамиліи вашихъ покупателей! Подскоковъ начнетъ припоминать да и вспомнить, что ты у него что-то когда-то покупалъ. Вотъ, скажетъ, покупали у меня товаръ такіе-то и такіе-то и между прочимъ титулярный совѣтникъ Семенъ Алексѣевъ Нянинъ! Подать сюда этого титулярнаго совѣтника Нянина! Пожалуйте-съ!

Нянинъ икаетъ, встаетъ изъ-за стола и, блѣдный, растерянный, первно сѣмепить по комнатѣ.

— Ну, ну... — бормочетъ онъ. — Богъ знаетъ что!

— Да, подать сюда Нянина! Ты пойдешь, а Карабчевскій тебя глазами насквозъ, насквозъ! Гдѣ, спросить, вы были въ ночь подъ такое-то число? А у тебя и языкъ прильнетъ къ гортани. Сейчасъ сличать тѣ волосы съ твоими, пошлютъ за Ивановскимъ, и пожалуйста, г. Нянинъ, на цугундеръ!

— То... то-есть какъ же? Всѣ знаютъ, что не я убилъ! Что ты!

— Это все равно! Плевать на то, что не ты убилъ! Начнуть тебя кружить и до того закружать, что ты встанешь на колѣни и скажешь: я убилъ! Вотъ какъ!

— Ну, ну, ну...

— Я вѣдь только къ примѣру. Миѣ-то все равно. Я человекъ свободный, холостой. Захочу, такъ завтра же въ Америку уѣду! Ищи тогда, Карабчевскій! Кружи!

— Господи!—стонеть Ѳедоръ Ѳедорычъ.—Хоть бы у нихъ глотки пересохли! Черти, да вы замолчите когда-нибудь, или нѣтъ?

Нявинъ и Гриша умолкаютъ. Обѣдъ кончился, и оба они ложатся на свои кровати. Обоихъ сосетъ червь.

1885.

ИНДѢЙСКІЙ ПѢТУХЪ.

(МАЛЕНЬКОЕ НЕДОРАЗУМѢНІЕ).

— Чучело ты, чучело! Образина ты лысая!—говорила однажды Пелагея Петровна своему сунругу, отставному коллежскому секретарю Маркелу Ивановичу Лахматову.— У всѣхъ мужья, какъ мужья, одну только меня Господь наказалъ сокровищемъ-лежебокомъ! У сестры Глашеньки мужъ и носки штопаетъ, и куръ кормить, и за провизіей на рынокъ ходитъ. Прасковьи Ивановниинъ мужъ, и что это за человекъ!—только и ищетъ чѣмъ бы женѣ своей угодить: то клоповъ изъ кроватей вывариваетъ, то шубу выбиваетъ, чтобъ моль не поѣла, то рыбу чистить. Одинъ только ты у меня, нечистый тебя знаетъ, въ кого уродился! День-денской лежишь, какъ анаема, на диванѣ и только и знаешь, что водку трескаешь да про Румелію балясы точишь!..

— Что же миѣ дѣлать?—робко спросилъ Маркель Ивановичъ.

— Что дѣлать! Да мало ли дѣловъ? Куда въ хозяйствѣ ни сунься, вездѣ дѣло. Взять хоть индѣйскаго пѣтуха. Ужъ недѣля, какъ тварь не ѣсть, не ѣсть... вотъ издохнетъ, а тебѣ и горя мало, наказаніе ты мое! У, такъ я тресну по уху! А вѣдь пѣтухъ-то какой! Гора, а не пѣтухъ! За пять рублей другого такого не купишь!

— Чтò же мнѣ тово... съ пѣтухомъ дѣлать? Не къ доктору же съ нимъ итти!

— Зачѣмъ къ доктору? Доктора не обучены птицамъ... Ты у людей поразспроси... Люди все знаютъ.... А то и самъ бы, дуралей, своимъ умомъ пораскинулъ, какъ и чтò. Въ аптеку бы сходилъ. Въ аптекахъ много лѣкарствъ!

— Пожалуй, я схожу въ аптеку, — согласился Лахматовъ. — Пожалуй.

— И сходи! Дайте, скажи, мнѣ на десять копеекъ крѣпительнаго!

Маркель Ивановичъ лѣниво поднялся съ дивана, вздохнулъ и сталъ натягивать на себя панталоны (когда онъ сидитъ дома, Пелагея Петровна изъ экономіи держитъ его въ одномъ нижнемъ). Онъ былъ выпивши, въ головѣ отъ одного виска къ другому перекатывалась тяжелая свинцовая нуля, но мысль, что онъ идетъ сейчасъ дѣлать дѣло, подбодрила его. Одѣвшись, онъ взялъ трость и степенно зашагалъ къ аптекѣ.

— Вамъ чтò угодно? — спросилъ его въ аптекѣ толстый, лысый провизоръ съ большими, пушистыми бакенами.

— Мнѣ чего-нибудь этакого... — началъ робко Маркель Ивановичъ, почтительно глядя на пушистые бакены. — У меня, собственно говоря, нѣтъ рецепта, и я самъ не знаю, чтò мнѣ нужно, можетъ-быть, вы мнѣ посовѣтуете что-нибудь.

— Да, а чтò случилось?

— Дѣло въ томъ, что ужъ недѣля, какъ ни пьетъ ни ѣстъ. Все время, знаете ли, слабить. Скучный такой, унылый, словно потерялъ что-нибудь или совѣсть нечиста.

Провизоръ приподнялъ углы губъ, прищурился и обратился въ слухъ. Фармацевты вообще любятъ, когда къ нимъ обращаются за медицинскими совѣтами.

— А... гм... — промычалъ онъ. — Жаръ есть?

— Этого я вамъ не могу сказать, не знаю... Ужъ вы будьте такіе добрые, дайте чего-нибудь. Вѣрите ли? Смотрѣть жалко! Былъ здоровъ, ходилъ по двору, а теперь нѣ тебѣ! — ни съ того ни съ сего нахмурился, наершился и изъ сарая не выходитъ.

— Въ сараѣ нельзя... Теперь холодно.

— Хорошо, мы его въ кухню возьмемъ... А жалко будетъ, ежели тово... околѣетъ... Безъ него индѣйки жить не могутъ.

— Какія индѣйки? — вытаращилъ глаза провизоръ.

— Обыкновенныя... съ перьями.

— Да вы про кого говорите?

— Про индѣйскаго пѣтуха.

На лицѣ провизора изобразилось «тьфу!». Углы губъ опустились, и по строгому лицу пробѣжала тучка.

— Я... не понимаю, — обидѣлся провизоръ.

— Не понимаете, какой это индѣйскій пѣтухъ?—въ свою очередь не понялъ Лахматовъ. — Есть обыкновенныя пѣтухи, что съ курами ходятъ, а то индѣйскій... большой такой, знаете ли, съ хоботомъ на носу... и еще такъ посвистать ему, а онъ растопыритъ крылья, нахохлится и — блы-блы-блы...

— Мы индюковъ не лѣчимъ... — пробормоталъ провизоръ, обидчиво отводя глаза въ сторону.

— Да ихъ и лѣчить не нужно... Дать какого-нибудь пустяка и больше ничего... Вѣдь это не человѣкъ, а птица... и отъ пустяка поможетъ.

— Извините, мнѣ некогда.

— Я знаю, что вамъ некогда, но сдѣлайте такое одолженіе! Что вамъ стоитъ дать чего-нибудь? Чего хотите, то и дайте, я не стану разговаривать. Будьте столь до-столюбезны!

Просительный тонъ Маркела Иваныча тронулъ провизора. Онъ опять нахмурился, поднялъ углы губъ и задумался.

— Вы говорите, что не пьетъ, не ѣсть... что его слабить?

— Да-съ... Крѣпительнаго чего-нибудь.

— Погодите, я сейчасъ.

Провизоръ пошелъ къ шкалику, досталъ оттуда какую-то книгу и погрузился въ чтеніе. Лицо его приняло сократовское выраженіе, и на лбу собралось такъ много морщинъ, что Маркелъ Ивановичъ, глядя на него, побоялся, какъ бы отъ напряженія кожи не порвалась провизорская лысина.

— Я вамъ порошокъ дамъ, — сказалъ провизоръ, кончивъ чтеніе.

— Покорнѣйше васъ благодарю. Только, извините за выраженіе, какъ я ему этотъ порошокъ дамъ? Вѣдь онъ не клуетъ! Ежели бы онъ понималъ свою пользу, а то вѣдь птица глупая, неразумительная. Положишь передъ нимъ порошокъ, а онъ и безъ вниманія.

— Въ такомъ случаѣ я вамъ капель дамъ.

— Ну, капли другое дѣло. Капли насильно влить можно. Провизоръ повернулъ голову въ сторону и прокричалъ что-то по-нѣмцки.

— Я! — откликнулся маленькій, черненькій фармацевтъ.

Лахматовъ направился туда, гдѣ возился этотъ фармацевтъ, облокотился на стойку и сталъ ждать.

«Какъ онъ, собака, все это ловко! — думалъ онъ, слѣдя за движеніями пальцевъ фармацевта, дѣлившаго какой-то порошокъ на доли. — И на все вѣдь это нужна наука!»

Покончивъ съ порошками, фармацевтъ взялъ флаконъ, наболталъ въ него коричневой жидкости, завернулъ въ бумагу и подошелъ къ Лахматову.

— Вамъ на десять копеекъ капель? — спросилъ онъ.

— Индѣйскому пѣтуху.

— Чтò? — вытаращилъ глаза фармацевтъ.

— Индѣйскому пѣтуху.

— Съ вами говорятъ по-человѣчески, — вспыхнулъ фармацевтъ: — и вы должны отвѣчать по-человѣчески.

— Какъ же вамъ еще отвѣчать? Говорю, что индѣйскому пѣтуху, такъ, значитъ, индѣйскому пѣтуху. Не орлу же!

— Я это могу на свой счетъ принять! — нахохлился аптекарь.

— Зачѣмъ же на свой счетъ принять? Я самъ заплачу.

— Но мнѣ некогда съ вами шутить!

Фармацевтъ отложилъ въ сторону флаконъ съ каплями, отошелъ въ сторону и, сердито фыркая, сталъ что-то тереть въ ступкѣ.

Маркель Ивановичъ подождалъ еще немного, потомъ пожалъ плечами, вздохнулъ и вышелъ изъ аптеки. Придя домой, онъ снялъ сюртукъ, панталоны и жилетъ, почесался, покряхтѣлъ и легъ на диванъ.

— Ну, чтò? былъ въ аптекѣ? — набросилась на него Пелагея Петровна.

— Былъ... ну ихъ къ чорту!

— Гдѣ же лѣкарство?

— Не даютъ! — махнулъ рукой Маркель Ивановичъ и укрылся ватнымъ одѣяломъ.

— Уу... такъ и дамъ по уху!

1885.

КОНТРАБАСЪ И ФЛЕЙТА.

(Сценка).

Въ одну изъ репетицій флейтистъ Иванъ Матвѣичъ слонялся между пюпитровъ, вздыхалъ и жаловался.

— Просто несчастье! Никакъ не найду себѣ подходящей квартиры! Въ номерахъ мнѣ жить нельзя, потому что дорого, въ семействахъ же и частныхъ квартирахъ не пускаютъ музыкантовъ.

— Перебирайтесь ко мнѣ!—неожиданно предложилъ ему контрабасъ.—Я плачу за комнату двѣнадцать руб., а если вмѣстѣ жить будемъ, то по шести придется.

Иванъ Матвѣичъ ухватился за это предложеніе обѣими руками. Совмѣстно онъ никогда ни съ кѣмъ не жилъ, опыта на этотъ счетъ не имѣлъ, но разсудилъ а priori, что совмѣстное житье имѣетъ очень много прелестей и удобствъ: во-первыхъ, есть съ кѣмъ слово вымолвить и впечатлѣніями подѣлиться, во-вторыхъ, все пополамъ: чай, сахаръ, плата прислугѣ. Съ контрабасистомъ Петромъ Петровичемъ онъ былъ въ самыхъ пріятельскихъ отношеніяхъ, зналъ его за человѣка скромнаго, трезваго и честнаго, самъ онъ былъ тоже не буенъ, трезвъ и честенъ — стало-быть, пятакъ пара. Пріятели ударили по рукамъ, и въ тотъ же день кровать флейты уже стояла рядомъ съ кроватью контрабаса.

Но не прошло и трехъ дней, какъ Иванъ Матвѣичъ долженъ былъ убѣдиться, что для совмѣстнаго житія недостаточно однихъ только пріятельскихъ отношеній и такихъ «общихъ мѣстъ», какъ трезвость, честность и не буйный характеръ.

Иванъ Матвѣичъ и Петръ Петровичъ съ виѣшней стороны такъ же похожи другъ на друга, какъ инструменты,

на которыхъ они играютъ. Петръ Петровичъ — высокій, длинноногій блондинъ, съ большой стриженной головой, въ неуклюжемъ, короткохвостомъ фракѣ. Говоритъ онъ глухимъ басомъ; когда ходитъ, то стучитъ; чихаетъ и кашляетъ такъ громко, что дрожать стекла. Иванъ же Матвѣичъ изображаетъ изъ себя маленькаго, тощенькаго человѣчка. Ходитъ онъ только на цыпочкахъ, говоритъ жидкимъ теноркомъ и во всѣхъ своихъ поступкахъ старается показать человѣка деликатнаго, воспитаннаго. Пріятели сильно расходятся и въ своихъ привычкахъ. Такъ, контрабасъ пилъ чай въ прикуску, а флейта въ пакладку, что при совмѣстномъ владѣніи чая и сахара не могло не породить сомнѣній. Флейта спала съ огнемъ, контрабасъ безъ огня. Первая каждое утро чистила себѣ зубы и мылась душистымъ глицериновымъ мыломъ, второй же не только отрицалъ то и другое, но даже морщился, когда слышалъ шуршанье зубной щетки или видѣлъ намыленную фizioномію.

— Да бросьте вы эту мантифолію!—говорилъ онъ.— Противно глядѣтъ! Возитесь, какъ баба!

Нѣжлую, воспитанную флейту стало коробить на первыхъ же порахъ. Ей особенно не понравилось, что контрабасъ каждый вечеръ, ложась спать, мазалъ себѣ животь какою-то мазью, отъ которой пахло до самаго утра протухлымъ жаренымъ гусемъ, а послѣ мази цѣлыхъ полчаса, пыхтя и сопя, занимался гимнастикой, т.-е. методически задиралъ вверхъ то руки, то ноги.

— Для чего это вы дѣлаете?—спрашивала флейта, не вынося сопѣнья.

— Послѣ мази это необходимо. Нужно, чтобъ мазь по всему тѣлу разошлась... Это, батенька, великолѣпная вещь! Никакая простуда не пристанетъ. Помажьте-ка себѣ!

— Нѣтъ, благодарю васъ.

— Да помажьте! Накажи меня Богъ, помажьте! Увидите, какъ это хорошо! Бросьте книгу!

— Нѣтъ, я привыкъ всегда передъ сномъ читать.

— А что вы читаете?

— Тургенева.

— Знаю... читалъ... Хорошо пишетъ! Очень хорошо! Только, знаете, не нравится мнѣ въ немъ это... какъ его... не нравится, что онъ много иностранныхъ словъ употребляетъ. И потомъ, какъ запустится насчетъ природы,

какъ запустится, такъ взялъ бы и бросилъ! Солнце... луна... птички поютъ... чортъ знаетъ что! Тянетъ, тянетъ...

— Великолѣпныя у него есть мѣста!..

— Еще бы, Тургеневъ вѣдь! Мы съ вами такъ не напишемъ. Читалъ я, помню, «Дворянское гнѣздо».. Смѣху этого — страсть! Помните, напримѣръ, то мѣсто, гдѣ Лаврецкій объясняется въ любви съ этой... какъ ее?.. съ Лизой... Въ саду... помните? Хо-хо! Онъ заходитъ около нея и такъ и этакъ... со всякими подходами, а она, шельма, жеманится, кочевряжится, канителить... убить мало!

Флейта вскакивала съ постели и, сверкая глазами, надсаживала свой тенорокъ, начинала спорить, доказывать, объяснять...

— Да что вы мнѣ говорите! — оппонировалъ контрабасъ. — Самъ я не знаю, что ли? Какой образованный нашелся! Тургеневъ, Тургеневъ... Да что Тургеневъ! Хоть бы и вовсе его не было.

И Иванъ Матвѣичъ, обезсиленный, но не побѣжденный, умолкалъ. Стараясь не спорить, стиснувъ зубы, онъ глядѣлъ на своего укрывающагося одѣяломъ сожителя, и въ это время большая голова контрабаса казалась ему такой противной, глупой деревяжкой, что онъ дорого бы далъ, если бы ему позволили стукнуть по ней хоть разикъ.

— Вѣчно вы споръ поднимаете! — говорилъ контрабасъ, укладывая свое длинное тѣло на короткой кровати. — Характеръ! Ну, спокойной ночи. Тушите лампу!

— Мнѣ еще читать хочется...

— Вамъ читать, а мнѣ спать хочется...

— Но, я полагаю, не слѣдуетъ стѣснять свободу другъ друга...

— Такъ вотъ и не стѣсняйте мою свободу... Тушите...

Флейта тушила лампу и долго не могла уснуть отъ ненависти и сознанія безсилія, которое чувствуетъ всякій, сталкиваясь съ упрямствомъ невѣжды. Иванъ Матвѣичъ послѣ споровъ съ контрабасомъ всякій разъ дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ. Утромъ контрабасъ просыпался обыкновенно рано, часовъ въ шесть, флейта же любила спать до одиннадцати. Петръ Петровичъ, проснувшись, принимался отъ-нечего-дѣлать за починку футляра отъ своего контрабаса.

— Вы не знаете, гдѣ нашъ молотокъ?—будиль онъ флейту.—Послушайте, вы! Соня! Не знаете, гдѣ нашъ молотокъ?

— Ахъ... Я спать хочу!

— Ну, и спите... Кто вамъ мѣшаетъ? Дайте молотокъ и спите.

Но особенно солоно приходились флейтѣ субботы. Каждую субботу контрабасъ завивался, надѣвалъ галстукъ бантомъ и уходилъ куда-то глядѣть богатыхъ невѣстъ. Возвращался онъ отъ невѣстъ поздно ночью, веселый, возбужденный, въ подпитіи.

— Вотъ, батенька, я вамъ скажу!—начиналъ онъ дѣлиться впечатлѣніями, грузно садясь на кровать спящей флейты.—Да будетъ вамъ спать, успѣете! Экій вы соня! Хо-хо-хо... Видалъ невѣсту... Понимаете, блондинка съ такими глазами... толстененькая... Ничего себѣ, канашка. Но мать, мать! Жохъ старуха! Дипломатія! Безъ адвоката окрутить, коли захочетъ! Обѣщаетъ шесть тысячъ, а и трехъ не дастъ, ей-Богу! Но меня не надуешь, нѣ-ѣтъ!

— Голубчикъ... спать хочу...—бормотала флейта, пряча голову подъ одѣяло.

— Да вы слушайте! Какой вы свинья, ей-Богу! Я у васъ по-дружески совѣта прошу, а вы рожу воротите... Слушайте!

И бѣдная флейта должна была слушать до тѣхъ поръ, пока не наступало утро и контрабасъ не принимался за починку футляра.

— Нѣтъ, не могу съ нимъ жить!—жаловалась флейта на репетиціяхъ.—Вѣрите ли? Лучше въ слуховомъ окнѣ жить, чѣмъ съ нимъ... Совсѣмъ замучилъ!

— Отчего же вы отъ него не уйдете?

— Неловко какъ-то... Обидится... Чѣмъ я могу мотивировать свой уходъ? Научите, чѣмъ? Ужъ я все пердумалъ!

Не прошло и мѣсяца совместнаго житія, какъ флейта начала чахнуть и плакаться на судьбу. Но жизнь стала еще невыносимѣй, когда контрабасъ вдругъ ни съ того ни съ сего предложилъ флейтѣ перебираться съ нимъ на новую квартиру.

— Эта не годится... Укладывайтесь! Нечего хныкать! Отъ новой квартиры до кухмистерской, гдѣ вы обѣдаете, немножко далеко, но это ничего, много ходить полезно.

Новая квартира оказалась сырой и темной, но бѣдная флейта помирилась бы и съ сыростью и съ темнотой, если бы контрабасъ не избобрѣлъ на новосельѣ новыхъ мукъ.

Онъ, въ видахъ экономіи, завелъ у себя керосиновую кухню и сталъ готовить на ней себѣ обѣды, отчего въ комнатѣ былъ постоянный туманъ. Починку футляра по утрамъ замѣнилъ онъ скрипѣньемъ на контрабасѣ.

— Не чавкайте!—нападалъ онъ на Ивана Матвѣича, когда тотъ ѣлъ что-нибудь. — Терпѣть не могу, если кто чавкаетъ надъ самымъ ухомъ! Идите въ коридоръ да тамъ и чавкайте.

Прошелъ еще мѣсяцъ, и контрабасъ предложилъ перебраться на третью квартиру. Здѣсь онъ завелъ себѣ большіе сапоги, отъ которыхъ воняло дегтемъ, и въ литературныхъ спорахъ сталъ употреблять новый приемъ: вырывалъ изъ рукъ флейты книгу и самъ тушилъ лампу. Флейта страдала, изнывала отъ желанія стукнуть по большой, стриженной головѣ, болѣла тѣломъ и душой, но церемонилась и деликатничала.

— Скажешь ему, что я не хочу съ нимъ жить, а онъ и обидится! Не по-товарищески! Ужъ буду терпѣть!

Но такая ненормальная жизнь не могла долго тянуться. Кончилась она для флейты престраннымъ образомъ. Однажды, когда пріятели возвращались изъ театра, контрабасъ взялъ подъ-руки флейту и сказалъ:

— Вы извините меня, Иванъ Матвѣичъ, но я наконецъ долженъ вамъ сказать... спросить то-есть... Скажите, что это вамъ такъ нравится жить со мной? Не понимаю! Характерами мы не сошлись, вѣчно ссоримся, противѣли другъ другу... Не знаю, какъ вы, но я совѣмъ очумѣлъ... Ужъ я и такъ и этакъ... и на квартиры перебрался, чтобы вы отъ меня ушли, и на контрабасѣ по утрамъ игралъ, а вы все не уходите! Уйдите, голубчикъ! Сдѣлайте такую милость! Вы извините меня, но долѣе терпѣть я не въ состояніи.

Флейтѣ этого только и нужно было.

НИНОЧКА.

(Романъ).

Тихо отворяется дверь, и ко мнѣ входитъ мой хорошій пріятель, Павелъ Сергѣевичъ Вихленевъ, человѣкъ молодой, но старообразный и болѣзненный. Онъ сутуловатъ, длинноносъ и тощъ и въ общемъ некрасивъ, но зато фizioномія у него такая простецкая, мягкая, расплывчатая, что всякій разъ при взглядѣ на нее является странное желаніе забрать ее въ пять перстовъ и какъ бы осязать все мягкосердечіе и душевную тѣстообразность моего пріятеля. Какъ и всѣ кабинетные люди, онъ тихъ, робокъ и застѣнчивъ, на этотъ же разъ онъ кромѣ того еще блѣденъ и чѣмъ-то сильно взволнованъ.

— Чтѣ съ вами?—спрашиваю я, всматриваясь въ его блѣдное лицо и слегка дрожащія губы.—Больны, что ли, или опять съ женой не ладили? На васъ лица нѣтъ!

Помявшись немного и покашлявъ, Вихленевъ машетъ рукой и говоритъ:

— Опять у меня съ Ниночкой... комиссія! Такое, голубчикъ, горе, что всю ночь не спалъ и, какъ видите, чуть живой хожу... Чортъ меня знаетъ! Другихъ никакимъ горемъ не проймешь, легко сносятъ и обиды, и потери, и болѣзни, а для меня пустяка достаточно, чтобъ я раскисъ и развинтился!

— Но чтѣ случилось?

— Пустяки... маленькая семейная драма. Да я вамъ расскажу, если хотите. Вчера моя Ниночка никуда не поѣхала, а осталась дома, захотѣла со мной вечеръ провести. Я, конечно, обрадовался. Вечеромъ она обыкновенно уѣзжаетъ куда-нибудь въ собраніе, а я только вечерами и бываю дома, можете же поэтому судить, какъ я тово...

обрадовался. Впрочемъ, вы никогда не были женаты и не можете судить, какъ тепло и уютно чувствуешь себя, когда, придя съ работы домой, застаешь то, для чего живешь... Ахъ!

Вихленевъ описываетъ прелести семейной жизни, вытираетъ со лба потъ и продолжаетъ:

— Ниночка захотѣла провести со мной вечерокъ... А вѣдь знаете, какой я! Человѣкъ я скучный, тяжелый, неостроумный. Какое со мной веселье? Вѣчно я со своими чертежами, фильтромъ да почвой. Ни поиграть, ни потанцевать, ни побалагурить... ни на что я не способенъ, а вѣдь Ниночка, согласитесь, молодая, свѣтская... Молодость имѣетъ свои права... не такъ ли? Ну, сталъ я ей показывать картинки, разные вещички, то да се... рассказаль кое-что... Кстати тутъ вспомнилъ, что у меня въ столѣ лежатъ старыя письма, а между этими письмами пресмѣшныя попадаются! Во времена студенчества были у меня пріятели: ловко писали, бестіи! Читаешь, кишки порвешь. Вытащилъ я изъ стола эти письма и дай Ниночкѣ читать. Прочелъ я ей одно письмо, другое, третье... и вдругъ—столъ машина! Въ одномъ письмѣ, знаете ли, попалась фраза: «Кланяется тебѣ Катя». Для ревливой супруги такія фразы пожъ острый, а моя Ниночка—Отелло въ юбкѣ. Посыпались на мою несчастную голову вопросы: кто это Катенька? да какъ? да почему? Я ей и рассказываю, что эта Катенька была чѣмъ-то въ родѣ первой любви... что-то этакое студенческое, молодое, зеленое, чему никакого значенія нельзя придавать. У всякаго, говорю, юнца есть свои Катеньки, нельзя безъ этого... Не слушаетъ моя Ниночка! Вообразила чортъ знаетъ что и въ слезы. Послѣ слезъ истерика. «Вы, кричите, гадки, мерзки! Вы скрываете отъ меня свое прошлое! Стало-быть, кричите, у васъ и теперь есть какая-нибудь Катька, да вы скрываете!» Убѣждалъ, убѣждалъ я ее, но ни къ чему... Мужской логикѣ никогда не совладать съ женской. Наконецъ прощенія просилъ, на колѣнкахъ... ползалъ, и хоть бы тебѣ что. Такъ и легла спать съ истерикой: она у себя, а я у себя на диванѣ... Сегодня утромъ не глядитъ, дуется и выкается. Обѣщаетъ переѣхать къ матери. И навѣрное переѣдетъ, я знаю ея характеръ!

— Мда, непріятная исторія.

— Непонятны мнѣ женщины! Ну, допустимъ, Ниночка

молода, нравственна, брезглива, ея не можетъ не коробить такая проза, какъ Катенька, допустимъ... но неужели простить трудно? Пусть я виноватъ, но вѣдь я просилъ прощенія, на колѣняхъ ползалъ! Я, если хотите знать, даже... плакалъ!

— Да, женщины большая загадка.

— Голубчикъ мой, дорогой, вы имѣете надъ Ниночкой большое вліяніе, она уважаетъ васъ, видитъ въ васъ авторитетъ. Умоляю васъ, съѣздите къ ней, употребите все ваше вліяніе и втолкните ей, какъ она неправда... Я страдаю, мой дорогой! Если эта исторія продолжится еще на день, то я не вынесу. Съѣздите, голубчикъ!

— Но удобно ли это будетъ?

— Отчего же неудобно? Вы съ ней друзья чуть ли не съ дѣтства, она вѣритъ вамъ... Съѣздите, будьте другомъ!

Слезныя мольбы Вихленева меня трогаютъ. Я одѣваюсь и ѣду къ его женѣ. Застаю я Ниночку за ея любимымъ занятіемъ: она сидитъ на диванѣ, положивъ нога на ногу, щуритъ на воздухъ свои хорошенькіе глазки и ничего не дѣлаетъ.... Увидавъ меня, она прыгаетъ съ дивана и подбѣгаетъ ко мнѣ... Затѣмъ она оглядывается, быстро затворяетъ дверь и съ легкостью перышка повисаетъ на моей шеѣ. (Да не подумаетъ читатель, что здѣсь опечатка.... Вотъ уже годъ прошелъ, какъ я раздѣляю съ Вихленевымъ его супружескія обязанности).

— Ты что же это опять, бестія, выдумала?—спрашиваю я Ниночку, усаживая ее рядомъ съ собой.

— Что такое?

— Опять ты для своего благовѣрнаго муку изобрѣла! Сегодня ужъ онъ былъ у меня и все рассказалъ про Катеньку.

— Ахъ... это! Нашелъ кому жаловаться!

— Что у васъ тутъ вышло?

— Такъ, пустяки... Вчера вечеромъ скучно было... взяло зло, что некуда мнѣ ѣхать, ну, съ досады и при-
визалась къ его Катенькѣ. Заплакала я отъ скуки, а какъ ты объяснишь ему этотъ плачъ?

— Но вѣдь это, душа моя, жестоко, безчеловѣчно. Онъ и такъ нервень, а ты еще его своими сценами донимаешь.

— Ничего, онъ любитъ, когда я его ревную... Ничѣмъ такъ не отведешь глазъ, какъ фальшивой ревностью.... Но оставимъ этотъ разговоръ... Я не люблю, когда ты на-

чинаешь разговоръ про моего тряпку... Онъ и такъ ужъ надоѣлъ мнѣ... Давай лучше чай пить...

— Но все-таки ты перестань его мучить... На него глядѣть жалко... Онъ такъ искренно и честно расписываетъ свое семейное счастье и такъ вѣрить въ твою любовь, что даже жутко дѣлается... Ужъ ты какъ-нибудь пересиль себя, приласкай, соври... Одного твоего слова достаточно, чтобы онъ почувствовалъ себя на седьмомъ небѣ.

Ниночка надуваетъ губки и хмурится, но все-таки, когда немного погода входитъ Вихленевъ и робко заглядываетъ мнѣ въ лицо, она весело улыбается и ласкаетъ его взглядомъ.

— Какъ разъ къ чаю пришелъ!—говоритъ она ему.— Умный ты у меня, никогда не опаздываешь... Тебѣ со сливками или съ лимономъ?

Вихленевъ, не ожидавшій такой встрѣчи, умиляется. Онъ съ чувствомъ цѣлуетъ жепѣ руку, обнимаетъ меня, и это объятіе выходитъ такъ нелѣпо и некстати, что я и Ниночка — оба красимъ.

— Блаженны миротворцы!—весело кудактаетъ счастливый мужъ.—Вамъ вотъ удалось убѣдить ее—почему? А потому, что вы человѣкъ свѣтскій, вращались въ обществѣ, знаете всѣ эти тонкости по части женскаго сердца! Ха-ха-ха! Я тюлень, байбакъ! Нужно слово сказать, а я десять... Нужно ручку поцѣловать, или что другое, а я ныть начинаю! Ха-ха-ха!

Послѣ чаю Вихленевъ ведетъ меня къ себѣ въ кабинетъ, беретъ за пуговицу и бормочетъ:

— Не знаю, какъ и благодарить васъ, дорогой мой! Вы вѣрите, я такъ страдалъ, мучился, а теперь такъ счастливъ, хоть отбавляй! И это ужъ не впервой вы выводите меня изъ ужаснаго положенія. Дружокъ мой, не откажите мнѣ! У меня есть одна вещичка... а именно, маленькій локомотивъ, что я самъ сдѣлалъ... я за него медаль на выставкѣ получилъ... Возьмите его въ знакъ моей признательности... дружбы!.. Сдѣлайте мнѣ такое одолженіе!

Понятно, я всячески отпѣкивался, но Вихленевъ неумолимъ, и я волей-неволей принимаю его дорогой подарокъ.

Проходятъ дни, недѣли, мѣсяцы... и рано или поздно проклятая истина раскрывается передъ Вихленевымъ во

всемъ своемъ поганомъ величіи. Узнавъ случайно истину, онъ страшно блѣднѣетъ, ложится на диванъ и тупо глядитъ въ потолокъ... При этомъ не говорится ни одного слова. Душевная боль должна выразиться въ какихъ-нибудь движеніяхъ, и вотъ онъ начинаетъ мучительно ворочаться на своемъ диванѣ съ боку на бокъ. Этими движеніями и ограничивается его тряпичная натура.

Черезъ недѣлю, немного оправившись отъ поразившей его новости, Вихленевъ приходитъ ко мнѣ. Оба мы смущены и не глядимъ другъ на друга... Я начинаю ни къ селу ни къ городу нести ахинею о свободной любви, супружескомъ эгоизмѣ, покорности судьбѣ.

— Я не о томъ... — перебиваетъ онъ меня кротко. — Все это я отлично понимаю. Въ чувствѣ никто не виноватъ. Но меня интересуетъ другая сторона дѣла, чисто практическая. Я, голубчикъ, жизни совсѣмъ не знаю, и гдѣ дѣло касается обрядностей, условій свѣта, тамъ я совсѣмъ швахъ. Вы, дорогой мой, поможете мнѣ. Скажите, какъ теперь Ниночкѣ быть! Продолжать ли ей жить у меня, или же вы сочтете нужнымъ, чтобъ она къ вамъ переѣхала?

Мы недолго совѣщаемся и останавливаемся на такомъ рѣшеніи: Ниночка остается жить у Вихленева, я ѣзжу къ ней, когда мнѣ вздумается, а Вихленевъ беретъ себѣ угловую комнату, гдѣ раньше была кладовая. Эта комната немного сыра и темна, ходъ въ нее черезъ кухню, но зато въ ней можно отлично закупориться и не бытъ ни въ чьемъ глазу спицей.

1885.

БЕЗЪ МѢСТА.

Кандидатъ правъ Перепелкинъ сидѣлъ у себя въ номерѣ и писалъ:

«Дорогой дядя Иванъ Николаевичъ!.. Чортъ бы тебя взялъ съ твоими рекомендательными письмами и практическими совѣтами! Въ тысячу разъ лучше, благороднѣе и честнѣе сидѣть безъ дѣла и питаться надеждами на туманное будущее, чѣмъ ежели нужно купаться въ холодной, вонючей грязи, въ которую ты толкаешь меня своими письмами и совѣтами. Тошнитъ меня нестерпимо, точно я рыбой отравился. Тошнота самая гнусная, мозговая, отъ которой не отдѣлаешься ни водкой, ни сномъ, ни душеспасительными размышленіями. Знаешь, дядя, хотъ ты и старикъ, но ты большая скотина. Отчего ты не предупредилъ меня, что мнѣ придется переживать такіа мерзости! Стыдно!

«Описываю тебѣ по порядку все мои мытарства. Прежде всего я отправился съ твоимъ рекомендательнымъ письмомъ къ Бабкову. Засталъ я его въ правленіи желѣзнодорожнаго общества Н. Это маленькій, совершенно лысый старикашка съ желто-сѣрымъ лицомъ и бритымъ, кривымъ ртомъ. Верхняя губа его глядитъ направо, нижняя налево. Онъ сидитъ за отдѣльнымъ столомъ и читаетъ газету.

«Вокругъ него, какъ вокругъ парнаскаго Аполлона, на высокихъ коммерческихъ табуретахъ за толстыми книгами сидятъ дамы. Одѣты онѣ шикарно: турнюры, вѣера, массивные браслеты. Какъ онѣ умѣютъ мирить виѣшний шикъ съ нищенскимъ женскимъ жалованьемъ, понять трудно. Или онѣ служатъ здѣсь отъ-нечего-дѣлать, съ жиру, по протекціи папашей и дядюшекъ, или же тутъ:

бухгалтерія есть только дополненіе, а подлежащее и ска-
зуемое только подразумѣвается. Потомъ я узналъ, что онѣ
ни черта не дѣлають; работа ихъ валится на плечи раз-
ныхъ сверхштатныхъ служащихъ, безгласныхъ мужчинъ,
получающихъ по 10—15 рублей въ мѣсяцъ. Я подалъ
Бабкову твое письмо. Онъ, не приглашая меня сѣсть,
медленно одѣлъ допотопное пенсне, еще медленнѣе рас-
печаталъ конвертъ и сталъ читать.

«— Вашъ дядюшка просить для васъ мѣста,—сказалъ
онъ, почесывая лысину.—Вакансій у насъ нѣтъ и едва
ли скоро онѣ будутъ, но во всякомъ случаѣ постараюсь
для вашего дядюшки... доложу директору нашего обще-
ства. Можетъ-быть, и найдемъ что-нибудь.

«Я чуть не подпрыгнулъ отъ радости и готовъ уже былъ
разсыпаться въ песокъ благодарности, какъ вдругъ, бра-
тецъ ты мой, слышу такую фразу:

«— Но, молодой человѣкъ, будь это мѣсто лично для
вашего дядюшки, то я бы съ него не взялъ, а такъ
какъ оно для васъ, то тово... увѣренъ, что вы побла-
годарите... меня, какъ слѣдуетъ... Понимаете?

«Ты предупредилъ меня, что даромъ мнѣ не дадутъ
мѣста, что я долженъ буду заплатить, но ты ни слова
не сказалъ мнѣ о томъ, что эти пакостныя продажа и
купля производятся такъ громко, публично, беззастѣн-
чиво... при дамахъ! Ахъ, дядя, дядя! Послѣднія слова
Бабкова до того меня огорошили, что я чуть не умеръ
отъ тошноты. Мнѣ стало совѣстно, точно я самъ бралъ
взятку. Я покраснѣлъ, залепеталъ какую-то чепуху и подъ
конвоемъ двадцати женскихъ смѣющихся глазъ попятился
къ выходу. Въ передней догнала меня какая-то мрачная,
испитая личность, которая шепнула мнѣ, что и безъ Ба-
бкова можно найти себѣ мѣсто.

«— Дайте мнѣ пять цѣлковыхъ, и я васъ сведу къ Са-
хару Медовичу. Они, хотя и не служатъ, но находятъ
мѣста. И берутъ они за это немного: половину жалованья
за первый годъ.

«Мнѣ бы нужно было плюнуть, надсмѣяться, а я
поблагодарилъ, сконфузился и, какъ ошпаренный, пу-
стился внизъ по лѣстницѣ. Отъ Бабкова я пошелъ къ
Шмаковичу. Это мягкій, пухлый толстячокъ съ красной,
благодарушной фізіономіей и съ маленькими, масляными
глазками. Его глазки масляны до приторности, такъ что
тебѣ кажется, что они вымазаны касторовымъ масломъ.

Узнавъ, что я твой племянникъ, онъ ужасно обрадовался и даже заржалъ отъ удовольствія. Бросилъ свое дѣло и принялся поить меня чаемъ. Душа человѣкъ! Все время глядѣлъ мнѣ въ лицо и искалъ сходства съ тобой. Тебя вспомнилъ со слезами. Когда я напомнилъ ему о цѣли своего визита, онъ похлопалъ меня по плечу и сказалъ: «— Надоѣстъ еще о дѣлѣ говорить... Дѣло не медвѣдь, въ лѣсъ не уйдетъ. Вы гдѣ обѣдаете? Ежели для васъ безразлично, гдѣ ни обѣдать, такъ поѣдемте къ Палкину! Тамъ и потолкуемъ.

«При семъ письмѣ прилагаю палкинский счетъ, 75 руб., которые, ты тамъ увидишь, съѣлъ и выпилъ твой другъ Шмаковичъ, оказавшійся большимъ гастрономомъ. Заплатилъ по счету, конечно, я. Отъ Палкина Шмаковичъ потащилъ меня въ театръ. Билеты купилъ я. Что еще? Послѣ театра твой подлець предложилъ мнѣ проѣхаться за городъ, но я отказался, такъ какъ у меня деньги почти на исходѣ. Прощаясь со мной, Шмаковичъ велѣлъ тебѣ кланяться и передать, что мѣсто онъ можетъ мнѣ выхлопотать не раньше, какъ черезъ пять мѣсяцевъ.

«— Нарочно не дамъ вамъ мѣста! — пошутилъ онъ, милостиво хлопая по моему животу. — И зачѣмъ вамъ, университетскому, такъ хочется служить въ нашемъ обществѣ? Поступали бы, ей-Богу, на казенную службу!

«— Я и безъ васъ знаю про казенное мѣсто. Но дайте мнѣ его!

«Съ третьимъ твоимъ письмомъ я отправился къ твоему куму Халатову въ правленіе Живоделеро-Хамской желѣзной дороги. Тутъ произошло нѣчто мерзопакостное, перещеголявшее и Бабкова и Шмаковича, обоихъ разомъ. Повторяю: ну тебя къ чорту! Тошно мнѣ до безобразія, и виновать въ этомъ ты... Твоего Халатова я не засталъ. Принялъ меня какой-то Одеколоновъ — тощая, сухожильная фигура, съ рябой, іезуитской физіей. Узнавъ, что я ищу мѣста, онъ усадилъ меня и прочелъ мнѣ цѣлую лекцію о трудностяхъ, съ какими получаютъ теперь мѣста. Послѣ лекціи онъ пообѣщалъ мнѣ доложить, похлопотать, замолвить и проч. Помня твою заповѣдь — совать деньги, гдѣ только возможно, и видя, что рябая физія не прочь отъ взятки, я, прощаясь, сунулъ въ кулакъ... Берущая рука пожала мнѣ палець, физія ослабилась, и опять посыпались обѣщанія, но... Одеколоновъ оглянулся и увидѣлъ сзади себя постороннихъ, которые не могли

не замѣтить рукопожатія. Иезуитъ смутился и забормotalъ:

— Мѣсто я вамъ общаю, но... благодарностей не беру... Ни-ни! Возьмите обратно! Ни-ни! Вы обижаете...

«И онъ разжалъ кулакъ и отдалъ мнѣ назадъ деньги, но не четвертную, которую я ему сунулъ, а трехрублевку. Каковъ фокусъ? У этихъ чертей въ рукахъ, должно-быть, цѣлая система пружинъ и нитокъ, иначе я не понимаю превращенія моей бѣдной четвертной въ жалкую трехрублевку.

«Относительно чистенькимъ и порядочнымъ оказался мнѣ объектъ четвертаго рекомендательнаго письма—Грызодубовъ.

«Это еще молодой человѣкъ, красивый, съ благородной осанкой, щегольски одѣтый. Принялъ меня онъ хотя и лѣнливо, съ видимой неохотой, но любезно. Изъ разговоровъ съ нимъ я узналъ, что онъ кончилъ въ университетѣ и тоже въ свое время бился изъ-за куска хлѣба, какъ рыба о ледъ. Отнесся онъ къ моей просьбѣ очень сочувственно, тѣмъ болѣе, что образованные служащіе—его любимая мечта... Былъ я у него уже три раза, и за всѣ три раза онъ не сказалъ мнѣ ничего опредѣленнаго. Онъ какъ-то мямлитъ, мнется, избѣгаетъ прямыхъ отвѣтовъ, точно стѣсняется или не рѣшается... Я далъ себѣ слово не сентиментальничать. Ты меня увѣрялъ, что у всѣхъ шуллеровъ обыкновенно благородныя осанки и самый рыцарскій анломбъ... Можетъ-быть, это и правда, но сумѣй-ка ты отдѣлать шуллеровъ отъ порядочныхъ. Такъ влопаешься, что небу жарко станетъ... Сегодня у Грызодубова я былъ въ четвертый разъ... Онъ попрежнему мямлилъ и не говорилъ ничего... Меня взорвало... Чортъ меня дернулъ вспомнить, что я далъ тебѣ честное слово надѣлать всѣхъ безъ исключенія деньгами, и меня словно кто подъ локоть толкнулъ... Какъ рѣшаются окунуться въ холодную воду или взлѣзть на высоту, такъ и я рѣшился рискнуть и сунуть.

«Эхъ, что будетъ, то будетъ, — рѣшилъ я. — Разъ въ жизни можно испробовать...

«Я рѣшилъ рискнуть не столько ради мѣста, сколько ради новизны ощущенія. Хоть разъ въ жизни, молъ, увидѣть, какъ дѣйствуетъ на порядочныхъ людей «благодарность»! Но «ощущеніе» мое пошло къ чорту. Исполнилъ я чеумѣло, аляповато... Вытащилъ изъ кармана депозитку

и, краснѣя, дрожа всѣмъ тѣломъ, улучилъ минутку, когда Грызодубовъ на меня не глядѣлъ, и положилъ ее на столъ... Къ счастью, Грызодубовъ положилъ въ это время на столъ какія-то книги и прикрылъ ими депозитку... Итакъ, не удалось... Грызодубовъ депозитки не видѣлъ... Она затеряется между бумагами или ее украдутъ сторожа... Если же онъ ее увидитъ, то, навѣрное, оскорбится... Такъ-то, mon oncle... И деньги пропали и совѣстно... до боли совѣстно! А все ты со своими проклятыми практическими совѣтами! Ты развратилъ меня... Прерываю письмо, ибо кто-то звонитъ... Иду отворить дверь...

«Сейчасъ получилъ отъ Грызодубова письмо. Пишетъ, что есть въ контролѣ товарныхъ сборовъ вакансія на 60 руб. въ мѣсяцъ. Депозитку мою онъ, стало-быть, видѣлъ».

1885.

ТАПЕРЬ.

Второй часъ ночи. Я сижу у себя въ номерѣ и пишу заказанный мнѣ фельетонъ въ стихахъ. Вдругъ отворяется дверь, и въ номеръ совсѣмъ неожиданно входитъ мой сожитель, бывший ученикъ м — ой консерваторіи Петръ Рублевъ. Въ цилиндрѣ, въ шубѣ нараспашку, онъ напоминаетъ мнѣ на первыхъ иорахъ Репетилова; потомъ же, когда я всматриваюсь въ его блѣдное лицо и необыкновенно острые, словно воспаленные глаза, сходство съ Репетиловымъ исчезаетъ.

— Отчего ты такъ рано? — спрашиваю я. — Вѣдь еще только два часа! Развѣ свадьба уже кончилась?

Сожитель не отвѣчаетъ. Онъ молча уходитъ за перегородку, быстро раздѣвается и съ сопѣньемъ ложится на свою кровать.

— Спи же, с-скотина! — слышу я черезъ десять минутъ его шопотъ. — Легъ, ну и спи! А не хочешь спать, такъ... ну тебя къ чорту!

— Не спится, Петя? — спрашиваю я.

— Да, чортъ его знаетъ... не спится что-то... Смѣхъ разбираетъ... Не даетъ смѣхъ уснуть! Ха-ха!

— Что же тебѣ смѣшно?

— Исторія смѣшная случилась. Нужно же было случиться этой анааемской исторіи!

Рублевъ выходитъ изъ-за перегородки и со смѣхомъ садится около меня.

— Смѣшно и... совѣстно... — говоритъ онъ, ероша свою прическу. — Отродясь, братецъ ты мой, не испытывалъ еще такихъ пассажей... Ха-ха... Скандаль — первый сортъ! Великосвѣтскій скандаль!

Рублевъ бьетъ себя кулакомъ по колѣну, вскакиваетъ и начинаетъ шагать босикомъ по холодному полу.

— Въ шею дали! — говоритъ онъ. — Оттого и пришелъ рано.

— Полно, что врать-то!

— Ей-Богу... Въ шею дали — буквально!

Я гляжу на Рублева... Лицо у него испытное и поношенное, но во всей его внѣшности уцѣлѣло еще столько порядочности, барской изнѣженности и приличія, что это грубое «дали въ шею» совсѣмъ не вяжется съ его интеллигентной фигурой.

— Скандаль первостатейный... Шелъ домой и всю дорогу хохоталъ. Ахъ, да брось ты свою ерунду писать! Выхажусь, вылью все изъ души, можетъ, не такъ... смѣшно будетъ!.. Брось! Исторія интересная... Ну, слушай же... На Арбатѣ живетъ нѣкій Присвистовъ, отставной подполковникъ, женатый на побочной дочери графа фонъ-Крахъ... Аристократъ, стало-быть... Выдаетъ онъ дочку за купеческаго сына Ескимосова... Этотъ Ескимосовъ парвеню и мове-жанръ, свишня въ ермолкѣ и моветонъ, но папашѣ съ дочкой манже и буаръ хочется, такъ что тутъ некогда разсуждать о мове-жанрахъ. Отправляюсь я сегодня въ девятомъ часу къ Присвистову таперствовать. На улицахъ грязница, дождь, туманъ... На душѣ, по обыкновенію, гнусно.

— Ты покороче, — говорю я Рублеву. — Безъ психологій..

— Ладно... Прихожу къ Присвистову... Молодые и гости послѣ вѣнца фрукты трескаютъ. Въ ожиданіи танцевъ иду къ своему посту — роялю и сажусь.

«— А, а... вы пришли! — увидѣлъ меня хозяинъ. — Такъ вы ужъ, любезный, смогрите: играть, какъ слѣдуетъ, и главное — не папиваться...

«— Я, братъ, привыкъ къ такимъ привѣтствіямъ, не обижаюсь... Ха-ха... Назвался груздемъ, полѣзай въ кузовъ... Не такъ ли? Чтò я такое? Таперь, прислуга... официантъ, умѣющій играть!.. У купцовъ тыкаютъ и на чай даютъ, и... нисколько не обидно! Ну-съ, отъ-не-чего-дѣлать, до танцевъ начинаю побренкивать этакъ слегка, чтобъ, знаешь, пальцы разошлись. Играю и слышу немного погодя, братецъ ты мой, что сзади меня кто-то подпѣваетъ. Оглядываюсь — барышня! Стоитъ бестія сзади меня и на клавиши умильно глядитъ. — «Я, говорю, m-lle, и не зналъ, что меня слушаютъ!» А она вздыхаетъ и говоритъ: «хорошая вещь!» — «Да, говорю, хорошая... А вы нешто любите музыку?» И завязался разговоръ... Барышня оказалась разговорчивая. Я ее за языкъ не тянулъ, сама разболталась. — «Какъ, говоритъ, жаль, что нынѣшняя молодежь не занимается серьезной музыкой». Я, дуракъ, болванъ, радъ, что на меня обратили вниманіе... осталось еще это гнусное самолюбіе!.. Принимаю, знаешь, этакую позу и объясняю ей индифферентизмъ молодежи отсутствіемъ въ нашемъ обществѣ эстетическихъ потребностей... Зафилософствовался!»

— Въ чемъ же скандалъ? — спрашиваю я Рублева. — Влюбился, что ли?

— Выдумалъ! Любовь — это скандалъ личнаго свойства, а тутъ, братъ, произошло нѣчто всеобщее, великосвѣтское... да! Бесѣдую я съ барышней 'и вдругъ начинаю замѣчать что-то неладное: за моей спиной сидятъ какія-то фигуры и шепчутся... Слышу слово «танеръ», хихиканье... Про меня, значить, говорятъ... Чтò за оказія? Не галстукъ ли у меня развязался? Пробую галстукъ — ничего... Не обращаю, конечно, вниманія и продолжаю разговоръ... А барышня горячится, спорить, раскраснѣлась вся... Такъ и чешетъ! Такую критику пустила на композиторовъ, что держись шапка! Въ «Демонѣ» оркестровка хороша, а мотивовъ нѣтъ, Римскій-Корсаковъ барабанщикъ, Варламовъ не могъ создать ничего цѣльнаго и проч. Нынѣшніе мальчики и дѣвочки едва гаммы играютъ, платятъ по четвертаку за урокъ, а ужъ не прочь музыкальныя рецензіи писать... Такъ и моя барышня... Я слушаю и не оспариваю... Люблю, когда молодое, зеленое дуется, мозгами шевелить... Ну, а сзади-то все бормочутъ, бормочутъ... И чтò же? Вдругъ къ моей барышнѣ подплываетъ толстая пава, изъ породы маме-

некъ или тетенекъ, солидная, багровая, въ пять обхватовъ... не глядитъ на меня и что-то шепчетъ ей на ухо... Слушай же... Барышня вспыхиваетъ, хватается за щеки и, какъ ужаленная, отскакиваетъ отъ рояля... Что за оказія? Мудрый Эдигъ, разрѣши! Ну, думаю, навѣрное, или фракъ у меня на спинѣ лопнулъ, или у дѣвочки въ туалетѣ какой-нибудь грѣхъ приключился, иначе трудно понять этотъ казусъ. На всякій случай иду минутъ черезъ десять въ переднюю оглядѣть свою фигуру... оглядываю галстукъ, фракъ, тралала... все на мѣстѣ, ничего не лопнуло! На мое счастье, братецъ, въ передней стояла какая-то старушонка съ узломъ. Все мнѣ объяснила... Не будь ея, я такъ бы и остался въ счастливомъ невѣдѣніи. «Наша барышня не можетъ безъ того, чтобъ характера своего не показать,—разсказываетъ она какому-то лакею.—Увидала около фортепьяновъ молодца и дай съ нимъ балясы точить, словно съ настоящимъ какимъ... ахи да смѣхи, а молодецъ-то этотъ, выходитъ, не гость, а таперъ... изъ музыкантовъ... Вотъ тебѣ и поговорила! Спасибо Марѣѣ Степановнѣ, шепнула ей, а то бы она, чего добраго, и подъ ручку съ нимъ бы пошла... Теперь и совѣстно, да ужъ поздно: словъ не воротишь».. А? Каково?

— И дѣвчонка глупа,—говорю я Рублеву:—и старуха глупа. Не стѣитъ и вниманія обращать...

— Я и не обратилъ вниманія... Только смѣшно и больше ничего. Я давно ужъ привыкъ къ такимъ пассажамъ... Прежде, дѣйствительно, больно было, а теперь — плевать! Дѣвчонка глупая, молодая... ея не жалко! Сажусь я и начинаю играть танцы... Серьезнаго тамъ ничего не нужно... Знай себѣ закатываю вальсы, кадрили-монстры да гремучіе марши... Коли тошно твоей музыкальной душѣ, то поди рюмочку выпей — и самъ же разыграешься отъ Боккачіо.

— Но въ чемъ собственно скандалъ?

— Трещу я на клавишахъ и... не думаю о дѣвочкѣ... Смѣюсь и больше ничего, но... ковыряетъ у меня что-то подъ сердцемъ! Точно сидитъ у меня подъ ложечкой мышь и казенные сухари грызетъ... Отчего мнѣ грустно и гнусно, самъ не пойму... Убѣждаю себя, браво, смѣюсь... подпѣваю своей музыкѣ, но саднить мою душу, да какъ-то особенно саднить... Повернетъ этакъ въ груди, ковырнетъ, погрызетъ и вдругъ къ горлу подкатитъ, этакъ...

точно комъ... Стиснешь зубы, переждешь, а оно и оттянетъ, потомъ же опять сначала... Что за комиссія! И какъ нарочно въ головѣ самыя что ни на есть подлыя мысли... Вспоминается мнѣ, какая изъ меня дрянь вышла... Бѣхалъ въ Москву за двѣ тысячи верстъ, мѣтилъ въ композиторы и піанисты, а попалъ въ таперы... Въ сущности вѣдь это естественно... даже смѣшно, а меня тошнить... Вспомнился мнѣ и ты... Думаю, сидитъ теперь мой сожитель и строчить... Описываетъ, бѣдняга, спящихъ гласныхъ, булочныхъ таракановъ, осеннюю непогоду... описываетъ именно то, что давнымъ-давно уже описано, изжевано и переварено... Думаю я, и почему-то жалко мнѣ тебя... до слезъ жалко!.. Малый ты славный, съ душой, а нѣтъ въ тебѣ этого, знаешь, огня, желчи, силы... нѣтъ азарта, и почему ты не аптекарь, не сапожникъ, а писатель, Христосъ тебя знаетъ! Вспомнились всѣ мои пріатели-неудачники, всѣ эти нѣвцы, художники, любители... Все это когда-то кипѣло, копошилось, парило въ поднебесьѣ, а теперь... чортъ знаетъ что! Почему мнѣ лѣзли въ голову именно такія мысли, не понимаю! Гоню изъ головы себя, пріатели лѣзутъ; пріателей гоню, дѣвчонка лѣзетъ... Надъ дѣвчонкой я смѣюсь, ставлю ее ни въ грошъ, но не даетъ она мнѣ покоя... И что это, думаю, за черта у русскаго человѣка! Пока ты свободенъ, учишься, или безъ дѣла шатаешься, ты можешь съ нимъ и выпить, и по животу его похлопать, и съ дочкой его полюбезничать, но какъ только ты сталъ въ мало-мальски подчиненныя отношенія, ты уже сверчокъ, который долженъ знать свой шестокъ... Кое-какъ, знаешь, заглушаю мысль, а къ горлу все-таки подкатываетъ... Подкатить, сожметъ и этакъ... сдавить... Въ концѣ концовъ чувствую на своихъ глазахъ жидкость, Боккачіо мой обрывается и... все къ чорту. Благородная зала оглашается другими звуками... Истерика...

— Врешь!

— Ей-Вогу... — говоритъ Рублевъ, краснѣя и стараясь засмѣяться. — Каковъ скандалъ? За симъ чувствую, что меня влекутъ въ переднюю... надѣваютъ шубу... Слышу голосъ хозяина: «Кто напоилъ тапера? Кто смѣлъ дать ему водки?» Въ заключеніе... въ шею... Каковъ пассажъ? Ха-ха... Тогда не до смѣха было, а теперь ужасно смѣшно... ужасно! Здоровила... верзпла, съ пожарную каланчу ростомъ, и вдругъ истерика! Ха-ха-ха!

— Что же тутъ смѣшного?—спрашиваю я, глядя, какъ плечи и голова Рублева трясутся отъ смѣха...—Петя, ради Бога... что тутъ смѣшного? Петя! Голубчикъ!

Но Петя хохочетъ, и въ его хохотѣ я легко узнаю истерику. Начинаю возиться съ нимъ и бранюсь... что въ московскихъ номерахъ не имѣютъ привычки ставить на ночь воду.

1885.

БРАКЪ ЧЕРЕЗЪ 10 — 15 ЛѢТЪ.

На этомъ свѣтѣ все совершенствуется: шведскія спички, оперетки, локомотивы, вина Дебре и человѣческія отношенія. Совершенствуется и бракъ. Каковъ онъ былъ и каковъ теперь, вы знаете. Каковъ онъ будетъ лѣтъ черезъ 10 — 15, когда вырастутъ наши дѣти, угадать не трудно. Вотъ вамъ схема романовъ этого близкаго будущаго.

Въ гостиной сидитъ дѣвица лѣтъ 20 — 25. Одѣта она по послѣдней модѣ: сидитъ сразу на трехъ стульяхъ, при чемъ одинъ стулъ занимаетъ она сама, два другіе—ея турнюръ. На груди брошка, величиной съ добрую скворороду. Прическа, какъ и подобаетъ образованной дѣвицѣ, скромная: два-три пуда волосъ, зачесанныхъ кверху, и на волосахъ маленькая лѣстница для причесывающей горничной. Тутъ же на піанино лежитъ шляпа дѣвицы. На шляпѣ искусно сдѣлана индѣйка на яйцахъ въ натуральную величину.

Звонокъ. Входитъ молодой человѣкъ въ красномъ фракѣ, узкихъ брюкахъ и въ громадныхъ, похожихъ на лыжи, башмакахъ.

— Честь имѣю представиться, — говоритъ молодой человѣкъ, расшаркиваясь передъ дѣвицей: — помощникъ присяжнаго повѣреннаго Балалайкинъ!..

— Очень пріятно... Чѣмъ могу быть полезна?

— Меня направило къ вамъ «Общество заключенія счастливыхъ браковъ»...

— Очень пріятно... Садитесь!

Балалайкинъ садится и говорить :

— «Общество» указало мнѣ на нѣсколько невѣсть, по думаю, что ваши условія для меня будутъ самыми подходящими. Изъ этой вотъ записки, данной мнѣ секретаремъ «Общества», видно, что вы приносите съ собой мужу домъ на Плющихѣ, 40 тысячъ деньгами и тысячъ на пять движимаго имущества... Такъ ли это?

— Нѣтъ... За мною идетъ только 20.000, — кокетничаетъ дѣвица.

— Въ такомъ случаѣ, сударыня, виноватъ... извините за беспокойство... честь имѣю кланяться...

— Нѣтъ, нѣтъ... я пошутила! — смѣется дѣвица. — Въ вашей запискѣ все вѣрно... Деньги, домъ и движимое... Въ «Обществѣ» вамъ, конечно, говорили, что ремонтъ дома будетъ производиться на счетъ мужа... и... и... — я ужасно застѣнчива! — и деньги мужъ получаетъ не всѣ сразу, а съ разсрочкой на три года...

— Нѣтъ, сударыня, — вздыхаетъ Балалайкинъ: — нынче съ разсрочкой никто не женится! Если ужъ вы такъ настаиваете на разсрочкѣ, то извольте, я дамъ вамъ годъ...

Дѣвица и Балалайкинъ начинаютъ торговаться. Дѣвица въ концѣ концовъ сдается и довольствуется годомъ разсрочки.

— Теперь позвольте узнать ваши условія! — говорить она. — Вамъ сколько лѣтъ? Гдѣ служите?

— Собственно говоря, я не самъ женюсь, а хлопочу за своего кліента... Я коммисіонеръ...

— Но вѣдь я просила «Общество» не присылать ко мнѣ коммисіонеровъ! — обижается дѣвица.

— Вы, сударыня, не сердитесь... Кліентъ мой человѣкъ пожилой, страдающій ревматизмомъ, сырой... Ходить по невѣстамъ, хлопотать у него нѣтъ силъ, такъ что volens-nolens ему приходится дѣйствовать черезъ третье лицо. Но вы не беспокойтесь, я дорого не возьму...

— Условія вашего кліента?

— Мой кліентъ—мужчина 52 лѣтъ... Несмотря на такой возрастъ, онъ еще имѣетъ людей, которые даютъ ему займы. Такъ, у него два портныхъ, шьющихъ на него въ кредитъ. Въ лавочкахъ отпускаютъ ему по книжкѣ сколько угодно. Никто лучше его не можетъ уходить отъ извозчиковъ въ проходныя ворота и т. д. Не стану распространяться въ похвалахъ его дѣловитости, скажу

только для полной характеристики, что онъ ухитряется даже въ аптекѣ забирать въ кредитъ.

— Онъ только и живетъ займами?

— Займы — это его главное занятіе. Но, какъ натура широкая, не узкая, онъ не довольствуется одною только этою дѣятельностью... Безъ преувеличенія можно сказать, что лучше его никто не сбудетъ съ рукъ фальшиваго купона... Кромѣ того, онъ состоитъ опекуномъ своего племянника, что даетъ ему около трехъ тысячъ въ годъ... Далѣе, въ театрахъ онъ выдаетъ себя за рецензента и такимъ образомъ получаетъ отъ актеровъ безплатные ужины и контромарки... Два раза онъ судился за растрату и нынѣ еще подѣ судомъ за подлогъ...

— Развѣ еще существуетъ судъ?

— Да, какъ остатокъ еще не совсѣмъ отжившей, средневѣковой морали... Но можно надѣяться, сударыня, пройдетъ еще годъ-два, и культурный человѣкъ разстанется и съ этимъ устарѣвшимъ обрядомъ... Такъ какой отвѣтъ прикажете передать моему кліенту?

— Скажите, что я подумаю...

— О чемъ же думать, сударыня? Не смѣю совѣтовать вамъ, но, желая вамъ добра, не могу не выразить вамъ своего удивленія... Человѣкъ порядочный, блестящій во всѣхъ отношеніяхъ и... и вдругъ вы не соглашаетесь сразу, зная, какъ можетъ гибельна быть для васъ проволочка. Вѣдь пока вы будете думать, онъ войдетъ въ соглашеніе съ другой невѣстой!

— Это правда... Въ такомъ случаѣ, я согласна...

— Давно бы такъ! Позвольте получить съ васъ задатокъ?

Дѣвица даетъ комиссіонеру 10 — 20 рублей. Тотъ беретъ, расшаркивается и идетъ къ двери.

— А расписку? — останавливаетъ его дѣвица.

— Mille pardon, сударыня! Я совсѣмъ забылъ! Ха-ха...

Балалайкины пишутъ расписку, шаркаетъ еще разъ и уходитъ, дѣвица же закрываетъ лицо и падаетъ на диванъ.

— Какъ я счастлива! — восклицаетъ она, охваченная новымъ, невѣдомымъ ей доселѣ чувствомъ. — Какъ я счастлива! Я... люблю и любима!!

Конечъ... Такова свадьба близкаго будущаго. А давно ли, читатель, невѣсты ходили въ кринолинахъ, а женихи щеголяли въ полосатыхъ брюкахъ и во фракахъ съ искрой?

Давно ли женихъ, прежде чѣмъ влюбиться въ невѣсту, долженъ былъ переговорить съ ея палашей и мамашей?

Соловьи, розы, лунныя ночи, душистыя записочки, романсы... все это ушло далеко-далеко... Шептаться въ темныхъ аллеяхъ, страдать, жаждаъ перваго поцѣлуя и проч. теперь такъ же несвоевременно, какъ одѣваться въ латы и похищать сабинянокъ. Все совершенствуется!

1885.

ТРЯПКА.

(Сценка).

Былъ вечеръ. Секретарь провинціальной газеты «Гусиный Вѣстникъ», Пантелей Діомидычъ Кокинъ шелъ въ домъ фабриканта, коммерціи совѣтника Блудыхина, гдѣ въ этотъ вечеръ имѣлъ быть любительскій спектакль, а послѣ онаго танцы и ужинъ.

Секретарь былъ веселъ, счастливъ и доволенъ. Будущее представлялось ему блестящимъ... Онъ воображалъ, какъ онъ, пахнуцій духами, завитой и галантный, войдетъ въ большую освѣщенную залу. На лицо онъ напуститъ меланхолію и равнодушіе, въ походку и въ пожиманіе плечами вложитъ чувство собственнаго достоинства, говорить будетъ небрежно, нехотя, взгляду постарается придать выраженіе усталое, насмѣшливое; однимъ словомъ, будетъ держать себя, какъ представитель печати! Проходящіе мимо него кавалеры и барышни будутъ переглядываться и шептаться:

— Это изъ редакціи. Недуренъ!

Онъ въ «Гусиномъ Вѣстникѣ» только секретарь. Его дѣло не путать адреса, принимать подписку и глазѣть, чтобъ типографскіе не крали редакціоннаго сахара — только, но кому изъ публики извѣстенъ кругъ его дѣятельности? Разъ онъ изъ редакціи, стало-быть, онъ литераторъ, хранилище редакціонныхъ тайнъ. Боже, а какъ дѣйствуютъ на женщинъ редакціонныя тайны! Кокинъ, навѣрное встрѣтитъ на вечерѣ Клавдію Васильевну. Онъ будетъ норовить пройти мимо нея разъ пять и сдѣлать видъ, что не замѣчаетъ ея. Когда она выйдетъ изъ тер-

пѣнія и первая окликнетъ его, онъ небрежно поздороуется съ ней, слегка зѣвнетъ, взглянетъ на часы и скажетъ:

— Какая скука! Хоть бы скорѣй кончалась эта чепуха... Уже двѣнадцать часовъ, а мнѣ еще нужно номеръ выпустить и просмотрѣть кое-какія статьи...

Клавдія Васильевна поглядитъ на него съ благоговѣніемъ, снизу вверхъ, какъ глядятъ на монументы. Очень возможно, что она спроситъ, кто это въ послѣднемъ номерѣ помѣстилъ такое язвительное стихотвореніе про актрису Кишкину-Брандахлыцкую? Тогда онъ подниметъ глаза къ потолку, таинственно промычитъ и скажетъ: «Мда»... Пусть думаетъ она, что это онъ написалъ! За симъ танцы, ужинъ, выпивка... Послѣ выпивки блаженное настроеніе, провожаніе Клавдіи Васильевны до ея дома, и мечты, мечты... Конечно, все это суетно, мелко, но серьезно, но вѣдь молодость имѣетъ свои права, господи!

У освѣщеннаго подъѣзда Блудыхинскаго дома секретарь увидѣлъ два ряда экипажей. Двери отворялъ и заворачивалъ толстый швейцаръ съ булавой. Верхнее платье принимали лакеи, одѣтые въ синіе фраки и красныя жилетки. Антре было великолѣпное, съ цвѣтами, коврами и зеркалами. Секретарь небрежно сбросилъ на руки лакея свою шубу, провелъ рукой по волосамъ, поднялъ съ достоинствомъ голову...

— Изъ редакціи! — проговорилъ онъ, поровнявшись съ двумя лакеями, которые стояли на нижней ступени антре и отрывали углы у билетовъ...

— Нельзя! нельзя! Не пускать! — послышался въ это время сверху рѣзкій, металлическій голосъ. — Не пускать!

Кокинъ взглянулъ наверхъ. Тамъ на верхней ступени стоялъ толстый человѣкъ во фракѣ и глядѣлъ прямо на него. Будучи увѣренъ, что рѣзкій голосъ не къ нему относится, секретарь занесъ ногу на ступень, но въ это время къ ужасу своему замѣтилъ, что лакеи дѣлаютъ движеніе, чтобы загородить ему дорогу.

— Не пускать! — повторилъ толстякъ.

— То-есть... почему же меня не пускать? — обомлѣлъ Кокинъ. — Я изъ редакціи!

— Потому-то и не пускать, что изъ редакціи! — отвѣтилъ толстякъ, раскланиваясь съ какой-то дамой. — Нельзя!

Секретарь ошалѣлъ, точно его оглоблей по головѣ съѣздили. Прежде всего, онъ ужасно сконфузился. Какъ хотите, а густой запахъ виолей-де-пармъ, новыя перчатки и завитая голова плохо вяжутся съ унижительной ролью человѣка, котораго не пускаютъ и передъ которымъ лакеи растопыриваютъ руки, да еще при дамахъ, при прислугѣ! Кромѣ стыда, недоумѣнія и удивленія, секретарь почувствовалъ въ себѣ пустоту, разочарованіе, словно кто взялъ и отрѣзалъ въ немъ ножницами мечты о предстоящихъ радостяхъ. Такъ должны чувствовать себя люди, которые вмѣсто ожидаемой благодарности получаютъ подзатыльникъ.

— Я не понимаю... я изъ редакціи! — забормоталъ Кокинъ. — Пустите!

— Не вѣрно-съ! — сказалъ лакей. — Отойдите-съ отъ лѣстницы, вы проходите мѣшаете.

— Странно! — пробормоталъ секретарь, стараясь улыбнуться съ достоинствомъ. — Очень странно... Гм...

Мимо него съ веселымъ смѣхомъ и шурша модными платьями, одна за другой проходили барышни и дамы... То и дѣло хлопала дверь, пролеталъ по передней сквозной вѣтеръ, и на лѣстницу всходила новая партія гостей...

— Почему же это не вѣрно меня пускать? — недоумѣваетъ секретарь, все еще не придя въ себя отъ неожиданнаго реприманда и даже не вѣря своимъ глазамъ. — Тотъ толстый сказалъ, что потому-то и не пускать, что я изъ редакціи... Но почему же? Чортъ ихъ подери... Не дай Богъ, знакомые увидятъ, что я здѣсь мерзну, спросятъ, въ чемъ дѣло... срамъ!

Кокинъ сдѣлалъ еще разъ попытку ступить на лѣстницу, но его еще разъ осадили... Онъ пожалъ плечами, высморкался, подумалъ, опять подошелъ къ лакеямъ... его опять осадили. Наверху заигралъ оркестръ. У секретаря затрепетало подъ сердцемъ,хватило духъ отъ желанія поскорѣе очутиться въ большой залѣ, держать высоко голову, играть терпѣніемъ Клавдіи Васильевны. Музыка сразу воскресила и взбудоражила въ немъ мечты, которыми онъ услаждалъ себя, идя на вечеръ...

— Послушайте! — крикнулъ онъ толстяку, который то появлялся наверху, то исчезалъ. — Отчего меня не пускаютъ?

— Что-съ? Изъ редакціи вѣрно никого не пускать!

— Но... но почему же? Вы объясните по крайней мѣрѣ!

— Г. Блудыхинъ не велѣлъ! Не мое дѣло-съ! Мнѣ не велѣно, я и не пускаю!.. Позвольте пройти дамѣ! Ты же смотри, Андрей: изъ редакціи никого! Не велѣлъ хозяинъ!

Кокинъ пожалъ плечами и, чувствуя, какъ глупо и некстати это пожатіе, отошелъ отъ лѣстницы... Что дѣлать? Конечно, самое лучшее, что могъ сдѣлать въ данномъ случаѣ Кокинъ, это побѣжать скорѣе въ редакцію и сообщить редактору, что дуракъ Блудыхинъ сдѣлалъ такое-то распоряженіе. Редакторъ бы удивился, засмѣялся и сказалъ:

— Ну, не идиотъ ли? Нашелъ чѣмъ мстить за рецензіи! Не понимаетъ осель, что если мы ходимъ на его вечера, то этимъ самымъ не онъ намъ дѣлаетъ одолженіе, а мы ему! Ахъ, да и дуракъ же, Господи помилуй! Ну, погоди же, поднесу я тебѣ въ завтрашнемъ номерѣ гвоздику!

Такъ бы отнесся къ событію редакторъ... Ну, а дальше что? Дальше секретарь, какъ порядочный человѣкъ, долженъ былъ бы остаться дома и пренебречь Блудыхинымъ. Этого потребовали бы и его гордость и достоинство редакціи. Но, господа, все это хорошо въ теоріи, на практикѣ же, когда куплены новыя перчатки, заплачено цырюльнику за завивку, когда тамъ наверху ждали Клавдія Васильевна, закуска и выпивка, совсѣмъ не хорошо...

«Ждалъ этого вечера два мѣсяца, мечталъ, готовился! — думалъ Кокинъ. — Цѣлыхъ два мѣсяца ходилъ по городу, новаго сюртука искалъ... далъ слово Клавдіи и вдругъ... Нѣтъ, это невозможно! Тутъ недоразумѣніе какое-нибудь... Ей-Богу, недоразумѣніе! И въ редакцію не зачѣмъ ходить, сидѣть только съ распорядителемъ поговорить...» — Послушайте! — обратился Кокинъ къ толстяку: — вы позвольте мнѣ хоть наверхъ пойти... Въ залу я не войду, а поговорю только съ распорядителемъ или съ г. Блудыхинымъ!

— Идите, только знайте, что въ залу васъ ни за что не пустятъ!

«Боже мой! — думалъ Кокинъ, идя вверхъ по лѣстницѣ. — Эти двѣ дамы, что идутъ, слышали его слова... Срамъ! Стыдъ! Уйти бы мнѣ, ей-Богу...»

Наверху, около входа въ залу, стоялъ рыженькій распорядитель съ бантомъ на лацканѣ. Тутъ же за столи-

комъ сидѣла какая-то разодѣтая дама и продавала афишки.

— Скажите, пожалуйста, — обратился къ нимъ секретарь плачущимъ голосомъ: — отчего это распорядились не пускать никого изъ редакціи? За что?

— Сами вы, господа, виноваты! — отвѣчалъ рыженькій. — Вамъ почетные билеты посылають, васъ въ первый рядъ всегда сажаютъ, а вы пасквили пишете...

— Господи, да вѣдь... Послушайте...

Въ это время за дверью слышались громкіе аплодисменты и симпатичный голосъ княжны Рожкиной, пѣвшей «Я вновь предъ тобою»... У секретаря затрепетало подъ сердцемъ. Муки Тантала были ему не по силамъ.

— Какіе же пасквили? — обратился онъ къ дамѣ. — Положимъ, сударыня, въ газетѣ и были пасквили, но чѣмъ же я виноватъ? Виноватъ редакторъ, сотрудники, а я-то тутъ при чемъ? Я только секретарь... на манеръ бухгалтера. Я совсѣмъ не писатель... Ей-Богу, я не писатель! Послушайте, я даже честное слово даю, что я не писатель!

— Мы ничего для васъ не можемъ сдѣлать, — вздохнула дама. — Это приказаніе самого Блудыхина... Впрочемъ... вы можете купить билетъ!

«Чортъ возьми, какъ же мнѣ это раньше не пришло въ голову?» — подумалъ Кокинъ и тотчасъ же вспомнилъ, что у него въ карманѣ только сорокъ копеекъ, взятые имъ на случай, ежели Клавдія Васильевна захочетъ, чтобъ ее провожали на извозникѣ. — Въ такомъ случаѣ я поговорю съ Блудыхинымъ! — сказалъ онъ.

— Подождите антракта...

Кокинъ сталъ ждать... За дверью трещали аплодисменты, пѣли знакомые женскіе голоса, смѣялись... Тамъ кипѣла жизнь! А бѣдный секретарь стоялъ передъ дверью въ позѣ кающагося грѣшника, а la Генрихъ въ Каноссѣ, и глядѣлъ на дверь, какъ лошадь, которая чувствуетъ близко присутствіе овса, но не видитъ его... Долго онъ ждалъ антракта, но наконецъ за дверью задвигались стулья, зашумѣли, заговорили; распахнулась дверь, и въ коридоръ повалила публика.

«А вѣдь счастье было такъ близко, такъ возможно!» — подумалъ секретарь, заглянувъ въ открывшуюся дверь. — Нѣтъ, я не могу даже допустить мысли, что меня не пустятъ»...

Скоро показался самъ Блудыхинъ, розовый, сіяющій... Кокинъ заходилъ около него, долго не рѣшался заговорить съ нимъ и наконецъ рѣшился...

— Виновать-съ... я побезпокою васъ... Вы, Анисимъ Ивановичъ, приказали никого не впускать изъ редакціи...

— Да, такъ что же?

— Я и пришелъ вотъ... Но я не понимаю! Вы согласитесь сами! Чѣмъ я виноватъ? Редакторы или сотрудники виноваты, ихъ и не пускайте, но я... честное слово, не писатель!..

— Ааа... вы, стало-быть, изъ редакціи? — спросилъ Блудыхинъ, растопыривая ноги въ видѣ буквы А и закидывая назадъ голову. — Вы, конечно, въ претензіи? Но послушайте! Пусть будетъ свидѣтельницей публика! Господа публика, будьте судьями! Вотъ господинъ корреспондентъ на меня въ претензіи за то, такъ сказать, что я... эээ... нѣкоторымъ образомъ выказалъ протестъ... Взглядъ мой на печать, надѣюсь, извѣстенъ. Я всегда за печать! Но, господа... (Блудыхинъ состроилъ умоляющее лицо) Господа, надо же имѣть границы! Ругайте вы актеровъ, пьесу, обстановку, но зачѣмъ писать несообразности? Зачѣмъ? Въ послѣднемъ номерѣ вашей газеты была великолѣпная статья... вели-ко-лѣпная! Но, описывая живую картину «Юдишь и Олофернъ», въ которой участвовала моя дочь, онъ... Богъ знаетъ что! Мечъ, говоритъ, который держала въ рукахъ Юдишь, такъ, говоритъ, длиненъ, что имъ можно зарѣзать только издали, или же взлѣзши на крышу... При чемъ тутъ крыша? Моя дочь прочла и... заплакала! Это, господа, не критика! Нѣтъ-съ, это не критика! Это личности! Придрался человѣкъ къ мечу, просто чтобъ насолить мнѣ...

— Я... я съ вами согласенъ! — залепеталъ Кокинъ, чувствуя на себѣ сотни глазъ. — Я самъ всегда противъ ругательствъ... Но, ей-Богу... ну при чемъ тутъ я? Я, честное слово, не писатель! Я секретарь... Я вамъ даже больше скажу, но... между нами, конечно... статью эту писалъ самъ редакторъ... («Къ чему я, скотина, это говорю?» — подумалъ Кокинъ). Но онъ хорошій... честный человѣкъ. Если и написалъ что-нибудь этакое, то нечаянно... по легкомыслію...

Овечій тонъ секретаря умилилъ Блудыхина. Коммерціи совѣтникъ взялъ за пуговицу Кокина и принялся снова выкладывать передъ нимъ свой взглядъ на печать. Въ

груди секретаря закопошилась сразу тысяча чувствъ. Ему было лестно, что съ нимъ откровенничаетъ такая важная птица, какъ Блудыхинъ; онъ чувствовалъ, что его сейчасъ, навѣрное, впустятъ въ залу, что недоразумѣнїе уже кончено, что онъ опять можетъ мечтать... но въ то же время ему было страшно совѣстно, гнусно, мерзко... Онъ чувствовалъ, что, благодаря своей тряпичности, предалъ себя, редактора, «Гусиный Вѣстникъ», предалъ публично, при знакомыхъ, какъ самый послѣдній Іуда! Ему бы нужно было наплевать, выругаться, посмѣяться, а онъ просилъ, унижался, чуть ли не плакалъ... Ахъ!

Блудыхинъ говорилъ, говорилъ. Порисовавшись и поломавшись вдоволь, онъ уже взялъ секретаря подъ руку, и уже секретарь былъ у входа въ Эдемъ, какъ послышался крикъ:

— Анисимъ Ивановичъ! Генералъ прїѣхалъ!

Блудыхинъ встрепенулся и, оставивъ Кокина, опрометью полетѣлъ внизъ по лѣстницѣ. Секретарь постоялъ немного, походилъ, поправилъ галстукъ. Онъ ужъ ничего не ждалъ, не желалъ. Когда началось второе дѣйствїе и онъ подошелъ къ двери, распорядитель не нустилъ его.

— Блудыхинъ намъ ничего не сказалъ. Нельзя!

Черезъ десять минутъ секретарь скребъ своими большими калошами мерзлую землю. Онъ шелъ домой, но лучше, если бы онъ шелъ въ прорубь! Ему было стыдно, противно. Противны были ему и его запахъ духовъ, и новыя перчатки, и завитая голова. Такъ бы онъ и ударилъ себя по этой головѣ.

1885.

СВЯТАЯ ПРОСТОТА.

(Разсказъ).

Къ отцу Саввѣ Жезлову, престарѣлому настоятелю Свято-Троицкой церкви въ городѣ П., неожиданно-негаданно прикатилъ изъ Москвы сынъ его Александръ, извѣстный московскій адвокатъ. Вдовый и одинокій старикъ, узрѣвъ свое единственное дѣтище, котораго онъ не видалъ лѣтъ 12—15, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ проводилъ его въ университетъ, поблѣднѣлъ, затрясся всѣмъ тѣломъ и окаменѣлъ. Радостямъ и восторгамъ конца не было.

Вечеромъ въ день пріѣзда отецъ и сынъ бесѣдовали. Адвокатъ ѣлъ, пилъ и умилялся.

— А у тебя здѣсь хорошо, мило! — восторгался онъ, ерзая на стулѣ. — Уютно, тепло, и пахнетъ чѣмъ-то этакимъ патріархальнымъ. Ей-Богу, хорошо!

Отецъ Савва, заложивъ руки назадъ и видимо ломаясь передъ старухой-кухаркой, что у него такой взрослый и галантный сынъ, ходилъ около стола и старался въ угоду гостю настроить себя на «ученый» ладъ.

— Такіе-то, братъ, факты... — говорилъ онъ. — Вышло именно такъ, какъ я желалъ въ сердцѣ своемъ: и ты и я — оба по образованной части пошли. Ты вотъ въ университетѣ, а я въ кievской академіи кончилъ, да... По одной стезѣ, стало-быть. Понимаемъ другъ друга... Только вотъ не знаю, какъ нынче въ академіяхъ. Въ мое время сильно на классицизмъ налегали и даже древне-еврейскій языкъ учили. А теперь?

— Не знаю. А у тебя, батя, бѣдовая стерлядь. Уже сытъ, но еще съѣмъ.

— Ышь. Ышь. Тебѣ нужно больше ѣсть, потому что

у тебя трудъ умственный, а не физическій... гм... не физическій... Ты университетъ, головой работаешь. Долго гостить будешь?

— Я не гостить приѣхалъ. Я, батя, къ тебѣ случайно, на манеръ *deus ex machina*. Приѣхалъ сюда на гастроли, вашего бывшего городского голову защищать. Вѣроятно, знаешь, завтра у васъ судъ будетъ.

— Такъ-съ... Стало-быть, ты по судебной части? Юриспрудентъ?

— Да, я присяжный повѣренный.

— Такъ... Помогай Богъ. Чинъ у тебя какой?

— Ей-Богу, не знаю, батя.

«Спросить бы о жалованіи, — подумалъ отецъ Савва:— но по-ихнему это вопросъ нескромный. Судя по одеждѣ и въ разсужденіи золотыхъ часовъ, должно полагать, больше тысячи получаетъ».

Старикъ и адвокатъ помолчали.

— Не зналъ я, что у тебя стерляди такія, а то бы я къ тебѣ въ прошломъ году приѣхалъ, — сказалъ сынъ. — Въ прошломъ году я тутъ недалеко былъ, въ вашемъ губернскомъ городѣ. Смѣшные у васъ тутъ города.

— Именно, смѣшные... хоть плюнь! — согласился отецъ Савва. — Чтò подѣлаешь! Далеко отъ умственныхъ центровъ... предрасудки. Не проникла еще цивилизація...

— Не въ томъ дѣло... Ты послушай, какой анекдотъ со мной вышелъ. Захожу я въ вашемъ губернскомъ городѣ въ театръ, иду въ кассу за билетомъ, а миѣ и говорятъ: спектакля не будетъ, потому что еще ни одного билета не продано! А я и спрашиваю: какъ великъ вашъ полный сборъ? Говорятъ, триста рублей! Скажите, говорю, чтобъ играли, я плачу триста... Заплатилъ отъ скуки триста рублей, а какъ сталъ глядѣть ихъ раздражительную драму, то еще скучнѣе стало... Ха-ха...

Отецъ Савва недоувѣрчиво поглядѣлъ на сына, поглядѣлъ на кухарку и хихикнулъ въ кулакъ...

«Вотъ вретъ-то!» — подумалъ онъ. — Гдѣ же ты, Шуренька, взялъ эти триста рублей? — спросилъ онъ робко.

— Какъ гдѣ взялъ? Изъ своего кармана, конечно...

— Гм... Сколько же ты, извини за нескромный вопросъ, жалованья получаешь?

— Какъ когда... Въ иной годъ тысячъ тридцать зарабатую, а въ иной и двадцати не наберется... Годы разные бываютъ.

«Вотъ вретъ-то! Хо-хо-хо! Вотъ вретъ! — подумалъ отецъ Савва, хохоча и любовно глядя на посоловѣвшее лицо сына. — Брехлива молодость! Хо-хо-хо... Хватиль — тридцать тысячъ!» — Невѣроятно, Сашенька! — сказалъ онъ. — Извини, но... хо-хо-хо... тридцать тысячъ! За эти деньги два дома построить можно...

— Не вѣришь?

— Не то, что не вѣрю, а такъ... какъ бы такъ выразиться... ты ужъ больно тово... Хо-хо-хо... Ну, ежели ты такъ много получаешь, то куда же ты деньги дѣваешь?

— Проживаю, батя... Въ столицѣ, братъ, кусается жизнь. Здѣсь нужно тысячу прожить, а тамъ пять. Лошадей держу, въ карты играю... покучиваю иногда.

— Это такъ... А ты бы копилъ!

— Нельзя... Не такіе у меня нервы, чтобъ копить... (адвокатъ вздохнулъ). Ничего съ собой не подѣлаю. Въ прошломъ году купилъ я себѣ на Полянкѣ домъ за шестьдесятъ тысячъ. Все-таки подмога къ старости! И что жъ ты думаешь? Не прошло и двухъ мѣсяцевъ послѣ покупки, какъ пришлось заложить. Заложилъ и всѣ денежки — фюйты! Свое въ карты проигралъ, овое пропилъ.

— Хо-хо-хо! Вотъ вретъ-то! — взвизгнулъ старикъ. — Занятно вретъ!

— Не вру я, батя.

— Да нешто можно домъ проитрать или прокутить?

— Можно не то, что домъ, но и земной шаръ пропить. Завтра я съ вашего головы пять тысячъ сдеру, чувствую, что не довезти мнѣ ихъ до Москвы. Такая у меня планида.

— Не планида, а планета, — поправилъ отецъ Савва, кашлянувъ и съ достоинствомъ поглядѣвъ на старуху-кухарку. — Извини, Шуренька, но я сомнѣваюсь въ твоихъ словахъ. За что же ты получаешь такія суммы?

— За талантъ...

— Гм... Можетъ, тысячи три и получаешь, а чтобъ тридцать тысячъ, или, скажемъ, дома покупать, извини... сомнѣваюсь. Но оставимъ эти пререканія. Теперь скажи мнѣ, какъ у васъ въ Москвѣ? Чай, весело? Знакомыхъ у тебя много?

— Очень много. Вся Москва меня знаетъ.

— Хо-хо-хо! Вотъ вретъ-то! Хо-хо-хо! Чудеса и чудеса, братъ, ты рассказываешь.

Долго еще въ такомъ родѣ бесѣдовали отецъ и сынъ.

Адвокатъ разсказалъ еще про свою женитьбу съ сорока-тысячнымъ приданымъ, описалъ свои поѣздки въ Нижний, свой разводъ, который стоилъ ему десять тысячъ. Старикъ слушалъ, всплескивалъ руками, хохоталъ.

— Вотъ вретъ-то! Хо-хо-хо! Не зналъ я, Шуренька, что ты такой мастеръ балясы точить! Хо-хо-хо! Это я тебѣ не въ осужденіе. Миѣ занятно тебя слушать. Говори, говори.

— Но однако я заболтался, — кончилъ адвокатъ, вставая изъ-за стола. — Завтра разбирательство, а я еще дѣла не читалъ. Прощай.

Проводивъ сына въ свою спальню, отецъ Савва предался восторгамъ.

— Каковъ, а? Видали? — зашенталъ онъ кухаркѣ. — То-то вотъ и есть... Университантъ, гуманный, эмансипе, а не устыдился старика посѣтить. Забылъ отца и вдругъ вспомнилъ. Взялъ да и вспомнилъ. Дай, подумалъ, своего стараго хрѣна вспомню! Хо-хо-хо. Хорошій сынъ! Добрый сынъ! И ты замѣтила? Онъ со мной, какъ съ ровней... своего брата ученаго во миѣ видитъ. Понимаетъ, стало-быть. Жалко, дьякона мы не позвали, поглядѣлъ бы.

Изливши свою душу передъ старухой, отецъ Савва на цыпочкахъ подошелъ къ своей спальней и заглянулъ въ замочную скважину. Адвокатъ лежалъ на постели и, дымя сигарой, читалъ объемистую тетрадь. Возлѣ него на столѣ стояла винная бутылка, которой раньше отецъ Савва не видѣлъ.

— Я на минуточку... поглядѣть, удобно ли, — забормоталъ старикъ, входя къ сыну. — Удобно? Мягко? Да ты бы раздѣлся.

Адвокатъ промычалъ и нахмурился. Отецъ Савва сѣлъ у его ногъ и задумался.

— Такъ-съ... — началъ онъ послѣ пѣкотораго молчанія. — Я все про твои разговоры думаю. Съ одной стороны, благодарю за то, что повеселилъ старика, съ другой же стороны, какъ отецъ и... и образованный человекъ, не могу умолчать и воздержаться отъ замѣчанія. Ты, я знаю, шутилъ за ужиномъ, но вѣдь, знаешь, какъ вѣра, такъ и наука осудили ложъ даже въ шутку. Кѣм... Кашель у меня. Кѣм... Извини, но я какъ отецъ. Это у тебя откуда же вино?

— Это я съ собой привезъ. Хочешь? Вино хорошее, восемь рублей бутылка.

— Во-семь? Вотъ вретъ-то! — всплеснулъ руками отецъ Савва.—Хо-хо-хо! Да за что тутъ восемь рублей платить? Хо-хо-хо! Я тебѣ самага наилучшаго вина за рубль куплю. Хо-хо-хо!

— Ну, маршируй, старче, ты мнѣ мѣшаешь... Айда! Старикъ, хихикая и всплескивая руками, вышелъ и тихо затворилъ за собою дверь. Въ полночь, прочитавъ «правила» и заказавъ старухѣ завтрашній обѣдъ, отецъ Савва еще разъ заглянулъ въ комнату сына.

Сынъ продолжалъ читать, пить и дымить.

— Спать пора... раздѣвайся и туши свѣчку... — сказалъ старикъ, внося въ комнату сына запахъ ладана и свѣчной гари. — Уже двѣнадцать часовъ... Ты это вторую бутылку? Ого!

— Безъ вина нельзя, батя... Не возбудишь себя, дѣла не сдѣлаешь.

Савва сѣлъ на кровать, помолчалъ и началъ:

— Такая, братъ, исторія... Мда... Не знаю, буду ли живъ, увижу ли тебя еще разъ, а потому лучше, ежели сегодня преподамъ тебѣ завѣтъ мой... Видишь ли... За все время сорокалѣтняго служенія моего скопилъ я тебѣ полторы тысячи денегъ. Когда умру, возьми ихъ, но...

Отецъ Савва торжественно высморкался и продолжалъ:

— Но не транжирь ихъ и храни... И, прошу тебя, послѣ моей смерти пошли племянницѣ Варенькѣ сто рублей. Если не пожалѣешь, то и Зинаидѣ рублей 20 пошли. Онѣ сироты.

— Ты имъ пошли всѣ полторы тысячи... Онѣ мнѣ не нужны, батя...

— Врешь?

— Серьезно... Все равно растрянжирю...

— Гм... Въдѣ я ихъ копилъ! — обидѣлся Савва. — Каждую копейку для тебя складывалъ...

— Изволь, подѣ стекло я положу твои деньги, какъ знакъ родительской любви, но такъ онѣ мнѣ не нужны... Полторы тысячи — фи!

— Ну, какъ знаешь... Зналъ бы я, не хранилъ, не лелѣялъ... Сп!

Отецъ Савва перекрестилъ адвоката и вышелъ. Онъ былъ слегка обиженъ... Небрежное, безразличное отношеніе сына къ его сорокалѣтнимъ сбереженіямъ его сконфузило. Но чувство обиды и конфуза скоро прошло... Старика опять потянуло къ сыну поболтать, пого-

ворить «по-ученому», вспомнить былое, но уже не хватило смѣлости обезпokoить знатнаго адвоката. Онъ ходилъ-ходилъ по темнымъ комнатамъ, думалъ-думалъ и пошелъ въ переднюю поглядѣть на шубу сына. Не помня себя отъ родительскаго восторга, онъ охватилъ обѣими руками шубу и принялся обнимать ее, цѣловать, крестить, словно это была не шуба, а самъ сынъ, «университантъ»... Спать онъ не могъ.

1885.

ЦИНИКЪ.

(СЦЕНА).

Полдень. Управляющій «звѣринца братьевъ Пихнау», отставной портупей-юнкеръ Егоръ Сюсинъ, здоровеннѣйшій парень съ обрюзглымъ, испитымъ лицомъ, въ грязной сорочкѣ и въ засаленномъ фракѣ, уже пьянъ. Передъ публикой вертится онъ, какъ чортъ передъ заутреней: бѣгаетъ, изгибается, хихикаетъ, играетъ глазами и словно кокетничаетъ своими угловатыми манерами и разстегнутыми пуговками. Когда его большая, стриженная голова бываетъ наполнена винными парами, публика любитъ его. Въ это время онъ «объясняетъ» звѣрей не просто, а по-новому, ему одному только принадлежащему способу.

— Какъ объяснять?—спрашиваетъ онъ публику, подмигивая глазомъ. — Просто, или съ психологіей и тенденціей?

— Съ психологіей и тенденціей!

— Вепе! Начинаю! Африканскій левъ!—говоритъ онъ, покачиваясь и насмѣшливо глядя на льва, сидящаго въ углу клѣтки и кротко мигающаго глазами. —Синонимъ могущества, соединеннаго съ граціей, краса и гордость фауны! Когда-то, въ дни молодости, плѣнялъ своею мощью и ревомъ наводилъ ужасъ на окрестности, а теперь... хо-хо-хо... а теперь, болванъ этакій, сидитъ въ клѣткѣ... Что, братецъ-левъ? Сидишь? Философствуешь? А небось,

какъ по лѣсамъ рыскалъ, такъ куда тебѣ! Думалъ, что сильнѣе и звѣря нѣтъ, что и чортъ тебѣ не братъ,—анъ и вышло, что дура-судьба сильнѣе... хоть и дура она, а сильнѣе... Хо-хо-хо!.. Ишь вѣдь куда черти занесли изъ Африки! Чай, и не снилось, что сюда попадешь! Меня тоже, братецъ ты мой, ухъ какъ черти носили! Былъ я и въ гимназiи, и въ канцелярiи, и въ землемѣрахъ, и на телеграфѣ, и на военной, и на макаронной фабрикѣ... и чортъ меня знаетъ, гдѣ я только ни былъ! Въ концѣ концовъ въ звѣринецъ попалъ... въ вонь... Хо-хо-хо!

И публика, зараженная искреннимъ смѣхомъ пьянаго Сюсина, сама гогочетъ.

— Чай, хочется на свободу!—мигаетъ глазомъ на льва малый, пахнуцій краской и покрытый разноцвѣтными жирными пятнами.

— Куда ему! Выпусти его, такъ онъ опять въ клѣтку придетъ. Примирился! Хо-хо-хо!.. Помирать, левъ, пора, вотъ что! Что ужъ тутъ, братъ, тово... канителить? Взялъ бы да издохъ! Ждать вѣдь нечего! Что глядишь? Вѣрно говорю!

Сюсинъ подводитъ публику къ слѣдующей клѣткѣ, гдѣ мечется и бьется о рѣшетки дикая кошка.

— Дикая кошка! Прародитель нашихъ васекъ и марусекъ! Еще и трехъ мѣсяцевъ нѣтъ, какъ поймана и посажена въ клѣтку. Шипитъ, мечется, сверкаетъ глазами, не позволяетъ подойти близко. День и ночь царапаетъ рѣшетку: выхода ищетъ! Милліонъ, полжизни, дѣтей отдала бы теперь, чтобы только домой попасть. Хо-хо-хо! Ну, что мечешься, дура? Что снуешь? Вѣдь не выйдешь отсюда! Издохнешь, не выйдешь! Да еще привыкнешь, примиришься! Мало того, что привыкнешь, но еще намъ, мучителямъ твоимъ, руки лизать будешь! Хо-хо-хо! Тутъ, братъ, тотъ же дантовскiй адъ: оставьте всякую надежду.

Цинизмъ Сюсина начинается мало-по-малу раздражать публику.

— Не понимаю, что тутъ смѣшного!—замѣчаетъ чей-то бабъ.

— Скалитъ зубы и самъ не знаетъ, съ какой радости...—говоритъ красильщикъ.

— Это обезьяна!—продолжаетъ Сюсинъ, подходя къ слѣдующей клѣткѣ.—Дрянь животное! Знаю, что вотъ ненавидитъ насъ, рада бы, кажется, въ клочки изорвать,

а улыбается, лижетъ руку! Холуйская натура! Хо-хо-хо... За кусочекъ сахара своему мучителю и въ ножки поклонится и шута разыграетъ... Не люблю такихъ! А вотъ это, рекомендую, газель!—говорить Сюсинъ, подводя публику къ клѣткѣ, гдѣ сидитъ маленькая, тощая газель съ большими, заплаканными глазами.—Эта уже готова! Не успѣла попасть въ клѣтку, какъ уже готова развязка: въ послѣднемъ градусѣ чахотки! Хо-хо-хо! Поглядите: глаза совсѣмъ человѣчьи—плачутъ! Оно и понятно. Молодая, красивая... жить хочется! Ей бы теперь на волѣ скакать да съ красавцами нюхаться, а она тутъ на грязной соломѣ, гдѣ воняетъ псиной да конюшней. Странно: умираетъ, а въ глазахъ все-таки надежда! Что значитъ молодость, а? Потѣха съ вами, съ молодыми! Это ты напрасно надѣешься, матушка! Такъ со своей надеждой и протянешь ножки! Хо-хо-хо!

— Ты, братъ, тово... не донимай ее словами...—говорить красильщикъ, хмурясь.—Жутко!

Публика уже не смѣется. Хохоchetъ и фыркаетъ одинъ только Сюсинъ. Чѣмъ угрюмѣе становится публика, тѣмъ громче и рѣзче его смѣхъ. И всѣ почему-то начинаютъ замѣчать, что онъ безобразенъ, грязенъ, циниченъ, во всѣхъ глазахъ появляется ненависть, злоба.

— А вотъ это самъ журавль!—не унимается Сюсинъ, подходя къ журавлю, стоящему около одной изъ клѣтокъ.—Родился въ Россіи, бывалъ перелетомъ на Нилѣ; гдѣ съ крокодилами и тиграми разговаривалъ. Прошлое самое блестящее... Глядите: задумался, сосредоточенъ! Такъ занятъ мыслями, что ничего не замѣчаетъ... Мечты, мечты! Хо-хо-хо... «Вотъ, думаетъ, продолблю всѣмъ головы, вылечу въ окошко и—айда въ синеву, въ лазурь небесную! А въ синевѣ-то теперь вереницы журавлей въ теплые края летятъ и крл... крл... крл...» О, глядите, перья дыбомъ стали! Это значитъ, въ самый разгаръ мечтаній вспомнилъ, что у него крылья подрѣзаны, и... ужасъ охватилъ его, отчаяніе. Хо-хо-хо... Натура непримиримая. Вѣчно такъ перья будутъ дыбомъ торчать, до самой дохлой смерти. Непримирымый, гордый! А намъ, тре-журавле, плевать на то, что ты непримиримый! Ты гордый, непримиримый, а я вотъ захочу и поведу тебя при публикѣ за носъ. Хо-хо-хо!

Сюсинъ беретъ журавля за клювъ и ведетъ его.

— Не издѣваться!—слышатся голоса. — Оставить!

Чортъ знаетъ что! Гдѣ хозяинъ? Какъ это позволяютъ пьяному... мучить животныхъ?

— Хо-хо-хо... Да чѣмъ же я ихъ мучу?..

— Тѣмъ... вотъ этимъ, разными этими шутками... Не надо!

— Да вѣдь вы сами просили, чтобъ я съ психологіей! Хо-хо-хо!

Публика вспоминаетъ, что только за «психологіей» и пришла она въ звѣринецъ, что она съ нетерпѣніемъ ждала, когда выйдетъ изъ своей каморки пьяный Сюсинъ и начнетъ объясненія, и, чтобы хоть чѣмъ-нибудь мотивировать свою злобу, она начинаетъ придирается къ плохой кормежкѣ, тѣснотѣ клѣтокъ и проч.

— Мы ихъ кормимъ,—говоритъ Сюсинъ, насмѣшливо шуря глаза на публику. — Даже сейчасъ будетъ кормленіе... помилуйте!

Пожавъ плечами, онъ лѣзетъ подъ прилавокъ и достаетъ изъ нагрѣтыхъ одѣялъ маленькаго удава.

— Мы ихъ кормимъ... нельзя! Тѣ же актеры: не корми, околѣютъ! Господинъ кроликъ, вене иси! Пожалуйте!

На сцену появляется бѣлый, красноглазый кроликъ.

— Мое почтеніе-съ!—говоритъ Сюсинъ, жестикулируя передъ его мордочкой пальцами.—Честь имѣю представиться! Рекомендую господина удава, который желаетъ васъ скушать! Хо-хо-хо! Непріятно, братъ? Морщишься? Что жъ, ничего не подѣлаешь! Не моя тутъ вина! Не сегодня, такъ завтра... не я, такъ другой... все равно. Философія, братъ кроликъ! Сейчасъ вотъ ты живъ, воздухъ нюхаешь, мыслишь, а черезъ минуту ты—безформенная масса! Пожалуйте. А жизнь, братъ, такъ хороша! Боже, какъ хороша!

— Не нужно кормленія!—слышатся голоса.—Довольно! Не надо!

— Обидно!—продолжаетъ Сюсинъ, какъ бы не слыша ропота публики.—Личность, индивидуумъ, дѣлая жизнь... имѣетъ самочку, дѣточекъ и... и вдругъ сейчасъ — гамъ! Пожалуйте! Какъ ни жаль, но что дѣлать!

Сюсинъ беретъ кролика и со смѣхомъ ставитъ его противъ пасти удава. Но не успѣваетъ кроликъ окаменѣть отъ ужаса, какъ его хватаютъ десятки рукъ. Слышны восклицанія публики по адресу общества покровительства животныхъ. Галдятъ, машутъ руками, стучать. Сюсинъ со смѣхомъ убѣгаетъ въ свою каморку.

Публика выходитъ изъ звѣринца злая. Ее тошнить, какъ отъ проглоченной мухи. Но проходитъ день-другой, и успокоенныхъ завсегдатаевъ звѣринца начинаетъ потягивать къ Сюсину, какъ къ водкѣ или табаку. Имъ опять хочется его задираательнаго, дерущаго холодомъ вдоль спины цинизма.

1885.

MARI D'ELLE.

Подпраздничная ночь. Опереточная пѣвица Наталья Андреевна Бронина, по мужу Никитина, лежитъ у себя въ спальнѣ и всѣмъ своимъ существомъ предается отдыху. Она сладко дремлетъ и думаетъ о своей маленькой дочери, живущей гдѣ-то далеко у бабушки или тетюшки... Эта дѣвочка для нея дороже публики, букетовъ, рецензій, поклонниковъ... и она рада думать о ней до самаго утра. Она счастлива, покойна и жаждетъ только одного: чтобы ей не помѣшали безмятежно валяться, дремать, мечтать о дочкѣ.

Вдругъ пѣвица вздрагиваетъ и широко открываетъ глаза: въ передней раздается рѣзкій, отрывистый звонокъ. Не проходитъ и десяти секундъ, какъ дребезжитъ другой звонокъ, третій. Отворяется шумно дверь, и въ переднюю, стуча ногами, какъ лошадь, отдуваясь отъ холода и фыркая, кто-то входитъ.

— Чортъ возьми, некуда шубу повѣсить! — слышитъ артистка хриплый басъ. — Извѣстная артистка, посмотришь! Получаетъ пять тысячъ въ годъ, а не можетъ себѣ порядочной вѣшалки завести!

«Мужъ!.. — морщится пѣвица. — И, кажется, привелъ съ собой ночевать одного изъ своихъ пріятелей... Противно!»

Пропасть покой. Когда въ передней утихаютъ громкое сморканье и установка калошъ, пѣвица слышитъ въ своей спальнѣ осторожные шаги... Это вошелъ ея мужъ, mari d'elle, Денисъ Петровичъ Никитинъ. Отъ него несетъ холодомъ и запахомъ коньяку. Онъ долго ходитъ по спальнѣ, тяжело дышитъ и, натыкаясь въ потемкахъ на стулья, чего-то ищетъ...

— Ну, чего тебѣ?—стонетъ шѣвица, когда ей надоѣдаетъ его возня. — Ты меня разбудилъ.

— Я, душенька, спички ищу. Ты... ты, стало-быть, не спишь? А я тебѣ поклонъ принесъ. Клапается тебѣ этотъ... какъ его?... рыжій, что постоянно тебѣ букеты подносить. Загвоздкинъ... Сейчасъ только-что у него былъ.

— Зачѣмъ ты у него былъ?

— Да такъ... Посидѣли, потолковали... выпили. Какъ хочешь, Натали, а не нравится мнѣ этотъ субъектъ. Ужасно не нравится! Такой болванъ, какихъ мало. Богачъ, капиталистъ, тысячь шестьсотъ имѣетъ, а нисколько въ немъ этого незамѣтно. Для него деньги, что псу рѣдька. И самъ не трескается и другимъ не даетъ. Надо капиталъ въ оборотъ пускать, а онъ за него держится, разстаться съ нимъ боится... А что толку въ лежащемъ капиталѣ? Лежачій капиталъ—это та же трава.

Mari d'elle нащупываетъ край кровати и, отдуваясь, садится у ногъ жены.

— Лежачій капиталъ — это вредъ... — продолжаетъ онъ. — Почему въ Россіи дѣла хуже пошли? А потому, что у насъ лежачихъ капиталовъ много, кредита бояться... Не то, что въ Англіи... Въ Англіи, братъ, нѣтъ такихъ гусей, какъ Загвоздкинъ... Тамъ каждая копейка въ оборотъ пускается... Да... Въ сундукахъ тамъ не держатъ...

— Ну, и отлично. Я спать хочу.

— Я сейчасъ... О чемъ, бишь, я? Да... По нынѣшнимъ временамъ Загвоздкина повѣсить мало... Подлецъ и дуракъ... Дуракъ и больше ничего. Ежели бъ я безъ ручательства просилъ бы у него взаймы, а то вѣдь и ребенку видно, что тутъ никакого риска нѣтъ. Не понимаетъ оселъ! За десять тысячъ онъ сто бы получилъ. Черезъ годъ бы у него еще сто тысячъ было! Просилъ, толковалъ... такъ и не далъ, болванъ!

— Надѣюсь, что ты не отъ моего имени у него взаймы просилъ!

— Гм... Станный вопросъ... — обижается mari d'elle. — Во всякомъ случаѣ онъ мнѣ бы скорѣй далъ десять тысячъ, чѣмъ тебѣ. Ты женщина, а я все-таки мужчина, дѣловой человѣкъ. А какой проектъ я ему предлагалъ! Не воздушные шары, не химеры какія-нибудь, а дѣло, суть! Ежели на понимающаго человѣка наскочить, такъ за одну идею могутъ тысячъ двадцать дать! Ты даже поймешь, ежели тебѣ рассказать, въ чемъ дѣло. Только ты тово... не

разболтай... ни-ни... Да я, кажется, уже говорилъ тебѣ. Говорилъ я тебѣ про кишки?

— Мм... послѣ...

— Говорилъ, кажется... Понимаешь, въ чемъ дѣло? Теперь гастрономическіе магазины и колбасники получаютъ кишки на мѣстѣ и за дорогую цѣну. Ну-съ, а ежели привозить сюда кишки съ Кавказа, гдѣ онѣ ни по чемъ, выбрасываются, то... какъ по-твоему? у кого колбасники будутъ покупать кишки: здѣсь въ бойняхъ или у меня? Конечно, у меня! Вѣдь я буду продавать въ десять разъ дешевле! Теперь станемъ такъ разсуждать: ежегодно въ столицахъ и въ центрахъ покупается этихъ самыхъ кишекъ на... положимъ, на пятьсотъ тысячъ. Это минимумъ. Ну-съ, а ежели...

— Завтра расскажешь... Послѣ...

— Да, правда... Тебѣ спать хочется, pardon... Сейчасъ уйду... Что ни говори, а съ капиталомъ, куда ни сунься, вездѣ дѣло можно сдѣлать... Съ капиталомъ даже на окуркахъ можно миллионъ нажить... Взять хоть ваше театральное дѣло. Почему, напримѣръ, Лентовскій прогорѣлъ? Очень просто! Съ самаго начала не такъ дѣло повелъ. Капитала нѣтъ, а онъ во всю ивановскую жарить, сломя голову... Нужно сначала капиталомъ заручиться, а потомъ потихоньку да полегоньку... Нынче на частномъ или народномъ театрѣ отлично нажить можно... Ежели ставить настоящія пьесы, по дешевой цѣнѣ пустить, да публикѣ въ жилку попасть, то въ первый же годъ сто тысячъ въ карманъ положишь... Ты вотъ не понимаешь, а я вѣрно говорю... Тоже вѣдь и ты лежачіе капиталы любишь, не лучше этого шута Загвоздкина... Копишь и сама не знаешь для чего... Не слушаешься, не хочешь... Пустила бы въ оборотъ, такъ не мыкалась бы по свѣту бѣлому... Вѣдь для перваго раза, чтобъ частный театръ устроить, довольно и пяти тысячъ... Не такъ, конечно, какъ Лентовскій, а скромно... потихоньку... Антрепренеръ у меня уже есть, помѣщеніе я присмотрѣлъ... денегъ только нѣтъ... Если бъ ты понимала, то давно бы уже разсталась со своими этими разными пятипроцентными... процентными, выигрышными...

— Нѣтъ, merci... Ты и такъ ужъ меня достаточно пощипать... Будетъ съ меня, наказана...

— Если по-бабьи разсуждать, то, конечно... — вздыхаетъ Никитинъ, поднимаясь. — Конечно!

— Будетъ съ меня... Ну, ступай, не мѣшай мнѣ спать...
Надоѣло твои бредни слушать.

— Гм... Такъ-съ... Конечно! Пощипаль... обобралъ...
Мы, что сами даемъ, то помнимъ, а что беремъ, того не
помнимъ.

— Я у тебя никогда ничего не брала.

— Такъ ли? А когда мы еще не были извѣстной артист-
кой, то на чей счетъ мы жили? А кто, позвольте васъ
спросить, вытянулъ васъ изъ нищеты и осчастливилъ?
Этого вы не помните?

— Ну, ступай, спи. Поди, проспишься.

— Ежели я кажусь вамъ пьянымъ... ежели я для та-
кой персоны низкоъ, то я могу вовсе уйти.

— И уходи. Отлично сдѣлаешь.

— И уйду. Довольно ужъ я унижался. И уйду.

— Ахъ, Боже мой! Да уходи же! Я буду очень рада!

— Ладно. Увидимъ.

Никитинъ что-то бормочетъ про себя и, натыкаясь на
стулья, выходитъ изъ спальни. Засимъ доноситъ изъ
передней шопотъ, шарканье калошъ и звукъ запираемой
двери. *Mari d'elle* въ серьезъ обидѣлся и ушелъ.

«Слава Богу, ушелъ... — думаетъ пѣвица. — Теперь
спать можно».

И, засыпая, она думаетъ о своемъ *mari d'elle*:
кто онъ, и откуда взялось это наказаніе? Когда-то
онъ жилъ въ Черниговѣ и служилъ тамъ бухгалтеромъ.
Какъ обыкновенный сѣренькій обыватель, а не *mari d'elle*,
онъ былъ очень сносенъ: ходилъ на службу, получалъ
жалованье, и всѣ его проекты и затѣи не шли дальше
новой гитары, модныхъ брюкъ и янтарнаго мундштука.
Ставши же «мужемъ знаменитости», онъ совсѣмъ преобра-
зился. Пѣвица помнитъ, что, когда впервые она объявила
ему, что поступаетъ на сцену, онъ долго ломался, воз-
мущался, жаловался ея родителямъ, гналъ ее изъ дому.
Пришлось поступать на сцену безъ его позволенія. По-
томъ же, узнавъ по газетамъ и отъ людей, что она бе-
ретъ хорошіе куши, онъ «простилъ» ее, бросилъ бухгал-
терію и сталъ ея прихвостнемъ. Диву давалась артистка,
глядя на прихвостня: когда и гдѣ успѣлъ онъ приобрѣ-
сти новые вкусы, лоскъ и замашки? Гдѣ онъ узналъ
вкусъ устрицъ и бургонскихъ винъ? Кто научилъ его
одѣваться по модѣ, причесываться, говорить «Натали» вмѣ-
сто «Наташа»?

«Странно... — думаетъ пѣвица. — Прежде, бывало, получить жалованье и прячетъ, а теперь и ста рублей въ день ему мало. Бывало, при гимназистахъ говорить боялся, чтобъ глупости не сказать, а теперь даже съ князьями фамиллярничаетъ... Дрянной человѣчишка!»

Но вотъ пѣвица опять вздрагиваетъ: опять въ передней дребезжитъ звонокъ. Горничная, браясь и сердито шлепая туфлями, идетъ отворять дверь. Опять кто-то входитъ и стучить, какъ лошадь.

«Вернулся! — думаетъ пѣвица. — Когда же наконецъ дадутъ мнѣ покой? Это возмутительно!»

Артисткой овладѣваетъ злоба.

«Постой же... Я покажу тебѣ, какъ комедіи играть! Ты у меня уйдешь! Я заставлю тебя уйти!»

Бронина вскакиваетъ и босая бѣжитъ въ маленькую залу, гдѣ обыкновенно спитъ ея *maré*. Застаетъ она его въ то время, когда онъ раздѣвается и старательно складываетъ свою одежду на кресло.

— Ты же ушелъ! — говоритъ она, глядя на него блестящими, непамятными глазами. — Зачѣмъ же ты вернулся?

Никитинъ молчитъ и только сопить.

— Ты же ушелъ! Изволь сію же минуту убираться! Сію же минуту! Слышишь?

Mari d'elle кашляетъ и, не глядя на жену, снимаетъ помочи.

— Если ты, нахаль, не уйдешь, то я уйду! — продолжаетъ пѣвица, топая босой ногой и сверкая глазами. — Я уйду! Слышишь ты, нахаль... негодий, лакей? Вонъ!

— Постыдилась бы хоть при постороннихъ... — бормочетъ мужъ...

Пѣвица оглядывается и теперь только видитъ незнакомую ей актерскую фizioномію... Фizioномія, видѣвшая оголенные плечи и босые ноги артистки, сконфужена и готова провалиться.

— Рекомендую... — бормочетъ Никитинъ. — Провинціальныи антрепренеръ Безбожниковъ.

Пѣвица вскрикиваетъ и убѣгаетъ къ себѣ въ спальню.

— Вотъ-съ... — говоритъ *maré*, растягиваясь на диванѣ. — Все шло, какъ по маслу. Милый, разлюбезный мой, хорошій... Поцѣлуй и объятія... А какъ только дѣло коснулось до денегъ, то... какъ видите... Великое дѣло деньги!.. Спокойной ночи!

Черезъ минуту слышится храпъ.

СОНЪ.

(Святочный разсказъ).

Бываютъ погоды, когда зима, словно озлившись на человѣческую немощь, призываетъ къ себѣ на помощь суровую осень и работаетъ съ нею сообща. Въ безпросвѣтномъ, туманномъ воздухѣ кружатся снѣгъ и дождь. Вѣтеръ, сырой, холодный, пронизывающій, съ неистовой злобой стучить въ окна и въ кровли. Онъ воетъ въ трубахъ и плачетъ въ вентиляціяхъ. Въ темномъ, какъ сажа, воздухѣ виситъ тоска... Природу мутить... Сыро, холодно и жутко...

Точно такая погода была въ ночь подъ Рождество тысяча восемьсотъ восемьдесятъ второго года, когда я еще не былъ въ арестантскихъ ротахъ, а служилъ оцѣнщикомъ въ ссудной кассѣ отставного штабсъ-капитана Тулаева.

Было двѣнадцать часовъ. Кладовая, въ которой я по волѣ хозяина имѣлъ свое ночное мѣстопробываніе и изображалъ собою сторожевую собаку, слабо освѣщалась единственнымъ лампаднымъ огонькомъ. Это была большая квадратная комната, заваленная узлами, сундуками, этажерками... На сѣрыхъ деревянныхъ стѣнахъ, изъ щелей которыхъ глядѣла растрепанная пакля, висѣли заячьи шубки, поддевки, ружья, картины, бра, гитара... Я, обязанный по ночамъ сторожить это добро, лежалъ на большомъ красномъ сундукѣ за витриной съ драгоценными вещами и задумчиво глядѣлъ на лампадный огонекъ...

Почему-то я чувствовалъ страхъ. Вещи, хранящіяся въ кладовыхъ ссудныхъ кассъ, страшны... Въ ночную пору при тускломъ свѣтѣ лампадки онѣ кажутся живыми... Теперь же, когда за окномъ ропталъ дождь, а въ печи

и надъ потолокомъ жалобно вылъ вѣтеръ, мнѣ казалось, что онѣ издавали воющіе звуки. Всѣ онѣ, прежде чѣмъ попасть сюда, должны были пройти черезъ руки оцѣнщика, т.-е. черезъ мои, а потому я зналъ о каждой изъ нихъ все... Зналъ, напимѣръ, что за деньги, вырученные за эту гитару, куплены порошки отъ чахоточнаго кашля... Зналъ, что этимъ револьверомъ застрѣлился одинъ пьяница; жена скрыла револьверъ отъ полиціи, заложила его у насъ и купила гробъ. Браслетъ, глядящій на меня изъ витрины, заложенъ человѣкомъ, украсившимъ его... Двѣ кружевныя сорочки, помѣченныя 178 М, заложены дѣвушкой, которой нуженъ былъ рубль для входа въ «Salon», гдѣ она собиралась заработать... Короче говоря, на каждой вещи читалъ я безвыходное горе, болѣзнь, преступленіе, продажный развратъ...

Въ ночь подъ Рождество эти вещи были какъ-то особенно краснорѣчивы.

— Пусти насъ домой!..—плакали онѣ, казалось мнѣ, вмѣстѣ съ вѣтромъ.—Пусти!

Но не однѣ вещи возбуждали во мнѣ чувство страха. Когда я высовывалъ голову изъ-за витрины и бросалъ робкій взглядъ на темное, вспотѣвшее окно, мнѣ казалось, что въ кладовую съ улицы глядѣли человѣческія лица.

«Что за чушь!—бодрилъ я себя.—Какія глупыя нѣжности!»

Дѣло въ томъ, что человѣка, надѣленнаго отъ природы нервами оцѣнщика, въ ночь подъ Рождество мучила совѣсть—событіе невѣроятное и даже фантастическое. Совѣсть въ ссудныхъ кассахъ имѣется только подъ закладомъ. Здѣсь она понимается, какъ предметъ продажи и купли, другихъ же функций за ней не признается... Удивительно, откуда она могла у меня взяться? Я ворочался съ боку на бокъ на своемъ жесткомъ сундукѣ и, щуря глаза отъ мелькавшей лампадки, всѣми силами старался заглушить въ себѣ новое, непрощенное чувство. Но старанія мои остались тщетны...

Конечно, тутъ отчасти было виновато физическое и нравственное утомленіе послѣ тяжкаго, цѣлодневнаго труда. Въ канунъ Рождества бѣдняки ломались въ ссудную кассу толпами. Въ большой праздникъ и вдобавокъ, еще въ злую погоду бѣдность не порокъ, но страшное несчастье! Въ это время утопающій бѣднякъ ищетъ

въ ссудной кассѣ соломинку и получаетъ вмѣсто нея камень... За весь сочельникъ у насъ перебивало столько народу, что три четверти закладовъ, за неимѣніемъ мѣста въ кладовой, мы принуждены были снести въ сарай. Съ ранняго утра до поздняго вечера, не переставая ни на минуту, я торговался съ оборвышами, выжималъ изъ нихъ гроши и копейки, глядѣлъ слезы, выслушивалъ напрасныя молебны... Къ концу дня я еле стоялъ на ногахъ: изнемогли душа и тѣло. Немудрено, что я теперь не спалъ, ворочался съ боку на бокъ и чувствовалъ себя жутко.

Кто-то осторожно постучался въ мою дверь... Вслѣдъ за стукомъ я услышалъ голосъ хозяина:

— Вы спите, Петръ Демьянычъ?

— Нѣтъ еще, а что?

— Я, знаете ли, думаю, не отворить ли намъ завтра рано утречкомъ дверь? Праздникъ большой, а погода злющая. Бѣднота нахлынетъ, какъ мухи на медъ. Такъ вы ужъ завтра утромъ не идите къ обѣднѣ, а посидите въ кассѣ... Спокойной ночи!

— Мнѣ оттого такъ жутко,—рѣшилъ я по уходѣ хозяина: — что лампадка мелькаетъ... Надо ее потушить...

Я всталъ съ постели и пошелъ къ углу, гдѣ висѣла лампадка. Синій огонекъ, слабо вспыхивая и мелькая, видимо, боролся со смертію. Каждое мельканіе на мгновеніе освѣщало образъ, стѣны, узлы, темное окно... А въ окнѣ двѣ блѣдныя физіономіи, прижавъ къ стекламъ, глядѣли въ кладовую.

— Никого тамъ нѣтъ...—разсудилъ я. — Это мнѣ представляется.

И когда я, потушивъ лампадку, пробирался ощупью къ своей постели, произошелъ маленькій казусъ, имѣвшій немалое вліяніе на мое дальнѣйшее настроеніе... Надъ моей головой вдругъ, неожиданно раздался громкій, неистово визжащій трескъ, продолжавшійся не долѣе секунды. Что-то треснуло и, словно почувствовавъ страшную боль, громко взвизгнуло.

То лопнула на гитарѣ квинта, я же, охваченный паническимъ страхомъ, заткнулъ уши и, какъ сумасшедшій, спотыкаясь о сундуки и узлы, побѣжалъ къ постели... Я уткнулъ голову подъ подушку и, еле дыша, замирая отъ страха, сталъ прислушиваться.

— Отпусти насъ!—вылъ вѣтеръ вмѣстѣ съ вещами.—

Ради праздника отпусти! Вѣдь ты самъ бѣднякъ, понимаешь! Самъ испыталъ голодъ и холодъ! Отпусти!

Да, я самъ былъ бѣднякъ и зналъ, что значить голодъ и холодъ. Бѣдность толкнула меня на это проклятое мѣсто оцѣнщика, бѣдность заставила меня ради куска хлѣба презирать горе и слезы. Если бы не бѣдность, развѣ у меня хватило бы храбрости оцѣнивать въ гроши то, что стоитъ здоровья, тепла, праздничныхъ радостей? За что же винить меня вѣтеръ, за что терзаетъ меня моя совѣсть?

Но какъ ни билось мое сердце, какъ ни терзали меня страхъ и угрызенія совѣсти, утомленіе взяло свое. Я уснулъ. Сонъ былъ чуткій... Я слышалъ, какъ ко мнѣ еще разъ стучался хозяинъ, какъ ударили къ заутренѣ... Я слышалъ, какъ вылъ вѣтеръ и стучалъ по кровлѣ дождь. Глаза мои были закрыты, но я видѣлъ вещи, витрину, темное окно, образъ. Вещи толпились вокругъ меня и, мигая, просили отпустить ихъ домой. На гитарѣ съ визгомъ одна за другой лопались струны, лопались безъ конца... Въ окно глядѣли нищіе, старухи, просгигутки, ожидая, пока я отопру ссуду и возвращу имъ ихъ вещи.

Слышалъ я сквозь сонъ, какъ что-то заскребло, какъ мышь. Скребло долго, монотонно. Я заворочался и съежился, потому что на меня сильно подуло холодомъ и сыростью. Натягивая на себя одѣяло, я слышалъ шорохъ и чловѣческій шопоть.

«Какой нехорошій сонъ! — думалъ я. — Какъ жутко! Проснуться бы!»

Что-то стеклянное упало и разбилось. За витриной мелькнулъ огонекъ, и на потолкѣ заигралъ свѣтъ.

— Не стучи! — послышался шопоть. — Разбудишь того Ирода... Сними сапоги!

Кто-то подошелъ къ витринѣ, взглянулъ на меня и потрогалъ висячій замочекъ. Это былъ бородатый старикъ съ блѣдной, испитой фizioноміей, въ порванномъ солдатскомъ сюртучишкѣ и въ опоркахъ. Къ нему подошелъ высокій худой парень съ ужасно длинными руками, въ рубахѣ на выпускъ и въ короткой, рваной жакеткѣ. Оба они что-то пошептали и завозились около витрины.

«Грабятъ!» — мелькнуло у меня въ головѣ.

Хотя я спалъ, но помнилъ, что подъ моей подушкой всегда лежалъ револьверъ. Я тихо нащупалъ его и сжалъ въ рукѣ. Въ витринѣ звякнуло стекло.

— Тише, разбудишь. Тогда уколошматить придется.

Далѣе мнѣ снилось, что я вскрикнулъ груднымъ, дикимъ голосомъ и, испугавшись своего голоса, вскочилъ. Старикъ и молодой парень, растопыривъ руки, набросились на меня, но, увидѣвъ револьверъ, попятились назадъ. Помнится, что черезъ минуту они стояли передо мной блѣдные и, слезливо мигая глазами, умоляли меня отпустить ихъ. Въ поломанное окно съ силою ломилъ вѣтеръ и игралъ пламенемъ свѣчки, которую зажгли воры.

— Ваше благородіе!—заговорилъ кто-то подъ окномъ плачущимъ голосомъ. — Благодѣтели вы наши! Милостивцы!

Я взглянулъ на окно и увидѣлъ старушечью фізіономію, блѣдную, исхудалую, вымокшую на дождѣ.

— Не трожь ихъ! Отпусти!—плакала она, глядя на меня умоляющими глазами. — Бѣдность вѣдь!

— Бѣдность!—подтвердилъ старикъ.

— Бѣдность!—пропѣлъ вѣтеръ.

У меня сжалось отъ боли сердце, и я, чтобы проснуться, защищалъ себя... Но вмѣсто того, чтобы проснуться, я стоялъ у витрины, вынималъ изъ нея вещи и судорожно пихалъ ихъ въ карманы старика и парня.

— Берите скорѣе!—задыхался я. — Завтра праздникъ, а вы нищіе! Берите!

Набивъ нищенскіе карманы, я завязалъ остальные драгоценности въ узелъ и швырнулъ ихъ старухѣ. Подаль я въ окно старухѣ шубу, узелъ съ черной парой, кружевыя сорочки и кстаи ужъ и гитару. Бываютъ же такіе странные сны! Засимъ, помню, затрещала дверь. Точно изъ земли выросши, предстали передо мной хозяйнѣ, околоточный, городовые. Хозяинъ стоитъ около меня, а я словно не вижу и продолжаю вязать узлы.

— Чтò ты, негодай, дѣлаешь?

— Завтра праздникъ, — отвѣчаю я. — Надо имъ ѣсть.

Тутъ занавѣсъ опускается, вновь поднимается, и я вижу новыя декораціи. Я уже не въ кладовой, а гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ. Около меня ходитъ городской, ставитъ мнѣ на ночь кружку воды и бормочетъ: «Ишь ты! Ишь ты! Чтò подъ праздникъ задумалъ!» Когда я проснулся, было уже свѣтло. Дождь уже не стучалъ въ окно, вѣтеръ не вылъ. На стѣнѣ весело играло праздничное солнышко. Первый, кто поздравилъ меня съ праздникомъ, былъ старшій городской.

— И съ новосельемъ... — добавилъ онъ.

Черезъ мѣсяцъ меня судили. За что? Я увѣрялъ судей, что то былъ сонъ, что несправедливо судить человѣка за кошмаръ. Судите сами, могъ ли я отдать ни съ того ни съ сего чужія вещи ворами и негодяямъ? Да и гдѣ это видано, чтобъ отдавать вещи, не получивъ выкупа? Но судъ принявъ сонъ за дѣйствительность и осудилъ меня. Въ арестантскихъ ротахъ, какъ видите. Не можете ли вы, ваше благородіе, замолвить за меня гдѣ-нибудь словечко? Ей-Богу, не виновать.

1885.

РАЗСКАЗЪ БЕЗЪ КОНЦА.

Въ началѣ третьяго часа одной изъ давно уже пережитыхъ ночей, ко мнѣ въ кабинетъ вдругъ, неожиданно вбѣжала блѣдная, взволнованная кухарка и объявила, что у нея въ кухнѣ сидитъ владѣлица сосѣдняго домишка, старуха Мимотиха.

— Просить, баринъ, чтобъ вы къ ней сходили... — сказала кухарка, тяжело переводя духъ. — Съ ея жильцомъ нехорошо случилось... Застрѣлился, или повѣсился...

— Что же я могу сдѣлать? — сказалъ я. — Пусть идетъ къ доктору или въ полицію!

— Куда ей искать доктора! Она еле дышитъ и отъ страха подъ печку забила... Сходили бы, баринъ!

Я одѣлся и пошелъ въ домъ Мимотихи. Калитка, къ которой я направился, была отворена. Постоявъ около нея въ нерѣшимости и не нащупавъ дворникаго звонка, я вошелъ во дворъ. Крыльцо, темное и похилившееся, было тоже не заперто. Я отворилъ его и вошелъ въ сѣни. Тутъ ни зги свѣта, сплошной мракъ и вдобавокъ еще чувствительный запахъ ладана. Нащупывая выходъ изъ сѣней, я ударился локтемъ о что-то желѣзное и наткнулся въ потемкахъ на какую-то доску, которую чуть-было не свалилъ на землю. Наконецъ дверь, обитая порваннымъ войлокомъ, была найдена, и я вошелъ въ маленькую переднюю.

Сейчасъ я пишу не святочный рассказъ и далекъ отъ

намѣренія пугать читателя, но картина, которую я увидѣлъ изъ сѣней, была фантастична и могла быть нарисована одною только смертью. Прямо передо мной была дверь, ведущая въ маленькій заликъ. Полинялые, аспиднаго цвѣта обои скупо освѣщались тремя рядомъ стоявшими, восковыми, пятикопеечными свѣчками. Посреди зала на двухъ столахъ стоялъ гробъ. Восковыя свѣчки горѣли для того, чтобы освѣщать маленькое, смугло-желтое лицо съ полуоткрытымъ ртомъ и острымъ носомъ. Отъ лица до кончиковъ двухъ башмаковъ мѣшались въ беспорядкѣ волны марли и кисей, а изъ волнъ глядѣли двѣ блѣдныя, неподвижныя руки съ восковымъ крестикомъ. Темныя, мрачныя углы зала, образа за гробомъ, гробъ — все, кромѣ тихо мерцавшихъ огней, было неподвижно-мертвенно, какъ сама могила...

«Что за чудеса? — подумалъ я, ошеломленный неожиданной панорамой смерти. — Откуда такая скоропостижность? Не успѣлъ жилецъ повѣситься, или застрѣлиться, какъ уже и гробъ!»

Я оглядѣлся. Налѣво была дверь со стекляннымъ верхомъ, направо хромая вѣшалка съ попошенной шубенкой...

— Воды дайте... — услышалъ я стонъ.

Стонъ шелъ слѣва, изъ-за двери со стекляннымъ верхомъ. Я отворилъ эту дверь и вошелъ въ маленькую комнату, темную, съ единственнымъ окномъ, по которому робко скользилъ слабый свѣтъ отъ уличнаго фонаря.

— Здѣсь есть кто-нибудь? — спросилъ я.

И, не дождавшись отвѣта, я зажегъ спичку. Пока она горѣла, я увидѣлъ слѣдующее. У самыхъ ногъ моихъ, на окрашенномъ кровью полу сидѣлъ человекъ. Сдѣлай я шагъ подлиннѣе, я наступилъ бы на него. Протянувъ впередъ ноги и упираясь руками о полъ, онъ силился поднять къверху свое красивое, смертельно-блѣдное лицо съ черной, какъ тушь, окладистой бородой. Въ большихъ глазахъ, которые онъ поднималъ на меня, я прочелъ невыразимый ужасъ, боль, мольбу. По лицу его большими каплями текъ холодный потъ. Этотъ потъ, выраженіе лица, дрожаніе подпиравшихся рукъ, тяжелое дыханіе и стиснутые зубы говорили, что онъ страдалъ невыносимо. Около правой руки его въ лужѣ крови валялся револьверъ.

— Не уходите... — услышалъ я слабый голосъ, когда потухла спичка. — Свѣча на столѣ.

Я зажегъ свѣчку и, не зная, съ чего начать, остановился посреди комнаты. Я стоялъ и глядѣлъ на человека, сидѣвшаго на полу, и мнѣ казалось, что я ранѣе уже гдѣ-то видѣлъ его.

— Боль нестерпимая, — прошепталъ онъ: — а нѣтъ силъ выстрѣлить въ себя еще разъ. Непонятная нерѣшимость!

Я сбросилъ съ себя пальто и занялся больнымъ. Поднявъ съ пола, какъ ребенка, я положилъ его на клеенчатый диванъ и осторожно раздѣлъ. Онъ дрожалъ и былъ холоденъ, когда я снималъ съ него одежду; рана же, которую я увидѣлъ, не соответствовала ни этой дрожи ни выраженію лица больного. Она была ничтожна. Пуля прошла между 5 и 6 ребромъ лѣвой стороны, разорвавъ кожу и кѣтъчатку—только. Самую пулю нашелъ я въ складкахъ сюртучной подкладки около задняго кармана. Остановивъ, какъ умѣлъ, кровь и сдѣлавъ временную повязку изъ наволочки, полотенца и двухъ платковъ, я далъ больному напитокъ и укрылъ его висѣвшей въ передней шубенкой. Во все время перевязки мы оба не сказали ни слова. Я работалъ, а онъ лежалъ неподвижно и глядѣлъ на меня сквозь сильно прищуренные глаза, какъ бы стыдясь своего неудачнаго выстрѣла и тѣхъ хлопотъ, которыя онъ мнѣ причинилъ.

— Теперь вы потрудитесь лежать покойно, — сказалъ я, покончивъ съ повязкой: — а я сбѣгаю въ аптеку и возьму тамъ что-нибудь.

— Не нужно! — пробормоталъ онъ, хватая меня за рукавъ и открывая глаза во всю ихъ ширь.

Въ глазахъ его я прочелъ испугъ. Онъ боялся, чтобы я не ушелъ.

— Не нужно! Посидите еще минутъ пять... десять... Если вамъ не противно, то сядьте, прошу васъ.

Онъ просилъ и дрожалъ, стуча зубами. Я послушался и сѣлъ на край дивана. Десять минутъ прошло въ молчаніи. Я молчалъ и обозрѣвалъ комнату, въ которую такъ неожиданно занесла меня судьба. Какая бѣдность! У человека, обладавшаго красивымъ, изнѣженнымъ лицомъ и выхоленной, окладистой бородой, была обстановка, которой не позавидовалъ бы простой мастеровой. Диванъ съ облѣзлой, дырявой клеенкой, простой засаленный стулъ, столъ, заваленный бумажнымъ хламомъ, да прескверная олеографія на стѣнѣ — вотъ и все, что я увидѣлъ. Сыро, мрачно и сѣро.

— Какой вѣтеръ! — проговорилъ больной, не открывая глазъ. — Какъ онъ поетъ!

— Да... — сказалъ я. — Послушайте, мнѣ кажется, что я васъ знаю. Вы не участвовали въ прошломъ году въ любительскомъ спектаклѣ у генерала Лухачева на дачѣ?

— А чтѣ? — спросилъ онъ, быстро открывъ глаза. По лицу его пробѣжала тучка.

— Точно я видѣлъ васъ тамъ. Вы не Васильевъ?

— Хоть бы и такъ, ну такъ чтѣ же? Отъ этого не легче, что вы меня знаете.

— Не легче, но я спросилъ васъ такъ... между прочимъ.

Васильевъ закрылъ глаза и, словно обиженный, повернулъ свое лицо къ спинкѣ дивана.

— Не понимаю я этого любопытства! — проворчалъ онъ. — Недостаетъ еще, чтобы вы стали допрашивать, какія причины побудили меня къ самоубійству!

Не прошло и минуты, какъ онъ опять повернулся ко мнѣ, открылъ глаза и заговорилъ плачущимъ голосомъ:

— Вы извините меня за этотъ тонъ, но, согласитесь, я правъ! Спрашивать у арестанта, за что онъ сидитъ въ тюрьмѣ, а у самоубійцы, зачѣмъ онъ стрѣлялся, не великодушно и... не деликатно. Удовлетворять праздное любопытство на чужихъ нервахъ!

— Напрасно вы волнуетесь... Я и не думалъ спрашивать васъ о причинахъ.

— Такъ спросили бы... Это въ привычкѣ людей. А къ чему спрашивать? Скажу я вамъ, а вы или не поймете, или не повѣрите... Я и самъ, признаться, не понимаю... Есть протокольно-газетные термины въ родѣ «безнадежная любовь» и «безвыходная бѣдность», но причины неизвѣстны... Ихъ не знаю ни я, ни вы, ни ваши редакции, въ которыхъ дерзаютъ писать «изъ дневника самоубійцы». Одинъ только Богъ понимаетъ состояніе души человѣка, отнимающаго у себя жизнь, люди же не знаютъ.

— Все это очень мило, — сказалъ я: — но вамъ не слѣдуетъ много говорить...

Но мой самоубійца разошелся. Онъ подперъ голову кулакомъ и продолжалъ тономъ большого профессора:

— Никогда не понять человѣку психологическихъ тонкостей самоубійства! Гдѣ причины? Сегодня причина заставляетъ хвататься за револьверъ, а завтра эта же самая причина кажется не стоящей яйца выѣденнаго...

Все зависить, вѣроятно, отъ индивидуализаціи субъекта въ данное время... Взять, наприкладъ, меня. Полчаса тому назадъ я страстно желалъ смерти, теперь же, когда горитъ свѣча и возлѣ меня сидите вы, я и не думаю о смертномъ часѣ. Объясните-ка вы эту перемену! Сталъ ли я богаче, или воскресла моя жена? Повліялъ ли на меня этотъ свѣтъ, или присутствіе посторонняго человѣка?

— Свѣтъ, дѣйствительно вліяеть... — пробормоталъ я, чтобы сказать что-нибудь. — Вліяніе свѣта на организмъ...

— Вліяніе свѣта... Допустимъ! Но вѣдь стрѣляются и при свѣчахъ! И мало чести героямъ вашихъ романовъ, если такой пустякъ, какъ свѣчка, такъ рѣзко измѣняетъ ходъ драмы! Вся эта галиматья, можетъ-быть, и объяснима, но не нами. Чего не понимаешь, того и спрашивать и объяснять нечего...

— Простите, — сказалъ я: — но... судя по выраженію вашего лица, мнѣ кажется, что въ данную минуту вы... рисуетесь.

— Да? — спохватился Васильевъ. — Очень можетъ быть! Я по природѣ ужасно суетенъ и фатоватъ. Ну, вотъ объясните, если вы вѣрите своей фізіономикѣ! Полчаса тому назадъ стрѣлялся, а сейчасъ рисуюсь... Объясните-ка!

Послѣднія слова Васильевъ проговорилъ слабымъ, потухающимъ голосомъ. Онъ утомился и умолкъ. Наступило молчаніе. Я сталъ разсматривать его лицо. Оно было блѣдно, какъ у мертвеца. Жизнь въ немъ, казалось, погасала, и только слѣды страданій, которыя пережилъ «суетный фатоватый» человѣкъ, говорили, что оно еще живо. Жутко было глядѣть на это лицо, но каково же было самому Васильеву, у котораго хватало еще силъ философствовать и, если я не ошибался, рисоваться!

— Вы здѣсь? — спросилъ онъ, вдругъ приподнимаясь на локтѣ. — Боже мой! Нужно только прислушаться!

Я сталъ слушать. За темнымъ окномъ, ни на минуту не умолкая, сердито стучалъ дождь. Жалобно и тоскливо гудѣлъ вѣтеръ.

— «И паче снѣга убѣлюся, и слуху моему даси радость и веселіе», — читала въ залѣ возвратившаяся Мимотиха лѣнивымъ, утомленнымъ голосомъ, не повышая и не понижая однообразной, скучной ноты.

— Не правда ли, это весело?—прошепталъ Васильевъ, повернувъ ко мнѣ свое испуганное лицо. — Боже мой, чего только ни приходится видѣть и слышать человѣку! Переложить бы этотъ хаосъ на музыку! Не знающихъ привелъ бы онъ въ смятеніе,—какъ говоритъ Гамлетъ:— исторгъ бы силу изъ очей и слуха». Какъ бы я понялъ тогда эту музыку! Какъ бы почувствовалъ! Который часъ?

— Безъ пяти три.

— Далеко еще до утра. А утромъ похороны. Красивая перспектива! Идешь за гробомъ по грязи, подъ дождемъ. Идешь и не видишь ничего, кромѣ облачнаго неба да дрянныхъ пейзажей. Грязные факельщики, кабаки, дровяные склады... брюки мокры до колѣнъ. Улицы безконечно длинны, время тянется, какъ вѣчность, народъ грубъ. А на душѣ камень, камень!

Помолчавъ немного, онъ вдругъ спросилъ:

— Давно видали генерала Лухачева?

— Съ самаго лѣта не видѣть.

— Любить пѣтушиться, но милый старикашка. А вы все пописываете?

— Да, немножко.

— Такъ... А помните, какимъ фырсикомъ, восторженнымъ теленкомъ прыгалъ я на этихъ любительскихъ спектакляхъ, когда ухаживалъ за Зной? Глупо было, но хорошо, весело... Даже при воспоминаніи весной пахнетъ... А теперь! Какая рѣзкая переменна декораціи! Вотъ вамъ тема! Только вы не вздумайте писать «дневника самоубійцы». Это пошло и шаблонно. Вы хватайте что-нибудь юмористическое.

— Вы опять... рисуетесь,—сказалъ я.—Въ вашемъ положеніи ничего нѣтъ юмористическаго.

— Ничего нѣтъ смѣшного? Вы говорите, ничего нѣтъ смѣшного?

Васильевъ приподнялся, и на глазахъ его заблестѣли слезы. Выраженіе горькой обиды разлилось по его блѣдному лицу, задрожалъ подбородокъ.

— Вы смѣтаетесь надъ кассирами и невѣрными женами, которые надуваютъ,—сказалъ онъ:—но вѣдь ни одинъ кассиръ, ни одна невѣрная жена не надували такъ, какъ надула меня моя судьба! Я такъ обмануть, какъ не обманывался еще ни одинъ банковый вкладчикъ, ни одинъ рогатый мужъ! Почувствуйте только, въ какихъ смѣшныхъ дуракахъ я остался! Въ прошломъ году на вашихъ

глазахъ не зналъ, куда дѣваться отъ счастья, а теперь на вашихъ же глазахъ...

Васильевъ упалъ головой на подушку и засмѣялся.

— Смѣшнѣе и глупѣе такого перехода и выдумать нельзя. Первая глава: весна, любовь, медовый мѣсяцъ... медъ, однимъ словомъ; вторая глава: исканіе должности, ссуда денегъ подъ залогъ, блѣдность, аптека и... завтрашнее шлепанье по грязи на кладбище.

Онъ опять засмѣялся. Мнѣ стало жутко, и я порѣшилъ уйти.

— Послушайте, — сказалъ я: — вы лежите, а я схожу въ аптеку.

Онъ не отвѣчалъ. Я надѣлъ пальто и вышелъ изъ его комнаты. Проходя черезъ сѣни, я взглянулъ на гробъ и читавшую Мимотиху. Какъ я ни напрягалъ зрѣнія, но не сумѣлъ въ желто-смугломъ лицѣ узнать Зину, бойкую, хорошенькую ingénue Лухачевской труппы.

«Sic transit», — подумалъ я.

Затѣмъ я вышелъ, не забывъ прихватить съ собою револьверъ, и отправился въ аптеку. Но не слѣдовало мнѣ уходить. Когда я вернулся изъ аптеки, Васильевъ лежалъ у себя на диванѣ въ обморокѣ. Повязка была грубо сорвана, а изъ растрепанной раны текла кровь. Привести его въ чувство мнѣ не удалось до самого утра. Онъ лихорадочно бредилъ, дрожалъ и водилъ безумными глазами по комнатамъ все время, пока не наступило утро и не послышался возгласъ священника, начавшаго служить панихиду.

Когда квартира Васильева наполнилась старухами и факельщиками, когда гробъ тронули съ мѣста и понесли со двора, я посовѣтовалъ Васильеву оставаться дома. Но онъ не послушался, несмотря ни на боль, ни на сѣрое, дождливое утро. До самого кладбища шелъ онъ за гробомъ безъ шапки, молча, едва волоча ноги и изрѣдка конвульсивно хватаясь за раненый бокъ. Лицо выражало полнѣйшую апатію. Разъ только, когда я какимъ-то ничтожнымъ вопросомъ вывелъ его изъ забытья, онъ обвелъ глазами мостовую, сѣрый заборъ, и въ глазахъ его на мгновеніе сверкнула мрачная злоба.

— «Колѣсное завѣденіе», — прочелъ онъ вывѣску. — Безграмотные невѣжи, чортъ бы ихъ взялъ совѣмъ!

Съ кладбища я повелъ его къ себѣ.

Прошелъ еще только годъ съ той ночи, и Васильевъ еще не успѣлъ какъ слѣдуетъ сносить сапогъ, въ которыхъ шлепалъ по грязи за гробомъ жены.

Въ настоящее время, когда я оканчиваю этотъ рассказъ, онъ сидитъ у меня въ гостиной и, играя на пианино, показываетъ дамамъ, какъ провинціальныя барышни поютъ чувствительные романсы. Дамы хохочутъ, и онъ самъ хохочетъ. Ему весело.

Я зову его къ себѣ въ кабинетъ. Видимо недовольный тѣмъ, что я лишилъ его пріятнаго общества, онъ входитъ ко мнѣ и останавливается передо мной въ позѣ человека, которому некогда. Я подаю ему этотъ рассказъ и прошу прочесть. Онъ, всегда снисходительный къ моему авторству, заглушаетъ свой вздохъ, вздохъ читательской лѣни, садится въ кресло и принимается за чтеніе.

— Чортъ возьми, какіе ужасы, — бормочетъ онъ, улыбаясь.

Но чѣмъ болѣе онъ углубляется въ чтеніе, тѣмъ серьезнѣе становится его лицо. Наконецъ, подъ напоромъ тяжелыхъ воспоминаній, онъ страшно блѣднѣетъ, поднимается и продолжаетъ чтеніе стоя. Окончивъ, онъ начинаетъ шагать изъ угла въ уголъ.

— Чѣмъ же кончить? — спрашиваю я его.

— Чѣмъ кончить? Гм...

Онъ окидываетъ взглядомъ комнату, меня, себя... Онъ видитъ свой новый модный костюмъ, слышитъ смѣхъ дамъ и... упавъ на кресло, начинаетъ смѣяться, какъ смѣялся онъ въ ту ночь.

— Ну, не правъ ли я былъ, когда говорилъ тебѣ, что все это смѣшно? Боже мой! Вынесъ я на своихъ плечахъ столько, сколько слону на спинѣ не выдержать, выстрадалъ чортъ знаетъ сколько, больше ужъ, кажется, и выстрадать нельзя, а гдѣ слѣды? Удивительное дѣло! Казалось бы, вѣчна, неизгладима и неприкосновенна должна быть печать, налагаемая на человека его муками. И что же? Эта печать изнашивается такъ же легко, какъ и дешевыя подметки. Ничего не осталось, хоть бы тебѣ что! Словно я тогда не страдалъ, а мазурку плясалъ. Превратно все на свѣтѣ, и смѣшна эта превратность! Широкое поле для юмористики!.. Загни-ка, братъ, юмористическій конецъ!

— Петръ Николаевичъ, скоро ли вы? — зовутъ моего героя нетерпѣливыя дамы.

— Сію минуту-сь! — говорить «суетный и фатоватый» человекъ, поправляя галстукъ. — Смѣшно, братъ, и жаль, жаль и смѣшно, но что подѣлаешь? Номо sum... А все-таки хвалю природу-матушку за ея обмѣнъ веществъ. Если бы у насъ оставалось мучительное воспоминаніе о зубной боли да о тѣхъ страхахъ, которые приходится каждому изъ насъ переживать, будь все это вѣчно, — скверно жилось бы тогда на свѣтѣ нашему брату-человѣку!

Я смотрю на его улыбающееся лицо, и мнѣ припоминается то отчаяніе и тотъ ужасъ, которыми полны были его глаза, когда онъ годъ тому назадъ глядѣлъ на темное окно. Я вижу, какъ онъ, входя въ свою обычную роль ученаго пустослова, собирается пококетничать передо мною своими праздными теоріями въ родѣ обмѣна веществъ, и въ это время мнѣ припоминается онъ, сидящій на полу въ лужѣ крови, съ больными, умоляющими глазами.

— Чѣмъ же кончить? — спрашиваю я себя вслухъ.

Васильевъ, посвистывая и поправляя галстукъ, уходитъ въ гостиную, а я гляжу ему вслѣдъ, и досадно мнѣ. Жаль мнѣ почему-то его прошлыхъ страданій, — жаль всего того, что я и самъ перечувствовалъ ради этого человека въ ту нехорошую ночь. Точно я потерялъ что-то...

1886.

НА РѢКѢ.

— Ледъ тронулся! — слышны крики среди яснаго, весенняго дня. — Ребята! Ледъ идетъ!

Ледъ трогается аккуратно каждую весну, но тѣмъ не менѣе ледоходъ всегда составляетъ событіе и злобу дня. Заслышавъ крики, вы, если живете въ городѣ, бѣжите къ мосту, при чемъ на лицѣ у васъ такое серьезное выраженіе, какъ будто бы на мосту совершается убійство или дневной грабежъ. Такое же выраженіе и у мальчишекъ, которые бѣгутъ мимо васъ, у извозчиковъ, у торговковъ. На мосту уже собралась публика. Тутъ гимназисты съ ранцами, барыни въ ватерпруфахъ, двѣ-три рясы, черномазый мальчишка, держащій за уши только-что сши-

тые сапоги, поддевки всѣхъ сортовъ, солдатики. Всѣ, свѣсившись черезъ перила моста, молчатъ, не двигаются и вопросительно глядятъ внизъ на рѣку. Молчаніе гробовое, лишь городской рассказываетъ какому-то господину въ мохнатомъ пальто и съ клапаномъ на спинѣ о томъ, насколько прибыла вода, да изрѣдка проѣзжаютъ съ шумомъ извозчики. Городовой говоритъ вполголоса. Когда рѣчь идетъ объ аршинахъ, лицо дѣлается серьезнымъ, вытянутымъ, почти испуганнымъ, когда же онъ говоритъ о вершкахъ, то на лицѣ его появляется выраженіе жалости и нѣжности, какъ будто вершки его дѣти.

Свѣсившись черезъ перила, вы тоже глядите на рѣку и — какое разочарованіе! Вы ожидали треска и грохота, но ничего не слышите, кромѣ глухого, однозвучнаго шума, похожего на очень отдаленный громъ. вмѣсто чудовищной ломки, столкновений и дружнаго натиска, вы видите безмятежно лежащія, неподвижныя груды изломаннаго льда, наполняющаго всю рѣку отъ берега до берега. Поверхность рѣки изрыта и взбудоражена, точно по ней прошелся великанъ-пахарь и тронулъ ее своимъ громаднымъ плугомъ. Воды не видно ни капли, а только ледъ, ледъ и ледъ. Ледяные холмы стоятъ неподвижно, но у васъ кружится голова и кажется, что мостъ вмѣстѣ съ вами и съ публикой куда-то уходитъ. Тяжелый мостъ мчится вдоль рѣки вмѣстѣ съ берегами и разсѣкаетъ своими быками груды льда. Вотъ одна большая льдина, упершись о быкъ, долго не пускаетъ мостъ бѣжать отъ нея, но вдругъ, какъ живая, начинаетъ ползти по быку вверхъ, прямо къ вашему лицу, словно хочетъ проститься съ вами, но, не выдержавъ своей тяжести, ломается на два куска и безсильно падаетъ. Видъ у льдинъ грустный, унылый. Онѣ какъ будто сознаютъ, что ихъ гонять изъ родныхъ мѣстъ куда-то далеко, въ страшную Волгу, гдѣ, насмотрѣвшись ужасовъ, онѣ умрутъ, обратятся въ ничто.

Скоро холмы начинаютъ рѣдѣть, и между льдинами показывается темная, стремительно бѣгущая вода. Теперь обманъ исчезаетъ, и вы начинаете видѣть, что движется не мостъ, а рѣка. Къ вечеру рѣка уже почти совсѣмъ чиста отъ льда. Изрѣдка попадаютъ на ней оставшіяся льдины, но ихъ такъ мало, что онѣ не мѣшаютъ фонарямъ глядѣться въ воду, какъ въ зеркало.

— Это еще не ледоходъ! — говорятъ на мосту. — А вотъ будетъ ледоходъ, когда ледъ съ верховьевъ пойдетъ!..

Нынче въ обѣдъ пріѣхалъ одинъ изъ N — скаго уѣзда. Сказываетъ, что тамъ уже тронулся ледъ... Стало-быть, ожидать его нужно завтра.

Дѣйствительно, на другой день пасмурно, дуетъ холодомъ и сыростью. Такая рѣзкая перемена погоды показываетъ, что гдѣ-то на большомъ пространствѣ идетъ ледъ... На мосту стоитъ публика и опять глядитъ на рѣку. Вода стоитъ высоко, но поверхность еще чиста и гладка. Зрители нетерпѣливо зѣваютъ ижимаются отъ холода. Но вотъ показывается на поверхности рѣки большая ледяная глыба. За ней, какъ за козломъ въ стадѣ, въ почтительномъ отдаленіи тянется нѣсколько глыбъ поменьше... Слышится ударъ глыбы о быкъ моста. Она разбилась, и части ея въ смятеніи, кружась и толкаясь, бѣгутъ подъ мостъ... На поворотѣ показывается новая глыба, за ней другая, третья... и скоро воздухъ наполнился глухимъ шумомъ, который слышался вчера. Вы видите уже не тутошній ледъ, а чужой, съ далекихъ верховьевъ.

Скоро и этотъ ледъ пропадаетъ, но съ его уходомъ еще не оканчивается весеннее оживленіе рѣки. Тотчасъ же послѣ ледохода начинаютъ показываться плоты.

Плоты слѣдуетъ наблюдать не въ городѣ, а гдѣ-нибудь подальше. Хотя бы у тѣхъ таинственныхъ верховьевъ, откуда шелъ послѣдній ледъ.

Вотъ по рѣчонкѣ Жиждѣ, лавируя и извиваясь змѣей, несетъ длинный плотъ. Лѣтомъ Жижа представляетъ собой лужину, которую вы не увидите изъ-за густого ивняка и перейдете въ бродъ, гдѣ хотите, теперь же она неузнаваема. Глядите на нее и диву даетесь! Откуда могла взяться такая прыть? Она надувается, топорщится и грозитъ затопить всю землю. Съ большимъ плотомъ она обращается, какъ съ маленькой щепкой. Этотъ плотъ заповздалъ и принадлежитъ къ числу послѣднихъ, которымъ грозитъ возможность застрять на полѣ-дорогѣ. Купецъ Макитровъ вчера уже пустилъ шесть плотовъ: на этомъ слѣдовало бы и остановиться, но жадность одолѣла, и онъ сегодня пустилъ еще седьмой, хотя его и предупредили, что вода пошла на убыль.

На плоту копошится человѣкъ двадцать мужчинъ и бабъ. Настоящій мужикъ, который сытъ и одѣтъ, не пойдетъ въ сплавщики, а потому вы видите здѣсь одну только сплошную голь. Народишко все малорослый, сутуловатый, угрюмаго вида, словно огрызанный. Всѣ въ лаптяхъ

и въ такой одежонкѣ, что, кажется, если взять мужика за плечи и хорошо потрясти его, то висящія на немъ лохмотья посыплутся на землю. У каждого изъ нихъ свое лицо: есть рыжіе, какъ глина, и смуглые, какъ арабы; у одного на лицѣ волосъ едва пробивается, у другого все лицо космато, какъ у звѣри; у каждого своя рваная шапка, свои лохмотья, свой голосъ, но тѣмъ не менѣе всѣ они непривычному глазу кажутся одинаковыми, такъ что долго нужно побыть между ними, чтобы научиться разбирать, кто изъ нихъ Митрій, кто Иванъ, кто Кузьма. Такое разительское сходство придается имъ одной общей печалью, которая лежитъ на всѣхъ блѣдныхъ, угрюмыхъ лицахъ, на всѣхъ лохмотьяхъ и рваныхъ шапкахъ — невылазной бѣдностью.

Работа ихъ непрерывна. Чтò ни шагъ, то Жижа дѣлаетъ поворотъ, а потому то и дѣло приходится перебѣгать съ краю на край и работать шестами, чтобы несущійся плотъ не налетѣлъ на берегъ, или не наскочилъ на утесъ, о который онъ могъ бы разорваться... Всѣ красны, вспотѣли и тяжело дышать. Ни одинъ не сидитъ, хотя среди плота и раскидана солома для сидѣнья. Бабы съ заболтанными, мокрыми подолами, тощія, оборванные, дѣлають то же, чтò и мужчины...

Оба берега залиты яркимъ свѣтомъ полуденнаго солнца, и передъ глазами сплавщиковъ мелькають картины одна другой краше. Съ быстротою птицы проносятся передъ ними лѣса, пашни, деревни, барскія усадьбы... Вотъ они видятъ передъ собой на высокомъ крутомъ берегу бѣлую церковь съ зеленымъ куполомъ. Прошла минута, и церкви уже нѣтъ, а видна только равнина, далеко залитая сердитой Жижей; за равниной тянется черная пашня, надъ которой пестрятъ не то грачи, не то галки...

Вотъ высокій и длинный, какъ грабли, мужикъ гонить по берегу тощую корову съ однимъ рогомъ... Далѣе барская усадьба: на балкончикѣ стоитъ барыня съ зонтикомъ и спѣшитъ указать дѣвчкѣ на плотъ; какой-то молодой человѣкъ въ венгеркѣ и высокихъ сапогахъ заглядываетъ въ вершу... Потомъ опять пашня, лѣсъ, деревня... Если теперь оглянуться назадъ, то бѣлая церковь едва бѣлѣетъ на горизонтѣ, а мужика съ коровой и слѣдъ простылъ... Но не думайте, что плотъ далеко ушелъ. Проходитъ еще немного времени, и сплавщики видятъ на горизонтѣ что-то бѣлое. Начинають вглядыва-

ваться, и — что за чудеса? — они несутся къ той церкви, которую только-что оставили позади... Чѣмъ ближе подходятъ къ ней, тѣмъ больше убѣждаются, что это она, та самая, на крутомъ берегу и съ зеленымъ куполомъ... Вотъ ужъ видны ея окна, крестъ на верхушкѣ, труба на крышѣ... Проѣхать еще минутку, и сплавщики будутъ у самой церкви, — но плотъ круто поворачиваетъ, и церковь опять остается позади...

Улучивъ минутку, три-четыре сплавщика сходятся на срединѣ плота, глядятъ другъ на друга и тяжело дышатъ. Это они отдыхаютъ. Между ними вы увидите единственного человѣка въ сапогахъ, сапогахъ ужасныхъ, кривыхъ, рыжихъ, но все-таки сапогахъ. Храмъ оставленный — все храмъ! Въ сапоги засунуты узкія суконныя брючки, до того никуда негодныя, что и критиковать ихъ даже грѣхъ.

Человѣкъ въ сапогахъ одѣтъ въ рваный полушубокъ, сквозь дыры котораго видна жилетка. На большой головѣ его торчитъ бросовая гимназическая фуражка съ поломаннымъ козырькомъ и до-нельзя грязными кантами. Лицо его, иснитое и обрюзглое, непохоже на лица остальныхъ сплавщиковъ... Однимъ словомъ, это личность, безъ которой теперь на Руси не обходится ни одна артель, ни одинъ кабакъ, ни одинъ сбродъ нищихъ и убогихъ... Эта личность страшно пришиблена судьбой, проникнута насквозь сознаниемъ своей низменности, и потому всячески старается скрыть свое «благородство», въ которомъ ее подозреваютъ... Въ рваномъ деревенскомъ полушубкѣ ей гораздо легче дышится, чѣмъ въ потертомъ пальто, или жилеткѣ, которую вы, расщедрившись, вздумаете ей пожертвовать. Разспрашивать, что она, откуда, чѣмъ была и о чемъ теперь помышляетъ, жалко да и бесполезно. Спросите только, и она навретъ вамъ, что она была и въ офицерахъ, и въ актерахъ, и въ заточеніи.

На плоту зовутъ эту личность Діомидомъ. Въ сплавщики Діомидъ попалъ не столько изъ желанія заработать три-четыре рубля, сколько обрадовавшись случаю проѣхать задаромъ въ городъ и избѣжать такимъ образомъ пѣшаго хожденія... Новизна дѣла занимаетъ его, и онъ всячески старается не уступать мужикамъ въ трудолюбіи. Онъ такъ же, какъ и они, бѣгаетъ съ края на край, суетится, тычетъ шестомъ, потѣетъ, еле дышитъ, но непривычка сказывается въ каждомъ его движеніи. Не по-

нимаетъ онъ дѣла, да кромѣ того слабосилеи и скоро утомляется... Какъ только увидить, что двое-трое остановились отдохнуть, онъ непременно пристанетъ къ нимъ.

Отдыхающіе глядятъ другъ на друга и начинаютъ разговоръ. Тема для разговоровъ на плотяхъ всегда одна и та же:

— Нонѣшнія времена, это которое... сушая бѣда! — лепечетъ козлиная бородка въ шапкѣ съ ушами. — Годовъ пять назадъ дешевле восьми рублей никакой сплавщикъ не бралъ. За восемь, сдѣлай милость, поплыву, а дешевле не желаю... А нынче еле четыре даютъ, а? Сушнее наказаніе! И отчего оно такъ стало, Господь его знаетъ!

— Народу много расплодилось... — кричитъ борода лопатой. — Некуда стало дѣвать народъ-то этотъ. Ты за четыре не пойдешь, такъ другой за три поидетъ. Прежде, бывало, ты бабу на плоту и за деньги не увидишь, а теперь, вишь, сколько ихъ насажали! А баба глупа, она и за рунь поидетъ...

— Четыре рубля... — бормочетъ козлиная бородка, задумчиво глядя на несущійся берегъ. — Четыре... Исторія!

Діомидъ поѣхалъ не изъ-за денегъ, для него все равно, что четыре, что восемь рублей, но, чтобы ввязаться въ разговоръ, онъ считаетъ нужнымъ поддакнуть.

— Мда... — говоритъ онъ. — Деньги паршивыя. А все оттого, братцы, что купецъ разжирѣлъ. Боятся съ деньгами разстаться.

Собесѣдники не отвѣчаютъ Діомиду. Они глядятъ впередъ, куда летитъ плотъ, и видятъ бѣлѣющее пятно. Плотъ опять несетъ къ той же бѣлой церкви. Божій храмъ ласково мигаетъ имъ солнцемъ, которое отражается въ его крестѣ и въ лоснящемся зеленомъ куполѣ, и словно общается не упускать ихъ изъ виду.

— Одначе какіе выкрутасы тутъ рѣка дѣлаетъ! — говоритъ Діомидъ. — Плыдемъ-плыдемъ, а все на одномъ мѣстѣ вертимся...

— Ежели прямо въ городъ ѣхать, то верстъ пятьдесятъ будетъ, а ежели рѣкой, то и шестьсотъ наберется. Эхъ, даль бы только Богъ, вода не сбывала, завтра вечеромъ на мѣстѣ будемъ...

День проходитъ благополучно, безъ приключеній, но къ вечеру плотъ насккиваетъ на бѣду. Сплавщики вдругъ сквозь начинающіяся сумерки усматриваютъ на

рѣкѣ препятствіе: у одного берега стоитъ крѣпко привязанный паромъ, а отъ парома въ другомъ берегу тянутся жидкія, едва только сколоченныя лавы. Какъ проѣхать? На обоихъ берегахъ сильное движеніе. Нѣсколько человѣкъ бѣгутъ навстрѣчу плоту, машутъ руками и кричатъ:

— Стой! Стой! Черти собачьи!

Оторопѣвшіе сплавщики останавливаютъ плотъ.

— Не смѣть плыть дальше! — кричитъ какой-то толстякъ съ краснымъ лицомъ и въ длинномъ драповомъ пальто. — Я васъ такъ пугну къ чорту съ вашими дровами, что вы живы не останетесь! У меня ужъ и такъ два раза лавы ломали, а вамъ не позволю!

Сплавщики переглядываются, мнутъ и снимаютъ шапки.

— Ваше степенство, какъ же намъ быть-то? — спрашиваетъ одинъ.

— Какъ знаете, а ломать лавы не позволю. У меня народъ то и дѣло на фабрику ходитъ, и безъ лавъ никакъ нельзя.

— Ваше благородіе, ужъ вы будьте благонадежны! — галдятъ сплавщики плачущими голосами. — Сдѣлайте милость! Мы ваши лавы соберемъ и къ мѣсту приставимъ, все какъ слѣдуетъ... по совѣсти! Заставьте вѣчно Бога молить!

— Ну, да, знаю васъ! Не смѣть!

Красная фізіономія грозитъ рукой и уходитъ. Сплавщики вѣшаютъ носы.

— Какъ онъ смѣетъ? — кипятится Діомидъ. — Чтò за самовольство? Не имѣетъ онъ права до положеннаго срока лавы ставить! Ребята, вы наплюйте! Нечего на болвана глядѣть!

Долго кипятится и ораторствуетъ Діомидъ, до самой ночи сплавщики ходятъ по берегу безъ шапокъ и кланяются, но ничто не помогаетъ... Приходится мириться съ судьбой.

Всю ночь около лавъ горитъ огонекъ. Сплавщики, измокшіе и продрогшіе, молча и не давая себѣ ни минуты отдыха, перетаскиваютъ черезъ лавы свои бревна и увязываютъ ихъ въ новый плотъ. Надъ этой египетской работой копошатся они, какъ муравьи, до самаго утра.

А утромъ опять плыть.

ЛЮБОВЬ.

«Три часа ночи. Въ окна мои смотрится тихая апрѣльская ночь и ласково мигаетъ мнѣ своими звѣздами. Я не сплю. Мнѣ такъ хорошо!

«Всего меня отъ головы до пятокъ распраетъ какое-то странное, непонятное чувство. Анализировать его сейчасъ не умѣю, некогда, лѣнь, да и Богъ съ нимъ, съ этимъ анализомъ! Ну, станетъ ли отыскивать смыслъ въ своихъ ощущеніяхъ человѣкъ, когда летитъ внизъ головой съ колокольни, или узнаетъ, что выигралъ двѣсти тысячъ? До этого ли ему?»

Приблизительно такъ начиналось любовное письмо къ Сашѣ, девятнадцатилѣтней дѣвочкѣ, въ которую я влюбился. Пять разъ начиналъ я его, столько же разъ принимался рвать бумагу, зачеркивалъ цѣлыя страницы и вновь ихъ переписывалъ. Возился я съ письмомъ долго, какъ съ заказнымъ романомъ, и вовсе не для того, чтобы письмо вышло длиннѣе, вычурнѣе и чувствительнѣе, а потому, что хотѣлось до безконечности продлить самый процессъ этого писанья, когда сидишь въ тиши своего кабинета, въ который глядится весенняя почъ, и бесѣдуешь съ собственными грезами. Между строкъ я видѣлъ дорогой образъ, и, казалось мнѣ, за однимъ столомъ со мной сидѣли духи, такіе же, какъ я, наивно-счастливые, глупые и блаженно улыбающіеся, и тоже строчили. Я писалъ и то и дѣло поглядывалъ на свою руку, которая все еще томилась отъ недавняго рукопожатія, а если мнѣ приходилось отводить глаза въ сторону, то я видѣлъ рѣшетку зеленой калитки. Сквозь эту рѣшетку Саша глядѣла на меня послѣ того, какъ я простился съ ней. Когда я прощался съ Сашей, я ни о чемъ не ду-

малъ и только любовался ея фигурой, какъ всякій порядочный человекъ любитъ хорошенькой женщиной; увидѣвъ же сквозь рѣшетку два большихъ глаза, я вдругъ, словно по нантию, понялъ, что я влюбленъ, что между нами все уже рѣшено и кончено, что мнѣ остается только соблюсти кое-какія формальности.

Большая также пріятность запечатать любовное письмо, медленно одѣться, выйти потихоньку изъ дому и нести это сокровище къ почтовому ящику. На небѣ ужъ нѣтъ звѣздъ: вмѣсто нихъ на востокѣ надъ крышами пасмурныхъ домовъ бѣлѣетъ длинная полоса, кое-гдѣ прерываемая облаками; отъ этой полосы по всему небу разливается блѣдность. Городъ спитъ, но ужъ водовозы выѣхали, и гдѣ-то на далекой фабрикѣ свистокъ будитъ рабочихъ. Возлѣ почтоваго ящика, слегка подернутаго росой, вы непременно увидите неуклюжаго дворника въ колоколообразномъ тулупѣ и съ палкой. Находится онъ въ состояніи каталепсіи: не спитъ и не бодрствуетъ, а что-то среднее.

Если бы почтовые ящики знали, какъ часто люди обращаются къ нимъ за рѣшеніемъ своей участи, то не имѣли бы такого смиреннаго вида. Я, по крайней мѣрѣ, едва не облобызалъ свой почтовый ящикъ и, глядя на него, вспомнилъ, что почта — величайшее благо!

Тому, кто когда-либо былъ влюбленъ, предлагаю вспомнить, что, опустивши въ почтовый ящикъ письмо, обыкновенно сѣвшишь домой, быстро ложишься въ постель и укрываешься одѣяломъ въ полной увѣренности, что не успѣешь завтра проснуться, какъ тебя охватитъ воспоминаніе о вчерашнемъ, и ты съ восторгомъ будешь глядѣть на окно, въ которомъ сквозь складки занавѣсокъ жадно пробивается дневной свѣтъ.

Но къ дѣлу... На другой день, въ полдень, горничная Саши принесла мнѣ такой отвѣтъ: «Я очень рада приходите сегодня пожалуйста къ намъ непременно я васъ буду ждать. Ваша С.». Залятой ни одной. Это отсутствіе знаковъ препинанія, «е» въ словѣ «непремѣнно», все письмо и даже длинный, узкій конвертикъ, въ который оно было вложено, наполняли мою душу умиленіемъ. Въ размашистомъ, но несмѣломъ почеркѣ я узналъ походку Саши, ея манеру высоко поднимать брови во время смѣха, движенія ея губъ... Но содержаніе письма меня не удовлетворило... Во-первыхъ, на поэтическія письма

такъ не отвѣчаютъ, и, во-вторыхъ, зачѣмъ мнѣ итти въ домъ Саши и ждать тамъ, пока толстая мамаша, братцы и приживалки догадаются оставить насъ наединѣ? Они и не подумаютъ догадаться, а нѣтъ ничего противнѣе, какъ сдерживать свои восторги ради того только, что около васъ торчитъ какой-нибудь одушевленный пустякъ, въ родѣ полуглухой старушки, или дѣвочки, пристающей съ вопросами. Я послалъ съ горничной отвѣтъ, въ которомъ предлагалъ Сашѣ избрать мѣстомъ для rendez-vous какой-нибудь садъ или бульваръ. Мое предложеніе было охотно принято. Я попалъ имъ, какъ говорится, въ самую жилку.

Въ пятомъ часу вечера я пробирался въ самый далекій и глухой уголокъ городского сада. Въ саду не было ни души, и свиданіе могло быть назначено гдѣ-нибудь поближе, на аллеяхъ или въ бесѣдкахъ, но женщины не любятъ романовъ наполовину: коли медъ, такъ и ложка, коли свиданіе, такъ подавай самую глухую и непроходимую чащу, гдѣ рискуешь наткнуться на жулика или подкутившаго мѣщанина. Когда я подошелъ къ Сашѣ, она стояла ко мнѣ спиной, а въ этой спинѣ прочесть я чертовски много таинственности. Казалось, спина, затылокъ и черныя крапинки на платьѣ говорили: тсс!.. Дѣвушка была въ простенькомъ ситцевомъ платьицѣ, поверхъ котораго была накинута легкая тальмочка. Для пущей таинственности лицо пряталось за бѣлой вуалью. Я, чтобы не портить гармоніи, долженъ былъ подойти на цыпочкахъ и начать говорить полупотомъ.

Насколько я теперь понимаю, въ этомъ rendez-vous я былъ не сутью, а только деталью. Сашу не столько занималъ онъ, сколько романичность свиданія, его таинственность, поцѣлуй, молчаніе угрюмыхъ деревьевъ, мои клятвы... Не было минуты, чтобы она забылась, замерла, сбросила съ своего лица выраженіе таинственности, и, право, будь вмѣсто меня какой-нибудь Иванъ Сидорычъ или Сидоръ Ивановичъ, она чувствовала бы себя одинаково хорошо. Извольте-ка при такихъ обстоятельствахъ добиться, любятъ васъ или нѣтъ? Если любятъ, то по-настоящему, или не по-настоящему?

Изъ сада повелъ я Сашу къ себѣ. Присутствіе въ холостой квартирѣ любимой женщины дѣйствуетъ, какъ музыка и вино. Обыкновенно начинаешь говорить о будущемъ, при чемъ самоувѣренность и самонадѣянность не знаютъ границъ. Строишь проекты, планы, съ жаромъ

толкуешь о генеральствѣ, не будучи еще прапорщикомъ, и въ общемъ несешь такую краснорѣчивую чушь, что слушательницѣ нужно имѣть много любви и незнанія жизни, чтобы поддакивать. Къ счастью для мужчинъ, любящихъ женщины всегда ослѣплены любовью и никогда не знаютъ жизни. Онѣ мало того, что поддакиваютъ, но еще блѣднѣютъ отъ священнаго ужаса, благоговѣютъ и ловятъ съ жадностью каждое слово маньяка. Саша слушала меня со вниманіемъ, но скоро на лицѣ ея прочелъ я разсѣянность: она меня не понимала. Будущее, о которомъ говорилъ я ей, занимало ее только своей внѣшностью, и напрасно я разворачивалъ передъ ней свои проекты и планы. Ее сильно интересовалъ вопросъ, гдѣ будетъ ея комната, какіе обои будутъ въ этой комнатѣ, зачѣмъ у меня піанино, а не рояль, и т. д. Она внимательно разсматривала штучки на моемъ столѣ, фотографіи, нюхала флаконы, отлѣпiała отъ конвертовъ старыя марки, которыя ей для чего-то нужны.

— Пожалуйста, собирай мнѣ старыя марки! — сказала она, сдѣлавъ серьезное лицо. — Пожалуйста!

Затѣмъ она нашла гдѣ-то на окнѣ орѣхъ, громко раскусила его и съѣла.

— Отчего ты не накленишь на свои книги билетиковъ? — спросила она, окинувъ взглядомъ шкапъ съ книгами.

— Зачѣмъ это?

— А такъ, чтобы у каждой книги свой номеръ былъ... А гдѣ я свои книги поставлю? У меня вѣдь тоже есть книги.

— А какія у тебя книги? — спросилъ я.

Саша подняла брови, подумала и сказала:

— Разныя...

И если бы я вздумалъ спросить ее, какія у нея мысли, убѣжденія, цѣли, она, навѣрное, такимъ же образомъ подняла бы брови, подумала и сказала: «разныя»...

Далѣе, я проводилъ Сашу домой и ушелъ отъ нея самымъ настоящимъ патентованнымъ женихомъ, какимъ и считался, пока насъ не обвинчали. Если читатель позволить мнѣ судить по одному только моему личному опыту, то я увѣряю, что женихомъ быть очень скучно, гораздо скучнѣе, чѣмъ быть мужемъ или пичѣмъ. Женихъ — это ни то ни се: отъ одного берега ушелъ, а къ другому не дошелъ; не женатъ и нельзя сказать, чтобы былъ холостъ, а такъ что-то похожее на состояніе дворника, о которомъ я упомянулъ выше.

Ежедневно, улучивъ свободную минутку, я слѣзилъ къ невѣстѣ. Обыкновенно, идя къ ней, я несъ съ собою тѣмъ надеждѣ, желаній, намѣреній, предложеній, фразъ. Мнѣ всякій разъ казалось, что едва только горничная откроетъ дверь, какъ я, которому душно и тѣсно, погружусь по горло въ прохладительное счастье. Но на дѣлѣ происходило иначе. Всякій разъ, приходя къ невѣстѣ, я заставлялъ всю семью ея и домочадцевъ за шитьемъ глупаго приданаго. (А ргорос: шили два мѣсяца и нашили меньше чѣмъ на сто рублей). Пахло утюгами, стеариномъ и угаромъ. Подъ ногами хрустѣлъ стеклянусь. Двѣ самыя главныя комнаты были завалены волнами полотна, коленкора и кисеи, а изъ волнъ выглядывала головка Саши съ ниточкой въ зубахъ. Всѣ шьющія встрѣчали меня радостнымъ крикомъ, но тотчасъ же выпроваживали въ столовую, гдѣ я не могъ мѣшать и видѣть то, что позволяется видѣть только мужьямъ. Скрѣпя сердце, я долженъ былъ сидѣть въ столовой и бесѣдовать съ приживалкой Пимеловной. Саша, озабоченная и встревоженная, то и дѣло пробѣгала мимо меня съ наперсткомъ, моткомъ шерсти или съ другой какой-нибудь скукой.

— Погоди, погоди... Я сейчасъ! — говорила она, когда я поднималъ на нее умоляющіе глаза. — Представь, подлая Степанида въ барезевомъ платьѣ весь лифъ испортила!

И, не дождавшись милости, я злился, уходилъ и прогуливался по тротуарамъ въ обществѣ своей жепиховской палочки. А то, бывало, захочешь погулять или покататься съ невѣстой, зайдешь къ пей, а она уже стоитъ со своей маменькой въ передней совсѣмъ одѣтая и играетъ зонтикомъ.

— А мы въ пассажъ идемъ! — говоритъ она. — Нужно прикупить еще кашемиру и шляпку переменить.

Пропала прогулка! Я привязывался къ барынямъ и шелъ съ ними въ пассажъ. Возмутительно скучно слушать, какъ женщины покупаютъ, торгуются и стараются перехитрить надувающаго лавочника. Мнѣ стыдно дѣлалось, когда Саша, переворочавъ массу матеріи и сбавивъ цѣну до minimum, уходила изъ магазина, ничего не купивъ или же приказавъ отрѣзать ей копеекъ на 40 — 50.

Выйдя изъ магазина, Саша и маменька съ озабоченными, испуганными лицами долго толковали о томъ, что

онѣ ошиблись, купили не того, что слѣдовало купить, что па ситцѣ слишкомъ темны цвѣточки, и т. д.

Нѣтъ, скучно быть женихомъ! Богъ съ нимъ!

Теперь я женатъ. Сейчасъ вечеръ. Я сижу у себя въ кабинетѣ и читаю. Позади меня на софѣ сидитъ Саша и что-то громко жуетъ. Мнѣ хочется выпить пива.

— Поищи-ка, Саша, штопоръ... — говорю я. — Тутъ онъ гдѣ-то валяется.

Саша вскакиваетъ, безпорядочно роется въ двухъ-трехъ бумажныхъ кинахъ, роняетъ спички и, не пайдя штопора, молча садится... Проходитъ минутъ пять-десять... Меня начинаетъ помучивать червячокъ — и жажда и досада...

— Саша, поищи же штопоръ! — говорю я.

Саша опять вскакиваетъ и роется около меня въ бумагахъ. Ея жеванье и шелестъ бумаги дѣйствуютъ на меня, какъ лязганье потираемыхъ другъ о друга ножей... Я встаю и самъ начинаю искать штопоръ. Наконецъ онъ найденъ и пиво откупорено. Саша остается около стола и начинаетъ длинно рассказывать о чемъ-то.

— Ты бы почитала что-нибудь, Саша... — говорю я.

Она беретъ книгу, садится противъ меня и принимается невеличить губами... Я гляжу на ея маленький лобикъ, шевелящіяся губы и задумываюсь.

«Ей двадцатый годъ... — думаю я. — Если взять интеллигентнаго мальчика такихъ же лѣтъ и сравнить, то какая разница! У мальчика и знанія, и убѣжденія, и умишко».

Но я прощаю эту разницу, какъ прощены узенькій побикъ и шевелящіяся губы... Бывало, помню, въ дни моего ловеласничества я бросалъ женщинъ изъ-за пятна на чулкѣ, изъ-за одного глупаго слова, изъ-за нечищенныхъ зубовъ, а тутъ я прощаю все: жеванье, возню со штопоромъ, неряшество, длинные разговоры о выѣденномъ яйцѣ. Прощаю я почти безсознательно, не насилуя своей воли, словно ошибки Саши — мои ошибки, а отъ многого, что прежде меня корбило, я прихожу въ умиленіе и даже восторгъ. Мотивы такого всепрощенія сидятъ въ моей любви къ Сашѣ, а гдѣ мотивы самой любви — право, не знаю.

ДЕНЬ ЗА ГОРОДОМЪ.

Девятый часъ утра.

Навстрѣчу солнцу ползетъ темная свинцовая громада. На ней то тамъ, то сямъ красными зигзагами мелькаетъ молнія. Слышны далекіе раскаты. Теплый вѣтеръ гуляетъ по травѣ, гнетъ деревья и поднимаетъ пыль. Сейчасъ брызнетъ майскій дождь и начнется настоящая гроза.

По селу бѣгаетъ шестилѣтняя нищенка Оекла и ищетъ сапожника Терентія. Бѣловолосая, босоногая дѣвочка блѣдна. Глаза ея расширены, губы дрожать.

— Дяденька, гдѣ Терентій? — спрашиваетъ она каждаго встрѣчнаго.

Никто не отвѣчаетъ. Всѣ заняты приближающейся грозой и прячутся въ избы. Наконецъ встрѣчается ей понамарь Силантій Силычъ, другъ и пріятель Терентія. Онъ идетъ и шатается отъ вѣтра.

— Дяденька, гдѣ Терентій?

— На огородахъ, — отвѣчаетъ Силантій.

Нищенка бѣжитъ за избы на огороды и находитъ тамъ Терентія; высокій старикъ съ рябымъ худощавымъ лицомъ и съ очень длинными ногами, босой и одѣтый въ порванную женскую кофту, стоитъ около грядокъ и пьяными посоловѣлыми глазками глядитъ на темную тучу. На своихъ длинныхъ, точно журавлиныхъ ногахъ онъ покачивается отъ вѣтра, какъ скворечня.

— Дяденька Терентій! — обращается къ нему бѣловолосая нищенка. — Дяденька, родненькій!

Терентій нагибается къ Оеклѣ, и его пьяное, суровое лицо покрывается улыбкой, какая бываетъ на лицахъ людей, когда они видятъ передъ собой что-нибудь маленькое, глупенькое, смѣшное, но горячо любимое.

— А-аа... раба Божія Оекла! — говоритъ онъ, нѣжно сюсюкая. — Откуда Богъ принесъ?

— Дяденька Терентій, — всхлипываетъ Оекла, дергая сапожника за полу. — Съ братцемъ Данилкой бѣда приключилась! Пойдемъ!

— Какая-такая бѣда? У-ухъ, какой громъ! Святъ, святъ, святъ... Какая бѣда?

— Въ графской рошѣ Данилка засунулъ въ дупло руку и вытащить теперь не можетъ. Поди, дяденька, вынь ему руку, сдѣлай милость!

— Какъ же это онъ руку засунулъ? Зачѣмъ?

— Хотѣлъ достать мнѣ изъ дупла кукушечье яйцо.

— Не успѣлъ еще день начаться, а у васъ уже горе... — крутилъ головой Терентій, медленно сплевывая. — Ну, что жъ мнѣ талеря съ тобой дѣлать? Надо иттить... Надо, волкъ васъ заѣшь, баловниковъ! Пойдемъ, сиротка!

Терентій идетъ съ огорода и, высоко поднимая свои длинные ноги, начинаетъ шагать вдоль по улицѣ. Онъ идетъ быстро, не глядя по сторонамъ и не останавливаясь, точно его пихаютъ сзади или пугаютъ погоней. За нимъ едва поспѣваетъ нищенка Оекла.

Путники выходятъ изъ деревни и по пыльной дорогѣ направляются къ синѣющей вдали графской рошѣ. Къ ней версты двѣ будетъ. А тучи уже заволокли солнце, и скоро на небѣ не останется ни одного голубого мѣстечка. Темнѣетъ.

— Святъ, святъ, святъ, — шепчетъ Оекла, спѣша за Терентіемъ.

Первые брызги, крупные и тяжелые, черными точками ложатся на пыльную дорогу. Большая капля падаетъ на щеку Оеклы и ползетъ слезой къ подбородку.

— Дождь, начался! — бормочетъ сапожникъ, взбудораживая пыль своими босыми, костистыми ногами. — Это слава Богу, братъ Оекла. Дождикомъ трава и деревья питаются, какъ мы хлѣбомъ. А въ разсужденіи грома, ты не бойся, сиротка. За что тебя этакую махонькую убивать?

Вѣтеръ, когда пошелъ дождь, утихаетъ. Шумитъ только дождь, стуча, какъ мелкая дробь, по молодой ржи и сухой дорогѣ.

— Измокнемъ мы съ тобой, Оеклушка! — бормочетъ Терентій. — Сухого мѣста не останется... Хо-хо, братъ! За шею потекло! Но ты не бойся, дура... Трава высох-

нетъ, земля высохнетъ, и мы съ тобой высохнемъ. Солнце одно для всѣхъ.

Надъ головами путниковъ сверкаетъ молнія сажени въ двѣ длины. Раздается раскатистый ударъ, и Оеклѣ кажется, что что-то большое, тяжелое и словно круглое катится по небу и прорываетъ небо надъ самой ея головой.

— Святъ, святъ, святъ... — крестится Терентій. — Не бойся, сиротка! Не по злобѣ гремить.

Ноги сапожника и Оеклы покрываются кусками тяжелой, мокрой глины. Итти тяжело, скользко, но Терентій шагаетъ все быстрѣй и быстрѣй... Маленькая слабосильная нищая задыхается и чуть не падаетъ.

Но вотъ наконецъ входятъ они въ графскую рощу. Омытая деревья, потревоженные налетѣвшимъ порывомъ вѣтра, сыплютъ на нихъ цѣлый потокъ брызговъ. Терентій спотыкается о пни и начинаетъ итти тише.

— Гдѣ же тутъ Данилка? — спрашиваетъ онъ. — Веди къ нему!

Оекла ведетъ его въ чащу и, пройдя съ четверть версты, указываетъ ему на брата Данилку. Ея братъ, маленькій, восьмилѣтній мальчикъ съ рыжей, какъ охра, головой и блѣднымъ болѣзненнымъ лицомъ, стоитъ, прислонившись къ дереву, и, склонивъ голову набокъ, косится на небо. Одна рука его придерживаетъ поношенную шапочку, другая спрятана въ дуплѣ старой липы. Мальчикъ всматривается въ гремящее небо и, повидимому, не замѣчаетъ своей бѣды. Заслышавъ шаги и увидѣвъ сапожника, онъ болѣзненно улыбается и говоритъ:

— Страсть какой громъ, Терентій! Отродясь такого грома не было...

— А рука твоя гдѣ?

— Въ дуплѣ... Вынь, сдѣлай милость, Терентій!

Край дупла надломился и ущемилъ руку Данилы: дальше просунуть можно, а двинуть назадъ никакъ нельзя. Терентій надламываетъ отломокъ, и рука мальчика, красная и помятая, освобождается.

— Страсть, какъ гремить! — повторяетъ мальчикъ, почесывая руку. — А отчего это гремить, Терентій?

— Туча на тучу надвигается... — говоритъ сапожникъ.

Путники выходятъ изъ рощи и идутъ по опушкѣ къ червящей дорогѣ. Громъ мало-по-малу утихаетъ, и раскаты его слышатся уже издалека, со стороны деревни.

— Тутъ, Терентій, наедни утки пролетѣли... — гово-

рить Данилка, все еще почесывая руку. — Должно, въ Гнилыхъ Займищахъ на болотахъ сядутъ. Оекла, хочешь, я тебѣ соловьиное гнѣздо покажу?

— Не трогай, потревожишь... — говоритъ Терентій, выжимая изъ своей шапки воду. — Соловей птица пѣвчая, безгрѣшная... Ему голосъ такой въ горлѣ даденъ, чтобъ Бога хвалить и человѣка увеселять. Грѣшно его тревожить.

— А воробья?

— Воробья можно, злая птица, ехидная. Мысли у него въ головѣ, словно у жулика. Не любить, чтобъ человѣку было хорошо. Когда Христа распинали, онъ жидамъ гвозди носилъ и кричалъ: «живѣ! живѣ!».

На небѣ показывается свѣтло-голубое пятно.

— Погляди-ка-сь! — говоритъ Терентій. — Муравейникъ разрыло! Затопило шельмовъ этакихъ!

Путники пагибаются надъ муравейникомъ. Ливень размылъ жилище муравьевъ: насѣкомыя встревоженно снуютъ по грязи и хлопочутъ около своихъ утонувшихъ сожителей.

— Ништо вамъ, не околѣете! — ухмыляется сапожникъ. — Какъ только солнышко пригрѣетъ, и придете въ чувство... Это вамъ, дуракамъ, наука. Въ другой разъ не будете селиться на низкомъ мѣстѣ.

Идутъ дальше.

— А вотъ и пчелы! — вскрикиваетъ Данилка, указывая на вѣтку молодого дуба.

На этой вѣткѣ, тѣсно прижавшись другъ къ другу, сидятъ измокшія и озябшія пчелы. Ихъ такъ много, что изъ-за нихъ не видно ни коры, ни листьевъ. Многія сидятъ другъ на другѣ.

— Это пчелиный рой, — учитъ Терентій. — Онъ леталъ и искалъ себѣ жилья, а какъ дождь-то брызнулъ на него, онъ и присѣлъ. Ежели рой летитъ, то нужно только водой на него брызнуть, чтобъ онъ сѣлъ. Таперь скажемъ, ежели захочешь ихъ забрать, то опусти вѣтку съ ними въ мѣшокъ, потряси, онѣ всѣ и попадаютъ.

Маленькая Оекла вдругъ морщится и сильно чешетъ себѣ шею. Братъ глядитъ на ея шею и видитъ на ней большой волдырь.

— Ге-ге! — смѣется сапожникъ. — Знаешь ты, братъ Оекла, откуда у тебя эта напасть? Въ рошѣ гдѣ-нибудь на деревѣ сидятъ шпанскія мухи. Вода текла съ нихъ и каннула тебѣ на шею — отъ того и волдырь.

Солнце показывается изъ-за облаковъ и заливаешь лѣсъ, поле и нашихъ путниковъ грѣющимъ свѣтомъ. Темная, грозная туча ушла уже далеко и унесла съ собою грозу, воздухъ становится тепелъ и пахучъ. Пахнетъ черемухой, медовой кашкой и ландышами.

— Это зелье даютъ, когда изъ носа кровь идетъ, — говоритъ Терентій, указывая на мохнатый цвѣтокъ. — Помогаетъ.

Слышится свистъ и громъ, но не тотъ громъ, который только-что унесли съ собой тучи. Передъ глазами Терентія, Данилы и Ѳеклы мчится товарный поѣздъ. Локомотивъ, пытая и дыша чернымъ дымомъ, тащитъ за собой больше двадцати вагоновъ. Силы у него необыкновенныя. Дѣтямъ интересно бы знать, какъ это локомотивъ не живой и безъ помощи лошадей можетъ двигаться и тащить такую тяжесть, и Терентій берется объяснить имъ это:

— Тутъ, ребята, вся штука въ парѣ... Паръ дѣйствуетъ... Онъ, стало-быть, претъ подъ эту штуку, что около колесъ, а оно и тово... этого... и дѣйствуетъ...

Путники проходятъ черезъ полотно желѣзной дороги и затѣмъ, спустившись съ насыпи, идутъ къ рѣкѣ. Идутъ они не за дѣломъ, а куда глаза глядятъ, и всю дорогу разговариваютъ... Данила спрашиваетъ, Терентій отвѣчаетъ.

Терентій отвѣчаетъ на всѣ вопросы, и нѣтъ въ природѣ той тайны, которая могла бы поставить его втупикъ. Онъ знаетъ все. Такъ, онъ знаетъ названіе всѣхъ полевыхъ травъ, животныхъ и камней. Онъ знаетъ, какими травами лѣчатъ болѣзни, не затруднитесь узнать, сколько лошади или коровѣ лѣтъ. Глядя на заходъ солнца, на луну, на птицъ, онъ можетъ сказать, какая завтра будетъ погода. Да и не одинъ Терентій такъ разуменъ, Силантій Силычъ, кабатчикъ, огородникъ, пастухъ, вообще вся деревня, знаютъ столько же, сколько и онъ. Учились эти люди не по книгамъ, а въ полѣ, въ лѣсу, на берегу рѣки. Учили ихъ сами птицы, когда пѣли имъ пѣсни, солнце, когда, заходя, оставляло послѣ себя багровую зарю, сами деревья и травы.

Данилка глядитъ на Терентія и съ жадностью вынимаетъ въ каждое его слово. Весной, когда еще не надоѣли тепло и однообразная зелень полей, когда все ново и дышитъ свѣжестью, кому не интересно слушать про

золотистыхъ майскихъ жуковъ, про журавлей, про колосящійся хлѣбъ и журчащіе ручьи?

Оба, сапожникъ и сирота, идутъ по полю, говорятъ безъ умолку и не утомляются. Они безъ конца бы ходили по бѣлу свѣту. Идутъ они и въ разговорахъ про красоту земли не замѣчаютъ, что за ними слѣдомъ сѣменить маленькая, тщедушная нищенка. Она тяжело ступаетъ и задыхается. Слезы повисли на ея глазахъ. Она рада бы оставить этихъ неутомимыхъ странниковъ, но куда и къ кому можетъ она уйти? У нея нѣтъ ни дома ни родныхъ. Хочешь не хочешь, а иди и слушай разговоры.

Передъ полднемъ всѣ трое садятся на берегу рѣки. Данила вынимаетъ изъ мѣшка кусокъ измокшаго, превратившагося въ кашу хлѣба, и путники начинаютъ ѣсть. Закусивъ хлѣбомъ, Терентій молится Богу, потомъ растягивается на песчаномъ берегу и засыпаетъ. Пока онъ спитъ, мальчикъ глядитъ на воду и думаетъ. Много у него разныхъ думъ. Недавно онъ видѣлъ грозу, пчелъ, муравьевъ, поѣздъ, теперь же передъ его глазами суетятся рыбешки. Однѣ рыбки съ вершокъ и больше, другія не длиннѣе погтя. Отъ одного берега къ другому, поднявъ вверхъ голову, приплываетъ гадюка.

Только къ вечеру наши странники возвращаются въ деревню. Дѣти идутъ на почлегъ въ заброшенный сарай, гдѣ прежде ссыпался общественный хлѣбъ, а Терентій, простившись съ ними, направляется къ кабаку. Прижавшись другъ къ другу, дѣти лежатъ на соломѣ и дремлютъ.

Мальчикъ не спитъ. Онъ смотритъ въ темноту, и ему кажется, что онъ видитъ все, что видѣлъ днемъ: тучи, яркое солнце, птицъ, рыбешекъ, долговязаго Терентія. Изобиліе впечатлѣній, утомленіе и голодъ берутъ свое. Онъ горитъ, какъ въ огнѣ, и ворочается съ боку на бокъ. Ему хочется высказать кому-нибудь все то, что теперь мерещится ему въ потемкахъ и волнуетъ душу, но высказать некому. Оекла еще мала, и не понять ей.

«Ужо завтра Терентію расскажу...» — думаетъ мальчикъ.

Засыпаютъ дѣти, думая о безпріютномъ сапожникѣ. А ночью приходитъ къ нимъ Терентій, креститъ ихъ и кладетъ имъ подъ головы хлѣба. И такую любовь не видитъ никто. Видитъ ее развѣ одна только луна, которая плыветъ по небу и ласково, сквозь дырявую стѣну, заглядываетъ въ заброшенный сарай.

ОТЪ-НЕЧЕГО-ДѢЛАТЬ.

Николай Андреевичъ Капитоновъ, нотариусъ, пообедалъ, выкурилъ сигару и отправился къ себѣ въ спальню отдыхать. Онъ легъ, укрылся отъ комаровъ кисеей и закрылъ глаза, но уснуть не сумѣлъ. Лукъ, съѣденный имъ вмѣстѣ съ окрошкой, поднялъ въ немъ такую изжогу, что о снѣ и думать нельзя было.

— Нѣтъ, не уснуть мнѣ сегодня, — рѣшилъ онъ, разъ пять перевернувшись съ боку на бокъ. — Стану газеты читать.

Николай Андреевичъ всталъ съ постели, набросилъ на себя халатъ и въ однихъ чулкахъ, безъ туфель, пошелъ къ себѣ въ кабинетъ за газетами. Онъ и не почувствовалъ, что въ кабинетѣ ожидало его зрѣлище, которое было гораздо интереснѣе изжоги и газетъ!

Когда онъ переступилъ порогъ кабинета, передъ его глазами открылась картина: на бархатной кушеткѣ, спустивъ ноги на скамеечку, полулежала его жена, Анна Семеновна, дама тридцати трехъ лѣтъ; поза ея, небрежная и томная, походила на ту позу, въ какой обыкновенно рисуется Клеопатра египетская, отравляющая себя змѣями. У ея изголовья на одномъ колѣнѣ стоялъ репетиторъ Капитоновыхъ, студентъ-техникъ I-го курса, Ваня Щупальцевъ, розовый, безусый мальчикъ лѣтъ 19 — 20. Смыслъ этой «живой» картины нетрудно было понять: передъ самымъ входомъ нотариуса уста барыни и юноши слились въ продолжительный, томительно-жгучій поцѣлуй.

Николай Андреевичъ остановился, какъ вкопанный, притаилъ дыханіе и сталъ ждать, что дальше будетъ, но не вытерпѣлъ и кашлянулъ. Техникъ оглянулся на кашель и, увидѣвъ нотариуса, отупѣлъ на мгновеніе, потомъ

же вспыхнулъ, вскочилъ и выбѣжалъ изъ кабинета. Анна Семеновна смутилась.

— Прекрасно! Мило! — началъ мужъ, кланяясь и разставляя руки. — Поздравляю! Мило и великолѣпно!

— Съ вашей стороны тоже мило... подслушивать! — пробормотала Анна Семеновна, стараясь оправиться.

— Merçi! Чудно! — продолжалъ нотаріусъ, широко ухмыляясь. — Такъ все это, мамочка, хорошо, что я готовъ сто рублей дать, чтобы еще разъ поглядѣть.

— Вовсе ничего не было... Это вамъ такъ показалось... Глупо даже...

— Ну да, а цѣловался кто?

— Цѣловались — да, а больше... не понимаю даже, откуда ты выдумалъ.

Николай Андреевичъ насмѣшливо поглядѣлъ на смущенное лицо жены и покачалъ головой.

— Свѣженькихъ огурчиковъ на старости лѣтъ захотѣлось! — заговорилъ онъ пѣвучимъ голосомъ. — Надоѣла бѣлужина, такъ вотъ къ сардинкамъ потянуло. Ахъ, ты, безстыдница! Впрочемъ, что жъ? Балъзаковскій возрастъ! Ничего не подѣлаешь съ этимъ возрастомъ! Понимаю! Понимаю и сочувствую!

Николай Андреевичъ сѣлъ у окна и забарабанилъ пальцами по подоконнику.

— И впредь продолжайте... — зѣвнулъ онъ.

— Глупо! — сказала Анна Семеновна.

— Чортъ знаетъ, какая жара! Велѣла бы лимонаду купить, что ли. Такъ-то, сударыня. Понимаю и сочувствую. Всѣ эти поцѣлуи, ахи да вздохи — фуй, изжога! — все это хорошо и великолѣпно, только не слѣдовало бы, матушка, мальчика смущать. Да-съ. Мальчикъ добрый, хорошій... свѣтлая головка и достоинъ лучшей участи. Поощрить бы его слѣдовало.

— Вы ничего не понимаете. Мальчикъ въ меня по уши влюбленъ, и я сдѣлала ему пріятное... позволила поцѣловать себя.

— Влюбился... — передразнилъ Николай Андреевичъ. — Прежде, чѣмъ онъ въ тебя влюбился, ты ему, небось, сто западней и мышеловокъ поставила.

Нотаріусъ зѣвнулъ и потянулся.

— Удивительное дѣло! — проворчалъ онъ, глядя въ окно. — Поцѣлуй я такъ же грѣшно, какъ ты сейчасъ, дѣвушку, на меня чортъ знаетъ что посыплется: зло-

дѣй! соблазнитель! развратитель! А вамъ, бальзаковскимъ барынямъ, все съ рукъ сходить... Не надо въ другой разъ луку въ крошку класть, а то околѣешь отъ этой изжоги... Фу! Погляди-ка скорѣй на твоего обже! Бѣжить по аллеѣ блѣдный финикъ, словно ошпаренный, безъ оглядки. Чай, воображаетъ, что я съ нимъ изъ-за такого сокровища, какъ ты, стрѣляться буду. Шкодливъ, какъ кошка, трусливъ, какъ заяцъ. Постой же, финикъ, задамъ я тебѣ фернапиксу! Ты у меня еще не такъ забѣгаешь!

— Нѣтъ, пожалуйста, ты ему ничего не говори! — сказала Анна Семеновна. — Не бранись съ нимъ, онъ нисколько не виноватъ.

— Я браниться не буду, а такъ только... шутки ради.

Нотаріусъ зѣвнулъ, забралъ газеты и, подобравъ полы халата, побрелъ къ себѣ въ спальню. Повалившись часа полтора и прочитавши газеты, Николай Андреевичъ одѣлся и отправился гулять. Онъ ходилъ по саду и весело помахивалъ своей тросточкой, но, увидавъ издалика техника Щупальцева, онъ скрестилъ на груди руки, нахмурился и зашагалъ, какъ провинціальныи трагикъ, готовящійся къ встрѣчѣ съ соперникомъ. Щупальцевъ сидѣлъ на скамьѣ подъ ясеню и блѣдный, трепещущій, готовился къ тяжелому объясненію. Онъ храбрился, дѣлалъ серьезное лицо, но его, какъ говорится, крѣчило. Увидавъ нотаріуса, онъ еще больше поблѣднѣлъ, тяжело перевелъ духъ и смиренно поджалъ подъ себя ноги. Николай Андреевичъ подошелъ къ нему бокомъ, постоялъ молча и, не глядя на него, началъ:

— Конечно, милостивый государь, вы понимаете, о чемъ я хочу говорить съ вами. Послѣ того, что я видѣлъ, наши хорошія отношенія продолжаться не могутъ. Да-съ! Волненіе мѣшаетъ мнѣ говорить, но... вы и безъ моихъ словъ поймете, что я и вы жить подъ одной крышей не можемъ. Я или вы!

— Я васъ понимаю, — пробормоталъ техникъ, тяжело дыша.

— Эта дача принадлежитъ женѣ, а потому здѣсь останетесь вы, а я... я уѣду. Я пришелъ сюда не упрекать васъ, нѣтъ! Упреками и слезами не вернешь того, что безвозвратно потеряно. Я пришелъ затѣмъ, чтобы спросить васъ о вашихъ намѣреніяхъ... (Пауза). Конечно, не мое дѣло мѣшаться въ ваши дѣла, но, согласитесь, въ

желаніи знать о дальнѣйшей судьбѣ горячо любимой женщины нѣтъ ничего такого... этакое, что могло бы показаться вамъ вмѣшательствомъ. Вы намѣрены жить съ моей женой?

— То-есть какъ-съ?—сконфузился техникъ, подгибая еще больше подъ скамью ноги.—Я... я не знаю. Все это какъ-то странно.

— Я вижу, вы уклоняетесь отъ прямого отвѣта,—проворчалъ угрюмо нотариусъ.—Такъ я вамъ прямо говорю: или вы берете соблазненную вами женщину и доставляете ей средства къ существованію, или же мы стрѣляемся. Любовь налагаетъ извѣстныя обязательства, милостивый государь, и вы, какъ честный человѣкъ, должны понимать это! Черезъ недѣлю я уѣзжаю, и Анна съ семьей поступаетъ подъ вашу ферулу. На дѣтей я буду выдавать опредѣленную сумму.

— Если Аннѣ Семеновѣ угодно, — забормоталъ юноша:—то я... я, какъ честный человѣкъ, возьму на себя... но я вѣдь бѣденъ! Хотя...

— Вы благородный человѣкъ!—прохрипѣлъ нотариусъ, потрясая руку техника.—Благодарю! Во всякомъ случаѣ даю вамъ недѣлю на размышленіе. Вы подумайте!

Нотариусъ сѣлъ рядомъ съ техникомъ и закрылъ руками лицо.

— Но что вы сдѣлали со мной!—простоналъ онъ.—Вы разбили мнѣ жизнь... отпiali у меня женщину, которую я любилъ больше жизни. Нѣтъ, я не перенесу этого удара!

Юноша съ тоской поглядѣлъ на него и почесалъ себѣ лобъ. Ему было жутко.

— Сами вы виноваты, Николай Андреичъ!—вздыхнулъ онъ.—Снявши голову, по волосамъ не плачутъ. Вспомните, что вы женились на Аннѣ только изъ-за денегъ... потомъ всю жизнь вы не понимали ея, тиранили... относились небрежно къ самымъ чистымъ, благороднымъ порывамъ ея сердца.

— Это она вамъ сказала? — спросилъ Николай Андреевичъ, вдругъ отнимая отъ лица руки.

— Да, она. Мнѣ извѣстна вся ея жизнь, и... и, вѣрьте, я полюбилъ въ ней не столько женщину, сколько страдалицу.

— Вы благородный человѣкъ...—вздыхнулъ нотариусъ, поднимаясь.—Прощайте и будьте счастливы. Надѣюсь, что все, что тутъ было сказано, останется между нами.

Николай Андреевичъ еще разъ вздохнулъ и зашагалъ къ дому.

На полдорогѣ встрѣтилась ему Анна Семеновна.

— Что, финка своего ищешь?—спросилъ онъ.—Ступай-ка, погляди, въ какой потъ я его вогналъ!.. А ты ужъ успѣла ему исповѣдаться! И что это у васъ, балъ-заковскихъ, за манера, ей-Богу! Красотой и свѣжестью брать не можете, такъ съ исповѣдью подѣзжаете, съ жалкими словами! Наврала съ три короба! И на деньгахъ-то 'я женился, и не понималъ я тебя, и тиранилъ, и чортъ, и дьяволъ!

— Ничего я ему не говорила!—вспыхнула Анна Семеновна.

— Ну, ну... я вѣдь понимаю, вхожу въ положеніе. Не бойся, не выговоръ дѣлаю. Мальчика только жалко. Хорошій такой, честный, искренній.

Когда наступилъ вечеръ и всю землю заволокло потемками, нотаріусъ еще разъ вышелъ на прогулку. Вечеръ былъ великолѣпный. Деревья спали, и, казалось, никакая буря не могла разбудить ихъ отъ молодого, весенняго сна. Съ неба, борясь съ дремотой, глядѣли звѣзды. Гдѣ-то за садомъ лѣниво квакали лягушки и пискала сова. Слышались короткіе, отрывистые свистки далекаго соловья.

Николай Андреевичъ, проходившій въ потемкахъ подъ широкой липой, наткнулся на Щупальцева.

— Что вы тутъ стоите?—спросилъ онъ.

— Николай Андреичъ!—началъ Щупальцевъ дрожащимъ отъ волненія голосомъ.—Я согласенъ на всѣ ваши условія, но... все это какъ-то странно... Вдругъ вы ни съ того ни съ сего несчастны... страдаете и говорите, что ваша жизнь разбита...

— Да, такъ что же?

— Если вы оскорблены, то... то, хоть я и не признаю дуэли, я могу удовлетворить васъ. Если дуэль хоть немного облегчитъ васъ, то, извольте, я готовъ... хоть сто дуэлей...

Нотаріусъ засмѣялся и взялъ техника за талію.

— Ну, ну... будетъ! Я вѣдь пошутилъ, голубчикъ!—сказалъ онъ.—Все это пустяки и вздоръ. Та дрянная и ничтожная женщина не стоитъ того, чтобы вы тратили изъ-за нея хорошія слова и волновались. Довольно, юноша! Пойдемте гулять.

— Я... я васъ не понимаю...

— И понимать нечего. Дряцкая, скверная бабенка и больше ничего!.. У васъ вкуса нѣтъ, голубчикъ. Что вы остановились? Удивляетесь, что я такія слова про жену говорю? Конечно, мнѣ не слѣдовало бы говорить вамъ этого, но такъ какъ вы тутъ нѣкоторымъ образомъ лицо заинтересованное, то съ вами нечего скрывать. Говорю вамъ откровенно: наплюйте! Игра не стоить свѣчь. Все она вамъ нагала и, какъ «страдалица», гроша мѣднаго не стоитъ. Бальзаковская барыня и психопатка. Глупа и много вретъ. Честное слово, голубчикъ! Я не шучу...

— Но вѣдь она вамъ жена!—удивился техникъ.

— Мало ли чего! Былъ такимъ же, какъ вотъ вы, и женился, а теперь радъ бы разжениться, да — тиррр... Наплюйте, милый! Любви-то вѣдь никакой, а одна только шалость, скука. Хотите шалить, такъ вонъ Настя идетъ... Эй, Настя, куда идешь?

— За квасомъ, баринъ!—послышался женскій голосъ.

— Это я понимаю,—продолжалъ нотаріусъ:—а всѣ эти психопатіи, страдалицы... ну ихъ! Настя дура, но въ ней хоть претензій нѣтъ... Дальше поидемъ?

Нотаріусъ и техникъ вышли изъ сада, оглянулись и, оба разомъ вздохнувши, пошли по полю.

1886.

ЧУЖАЯ БѢДА.

Было не болѣе шести часовъ утра, когда новоиспеченный кандидатъ правъ Ковалевъ сѣлъ со своей молодой женой въ коляску и покатилъ по проселочной дорогѣ. Онъ и его жена прежде никогда не вставали рано, и теперь великолѣпіе тихаго лѣтняго утра представлялось имъ чѣмъ-то сказочнымъ. Земля, одѣтая въ зелень, обрызганная алмазною росой, казалась прекрасной и счастливой. Лучи солнца яркими пятнами ложились на лѣсъ, дрожали въ сверкавшей рѣкѣ, а въ необыкновенно прозрачномъ, голубомъ воздухѣ стояла такая свѣжесть, точно весь міръ Божій только-что выкупался, отчего сталъ мо-
ложе и здоровѣй.

Для Ковалевыхъ, какъ потомъ они сами сознавались, это утро было самымъ счастливѣйшимъ въ ихъ медо-вомъ мѣсяцѣ, а стало-быть, и въ жизни. Они безъ умолку болтали, пѣли, безъ причины хохотали и дурачились до того, что въ концѣ концовъ имъ стало совѣстно кучера. Не только въ настоящемъ, но даже впереди имъ улы-балось счастье: ѣхали они покупать имѣніе—маленькій «поэтический уголокъ», о которомъ они мечтали съ пер-ваго дня свадьбы. Даль подавала обонимъ самыя блестящія надежды. Ему мерещились впереди служба въ зем-ствѣ, рациональное хозяйство, труды рукъ своихъ и про-чія блага, о которыхъ онъ такъ много читалъ и слы-шалъ, а ее соблазняла чисто-романтическая сторона дѣла: темныя аллеи, уженъе рыбы, душистыя ночи...

За смѣхомъ и разговорами они не замѣтили, какъ про-ѣхали 18 верстъ. Имѣніе надворнаго совѣтника Михай-лова, которое они ѣхали осматривать, стояло на вы-сокомъ, крутомъ берегу рѣчки и пряталось за березо-вой рощицей... Красная крыша едва виднѣлась изъ-за густой зелени, весь глинистый берегъ былъ усаженъ деревцами.

— А видъ не дуренъ!—сказалъ Ковалевъ, когда ко-ляска переѣзжала на ту сторону бродомъ.—Домъ на горѣ, а у подножія горы рѣка! Чортъ знаетъ, какъ мило! Только знаешь, Вѣрочка, лѣстница никуда не годится... весь видъ портитъ своей топорностью... Если мы купимъ это имѣніе, то непременно устроимъ чугунную лѣстницу...

Вѣрочкѣ тоже понравился видъ. Громко хохоча и гри-масничая всѣмъ тѣломъ, она побѣжала вверхъ по лѣст-ницѣ, мужъ за ней, и оба они, растрепанные, запыха-вшіеся, вошли въ рощу. Первый, кто встрѣтилъ ихъ около барскаго дома, былъ большой мужикъ, заспанный, воло-сатый и угрюмый. Онъ сидѣлъ у крылечка и чистилъ дѣтскій полусапожокъ.

— Г. Михайловъ дома?—обратился къ нему Кова-левъ.—Ступай, доложи ему, что пріѣхали покупатели имѣніе осматривать.

Мужикъ съ тупымъ удивленіемъ поглядѣлъ на Кова-левыхъ и медленно поплелся, но не въ домъ, а въ кухню, стоявшую въ сторонѣ отъ дома. Тотчасъ же въ кухонныхъ окнахъ замелькали фizioноміи, одна другой заспаниѣе и удивленнѣе.

— Покупатели пріѣхали!—послышался шопотъ. — Го-

споди, Твоя воля, Михалково продають! Погляди-ка-сь, какіе молоденькіе!

Залаяла гдѣ-то собака, и послышался злобный вопль, похожій на звукъ, какой издають кошки, когда имъ наступаютъ на хвостъ. Безпокойство дворни скоро перешло и на куръ, гусей и индѣекъ, мирно шагавшихъ по аллеямъ. Скоро изъ кухни выскочилъ малый съ лакейской фizioноміей; онъ пощурилъ глаза на Ковалевыхъ и, надѣвая на ходу пиджакъ, побѣждалъ въ домъ... Вся эта тревога показалась Ковалевымъ смѣшной, и они едва удерживались отъ смѣха.

— Какія курьезныя рожи!—говорилъ Ковалевъ, переглядываясь съ женой.—Они разсматриваютъ насъ, какъ дикарей.

Наконецъ изъ дома вышелъ маленькій человѣчекъ съ бритымъ, старческимъ лицомъ и взъерошенной прической... Онъ шаркнулъ своими рваными, шитыми золотомъ туфлями, кисло улыбнулся и уставилъ неподвижный взглядъ на непрощенныхъ гостей...

— Г. Михайловъ?—началъ Ковалевъ, приподнимая шляпу.—Честь имѣю кланяться... Мы вотъ съ женой прочли публикацію Земельнаго банка о продажѣ вашего имѣнія и теперь пріѣхали познакомиться съ нимъ. Быть-можетъ, купимъ. Будьте любезны, покажите намъ его.

Михайловъ еще разъ кисло улыбнулся, сконфузился и замигалъ глазами. Въ замѣшательствѣ онъ еще больше взъерошилъ свою прическу, и на бритомъ лицѣ его появилось такое смѣшное выраженіе стыда и ошалѣлости, что Ковалевъ и его Вѣрочка переглянулись и не могли удержаться отъ улыбки.

— Очень пріятно-сь,—забормоталъ онъ.—Къ вашимъ услугамъ-сь... Издалека-ль изволили пріѣхать-сь?

— Изъ Конькова... Тамъ мы живемъ на дачѣ.

— На дачѣ... Вона... Удивительное дѣло! Милости просимъ! А мы только-что встали и, извините, не совсѣмъ въ порядкѣ.

Михайловъ, кисло улыбаясь и потирая руки, повелъ гостей по другую сторону дома. Ковалевъ одѣлъ очки и съ видомъ знатока-туриста, обозрѣвающего достопримѣчательности, сталъ осматривать имѣніе. Сначала онъ увидѣлъ большой, каменный домъ старинной тяжелой архитектуры съ гербами, львами и съ облупившейся штукатуркой. Крыша давно уже не была крашена, стекла

отдавали радугой, изъ щелей между ступенями росла трава. Все было тихо, запущено, но въ общемъ домъ понравился. Онъ выглядывалъ поэтично, скромно и добродушно, какъ старая дѣвствующая тетка. Передъ нимъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ параднаго крыльца блисталъ прудъ, по которому плавали двѣ утки и игрушечная лодка. Вокругъ пруда стояли березы, всѣ одного роста и одной толщины.

— Ага, и прудъ есть, — сказалъ Ковалевъ, хмурясь отъ солнца. — Это красиво. Въ чемъ есть караси?

— Да-съ... Были когда-то и карпіи, но потомъ, когда перестали прудъ чистить, всѣ карпіи вымерли.

— Напрасно, — сказалъ менторскимъ тономъ Ковалевъ. — Прудъ нужно какъ можно чаще чистить, тѣмъ болѣе, что илъ и водоросли служатъ прекраснымъ удобреніемъ для полей... Знаешь чтò, Вѣра? Когда мы купимъ это имѣніе, то построимъ на пруду на сваяхъ бесѣдку, а къ ней мостикъ. Такую бесѣдку я видѣлъ у князя Афронтова.

— Въ бесѣдкѣ чай пить... — сладко вздохнула Вѣрочка.

— Да... А это чтò тамъ за башня со шпилемъ?

— Это флигель для гостей, — отвѣтилъ Михайловъ.

— Какъ-то некстати онъ торчитъ. Мы его сломаемъ. Вообще тутъ многое придется сломать. Очень многое!

Вдругъ ясно и отчетливо послышался женскій плачъ. Ковалевы оглянулись на домъ, но въ это самое время хлопнуло одно изъ оконъ, и за радужными стеклами только на мгновеніе мелькнули два большихъ заплаканныхъ глаза. Тотъ, кто плакалъ, видно, устыдился своего плача и, захлопнувъ окно, прятался за занавѣской.

— Не желаете ли садъ посмотрѣть и постройки? — быстро заговорилъ Михайловъ, морща свое и безъ того ужъ сморщенное лицо въ кислую улыбку. — Пойдемте-съ... Самое главное вѣдь не домъ, а.... остальное...

Ковалевы отправились осматривать конюшни и сарай. Кандидатъ правъ обходилъ каждый сарай, оглядывалъ, обнюхивалъ и рисовался своими познаніями по агрономической части. Онъ разспросилъ, сколько въ имѣніи десятинъ, сколько головъ скота, поборанилъ Россію за порубку лѣсовъ, упрекнулъ Михайлова въ томъ, что у него пропадаетъ даромъ много навоза, и т. д. Онъ говорилъ и то и дѣло взглядывалъ на свою Вѣрочку, а та все время не отрывала отъ него любящихъ глазъ и думала:

«Какой ты у меня умный!»

Во время осмотра скотного двора опять послышался плачь.

— Послушайте, кто это тамъ плачетъ?—спросила Вѣрочка.

Михайловъ махнулъ рукой и отвернулся.

— Странно,—пробормотала Вѣрочка, когда всхлипыванія обратились въ нескончаемый истерическій плачь.— Точно быють кого или рѣжутъ.

— Это жена, Богъ съ ней....—проговорилъ Михайловъ.

— Чего же она плачетъ?

— Слабая женщина-съ! Не можетъ видѣть, какъ родное гнѣздо продають.

— Зачѣмъ же вы продаете?—спросила Вѣрочка.

— Не мы продаемъ, сударыня, а банкъ...

— Странно, зачѣмъ же вы допускаете?

Михайловъ удивленно покосился на розовое лицо Вѣрочки и пожалъ плечами.

— Проценты нужно платить...—сказалъ онъ.—2.100 рублей каждый годъ! А гдѣ ихъ взять? Поневоля взвоешь. Женщины, извѣстно, слабый народъ. Ей вотъ и родного гнѣзда жалко, и дѣтей, и меня... и огъ прислуги совѣстно... Вы изволили сейчасъ тамъ около пруда сказать, что то нужно сломать, то постронть, а для нея это словно ножъ въ сердце.

Проходя обратно мимо дома, Ковалева видѣла въ окнахъ стриженного гимназиста и двухъ дѣвочек—дѣтей Михайлова. О чемъ думали дѣти, глядя на покупателей? Вѣрочка, вѣроятно, понимала ихъ мысли... Когда она садилась въ коляску, чтобы ѣхать обратно домой, для нея уже потеряли всякую прелесть и свѣжее утро и мечты о поэтическомъ уголкѣ.

— Какъ все это непріятно!—сказала она мужу.— Право, дать бы имъ 2.100 рублей! Пусть бы жили въ своемъ имѣньи.

— Какая ты умная! — засмѣялся Ковалевъ. — Конечно, жалъ ихъ, но вѣдь они сами виноваты. Кто велѣлъ имъ закладывать имѣнье? Зачѣмъ они его такъ запустили? И жалѣть ихъ даже не слѣдуетъ. Если съ умомъ эксплуатировать это имѣнье, ввести раціональное хозяйство, заняться скотоводствомъ и прочее, то тутъ отлично можно прожить... А они, свиньи, ничего не дѣлали... Онъ, навѣрное, пьянчуга и картежникъ,—видала

его рожу?—а она модница и мотовка. Знаю я этихъ гу-сей!

— Откуда же ты ихъ знаешь, Степа?

— Знаю! Жалуется, что нечѣмъ проценты заплатить. И какъ это, не понимаю, двухъ тысячъ не найти? Если ввести рациональное хозяйство... удобрять землю и заниматься скотоводствомъ... если вообще соображаться съ климатическими и экономическими условіями, то и одной десятиной прожить можно!

До самого дома болталъ Степа, а жена слушала его и вѣрила каждому слову, но прежнее настроеніе не возвращалось къ ней. Кислая улыбка Михайлова и два на мгновеніе мелькнувшихъ заплаканныхъ глаза не выходили изъ ея головы. Когда потомъ счастливый Степа два раза съѣз-диль на торги и на ея приданое купилъ Михал-ково, ей стало невыносимо скучно... Воображеніе ея не переставало рисовать, какъ Михайловъ съ семействомъ са-дится въ экипажъ и съ плачемъ выѣзжаетъ изъ насижен-наго гнѣзда. И чѣмъ мрачнѣе и сентиментальнѣе работа-ло ея воображеніе, тѣмъ сильнѣе хорохорился Степа. Съ самымъ ожесточеннымъ авторитетомъ толковалъ онъ о рациональномъ хозяйствѣ, выписывалъ пропасть книгъ и журналовъ, смѣялся надъ Михайловымъ—и подъ ко-нецъ его сельскохозяйственныя мечты обратились въ смѣ-лое, самое беззащѣнное хвастовство...

— Вотъ ты увидишь!—говорилъ онъ.—Я не Михай-ловъ, я покажу, какъ нужно дѣло дѣлать! Да!

Когда Ковалевы перебрались въ опустѣвшее Михал-ково, то первое, что бросилось въ глаза Вѣрочкѣ, были слѣды, оставленные прежними жильцами: расписаніе уро-ковъ, написанное дѣтской рукой, кукла безъ головы, си-ница, прилетѣвшая за подачкой, надпись на стѣнѣ: «На-таша дура», и проч. Многое надо было окрасить, пере-клеить и сломать, чтобы забыть о чужой бѣдѣ.

ТЫ И ВЫ.

Седьмой часъ утра. Кандидатъ на судебныя должности Попиковъ, исправляющій должность судебного слѣдователя въ посадѣ Н., спитъ сладкимъ сномъ человѣка, получающаго разъѣздня, квартирныя и жалованье. Кровати онъ не успѣлъ завести себѣ, а потому спитъ на справкахъ о судимости. Тишина. Даже за окнами нѣтъ звуковъ. Но вотъ въ сѣняхъ за дверью начинается что-то скрести и шуршать, точно свинья вошла въ сѣни и чешется бокомъ о косякъ. Немного погодя дверь съ жалобнымъ пискомъ отворяется и опять закрывается. Минуты черезъ три дверь вновь открывается и съ такимъ страдальческимъ пискомъ, что Попиковъ вздрагиваетъ и открываетъ глаза.

— Кто тамъ?—спрашиваетъ онъ, встревоженно глядя на дверь.

Въ дверяхъ показывается паукообразное тѣло—большая, мохнатая голова съ нависшими бровями и съ густой, растрепанной бородой.

— Тутъ господинъ слѣдователь живетъ, что ли?—хрипѣть голова.

— Тутъ. Чего тебѣ нужно?

— Поди скажи ему, что Иванъ Филаретовъ пришелъ. Насъ сюда повѣстками вызывали.

— Зачѣмъ же ты такъ рано пришелъ? Я тебя къ одиннадцати часамъ вызывалъ!

— А теперь сколько?

— Теперь еще и семи нѣтъ.

— Гм... И семи еще нѣтъ... У насъ, вашескородіе, нѣтъ часовъ... Стало-быть, ты будешь слѣдователь?

— Да, я... Ну, ступай отсюда, погоди тамъ... Я еще сплю.

— Спи, спи... Я погожу. Погодить можно.

Голова Филаретова скрывается. Попиковъ поворачивается на другой бокъ, закрываетъ глаза, но сонъ ужъ больше не возвращается къ нему. Повалявшись еще съ полчаса, онъ съ чувствомъ потягивается и выкуриваетъ папирску, потомъ медленно, чтобы растянуть время, одинъ за другимъ выпиваетъ три стакана молока...

— Разбудить, каналья!—ворчитъ онъ.—Нужно будетъ сказать хозяйкѣ, чтобы запирала на ночь дверь.—Ну, что я буду дѣлать спозаранку? Чортъ его подери... Попрошу его сейчасъ, потомъ не нужно будетъ допрашивать.

Попиковъ суетъ ноги въ туфли, накидываетъ поверхъ нижняго бѣлья крылатку и, зѣвая до боли въ скулахъ, садится за столъ.

— Поди сюда!—кричитъ онъ.

Дверь снова лищитъ, и на порогъ показывается Иванъ Филаретовъ. Попиковъ раскрываетъ передъ собой «Дѣло по обвиненію запаснаго рядового въ истязаніи жены своей Марѣы Андреевой», беретъ перо и начинаетъ быстро судейскимъ, разгонистымъ почеркомъ писать протоколъ допроса.

— Подойди поближе,—говоритъ онъ, треща по бумагѣ перомъ.—Отвѣчай на вопросы... Ты Иванъ Филаретовъ, крестьянинъ села Дунькина, Пустыревской волости, 42 лѣтъ?

— Точно такъ...

— Чѣмъ занимаешься?

— Мы пастухи... Мірской скотъ пасемъ...

— Подъ судомъ былъ?

— Точно такъ, былъ...

— За что и когда?

— Передъ Святой изъ нашей волости троихъ въ присяжные застѣдатели вызывали...

— Это не значитъ быть подъ судомъ...

— А кто его знаетъ! Почитай, пять сутокъ продержали...

Слѣдователь запахивается въ крылатку и, понизивъ тонъ, говоритъ:

— Вы вызваны въ качествѣ свидѣтеля по дѣлу объ истязаніи запаснымъ рядовымъ Алексѣемъ Дрыхуновымъ своей жены... Предупреждаю васъ, что вы должны говорить одну только сущую правду и что все, сказанное

здѣсь, вы должны будете подтвердить на судѣ присягой. Ну, что вы знаете по этому дѣлу?

— Что жъ мнѣ тебѣ рассказывать?—вздыхаетъ Филаретовъ:—23 версты проѣхалъ, а лошадь чужая, ваше-скородіе, заплатить нужно...

— Послѣ поговоришь о прогонахъ.

— Зачѣмъ послѣ? Мнѣ сказывали, что прогоны надо требовать въ судѣ, а то потомъ не получишь.

— Некогда мнѣ съ тобой о прогонахъ разговаривать!—сердится слѣдователь.—Рассказывай, какъ было? Какъ Дрыхуновъ истязалъ свою жену?

— Что жъ мнѣ тебѣ рассказывать?—вздыхаетъ Филаретовъ, мигая нависшими бровями.—Очень просто, драка была! Гоню я это, стало-быть, коровъ къ водопою, а тутъ по рѣкѣ чьи-то утки плаваютъ... Господскія онѣ или мужицкія, Христосъ ихъ знаетъ, только это, значить, Гришка-подпасокъ беретъ камень и давай швырять... «Зачѣмъ, спрашиваю, швыряешь? Убьешь... говорю. Попадешь въ какую ни на есть утку, ну и убьешь...»

Филаретовъ вздыхаетъ и поднимаетъ глаза къ потолку.

— Человѣка и то убить можно, а утка тварь слабая, ее и щепкой зашибить можно... Я говорю, а Гришутка не слушается... Извѣстно, дитѣ молодое, разсудка—ни Боже мой... «Что жъ ты, говорю, не слушаешься? Уши, говорю, оттреплю! Дуракъ!»

— Это къ дѣлу не относится,—говоритъ слѣдователь.—Рассказывайте только то, что дѣла касается...

— Слушаю. Только-что, это самое, норовилъ я его за уши схватить, какъ откуда ни возмись Дрыхуновъ... Идетъ по бережку съ фабричными ребятами и руками размахиваетъ. Рожа пухлая, красная, глазищи наружу лба выперло, а самъ такъ и качается... Выпивши, чтобъ его разодрало! Люди еще изъ обѣдни не вышли, а онъ ужъ набарабанился и чорта потѣшаетъ. Увидалъ онъ, какъ я мальчишку за уши хватаю, и давай кричать: «Не смѣй, говоритъ, христіанскую душу за уши трепать! А то, говоритъ, влетитъ!» А я ему честно и благородно... по-божески. «Проходи, говорю, мимо, пьяница этакая». Онъ осерчалъ, подходитъ и со всего размаху, вашескородіе, трахъ меня по затылку!.. За что? По какому случаю? «Какой ты такой, спрашиваю, мировой судья, что имѣешь полную праву меня бить?» А онъ и говоритъ: «Ну, ну, говоритъ, Ванюха, не обиждайся, это я тебя по дружбѣ,

для смѣху. На меня, говорить, нынче такое просвѣтлѣніе нашло... Я, говорить, такъ объ себѣ понимаю, что я самый лучший человѣкъ есть... я, говорить, 20 рублей жалованья на фабрикѣ получаю, и нѣтъ надо мной, акромѣ директора, никакого старшова... Плевать, говорить, желаю на всѣхъ прочихъ! И сколько, говорить, нынче много разнаго народу перебито, такъ это видимо-невидимо! Пойдемъ, говорить, выпьемъ!»—«Не желаю, говорю, съ тобой нить... Люди еще изъ обѣдни не вышли, а ты—пить!» А тутъ, которые прочіе ребята, что съ нимъ были, обступили меня, словно собаки, и тянутъ: «пойдемъ да пойдемъ!» Не было никакой возможности супротивъ всѣхъ итти, вашескородіе. Не хотѣлъ пить, а потомъ, чтобъ ихъ ободрало!..

— Куда же вы пошли?

— У насъ одно мѣсто!—вздыхаетъ Филаретовъ.—Пошли мы на постоялый дворъ къ Абраму Моисеичу. Туда всякій разъ ходимъ. Мѣсто такое каторжное, чтобъ ему пусто. Чай, самъ знаешь... Какъ поѣдешь по большой дорогѣ въ Дунькино, то вправѣ будетъ имѣнье барина Северина Францыча, а еще правѣ Плахтово, а промежъ нихъ и будетъ постоялый дворъ. Чай, знаешь Северина Францыча?

— Нужно говорить «вы»... Нельзя тыкать! Если я говорю тебѣ... вамъ «вы», то вы и подавно должны быть вѣжливымъ!

— Оно конечно, вашескородіе! Нешто мы не понимаемъ? Но ты слушай, что дальше... Приходимъ это къ Абрамкѣ... «Наливай, говорить, за мои деньги!»

— Кто говорить?

— Да этотъ самый... Дрыхуновъ то-есть! «Наливай, кричить, такой-сякой, а то по бочкѣ, дно вышибу! На меня, говорить, просвѣтлѣніе нашло!» Выпили мы по стаканчику, потомъ малость погодили и еще выпили, да этакимъ манеромъ въ часъ времени стакановъ, дай Богъ память, по восьми слопали! Миѣ что? Я пью, миѣ и горя мало! Не мои деньги! Хоть тыщу стакановъ подноси! Я, вашескородіе, нисколько не виноватъ! Извольте Абрама Моисеича допросить.

— Что же потомъ было?

— Ничего потомъ не было. Пока пили, это вѣрно, была драка, а потомъ все благородно и по совѣсти.

— Кто же дрался?

— Извѣстно, кто... «На меня, кричить, просвѣтлѣніе нашло!» Кричить и норовить кого ни на есть по шеѣ ударить. Въ азартъ вошелъ. И меня билъ, и Абрамку, и ребятъ... Поднесетъ стаканчикъ, дастъ тебѣ выпить и вдарить что есть силы! «Пей, говорить, и знай мою силу! Плевать на всѣхъ прочихъ!»

— А жену свою онъ билъ?

— Марѣу-то? И Марѣѣ досталось... Въ самый разъ, какъ это мы, стало-быть, стали въ куражъ входить, приходитъ въ кабакъ Марѣа. «Ступай, говорить, домой, братъ Степанъ пріѣхалъ! Будетъ, говорить, тебѣ, разбойникъ, водку пить!» А онъ, не говоря худого слова, трахъ поперекъ ейной спины!

— За что же?

— А такъ, здорово живешь... «Пушай, говорить, чувствуетъ... Я, говорить, 20 рублей получаю». А она баба слабая, тощая, такъ и перекрутилась, даже глаза подкатила. Стала она намъ на свое горе жалиться и Бога призывать, а онъ опять... Училъ-училъ, и конца тому ученью не было!

— Отчего же вы не заступились? Обезумѣвшій отъ водки человѣкъ убиваетъ женщину, а вы не обращаете вниманія!

— А какая намъ надобность вступаться? Его жена, онъ и учить... Двое дерутся, третій не мѣшайся... Абрамка сталь-было его унимать, чтобъ въ кабакъ не безобразилъ, а онъ Абрамку по уху. Абракинъ работникъ его... А онъ схватилъ его, поднялъ и оземь... Тогда тотъ сѣлъ на него верхомъ и давай въ спину барабанить... Мы его изъ-подъ него за ноги вытащили.

— Кого его?

— Извѣстно кого... На комъ верхомъ сидѣлъ...

— Кто?

— Да этотъ самый, про кого сказываю.

— Тьфу! Говори, дуракъ, толкомъ! Отвѣчай ты мнѣ на вопросы, а не болтай зря!

— Я тебѣ, вашескорodie, толкомъ говорю... все, какъ есть, по совѣсти. Дрыхуновъ училъ бабу, это вѣрно... Хоть подъ присягой.

Слѣдователь слушаетъ, выбираетъ кое-что изъ длинной и несвязной рѣчи Филаретова и трещитъ перомъ... То и дѣло приходится зачеркивать..

— А я нисколько не виноватъ, — бормочетъ Филаре-

товъ.—Спроси, вашескорodie, кого угодно. И баба того не стойтъ, чтобъ изъ-за ней по судамъ ѣздить.

По прочтеніи протокола свидѣтель тупо глядитъ на слѣдователя и вздыхаетъ.

— Горе съ этими бабами!—хрипитъ онъ.—Прогоня, вашескорodie, самъ заплатишь, или записочку дашь?

1886.

НЕДОБРАЯ НОЧЬ.

(НАБРОСКИ).

Слышится то отрывистый, то тревожно подвывающій собачій лай, какой издають псы, когда чуютъ врага, но не могутъ понять, кто и гдѣ онъ. Въ темномъ, осеннемъ воздухѣ, нарушая тишину ночи, носятся разнородные звуки: неясное бормотанье человѣческихъ голосовъ, суетливая, безпокойная бѣготня, скрипъ калитки, топотъ верховой лошади.

Во дворѣ Дядькинской усадьбы, передъ террасой господскаго дома, на опустѣвшей цвѣточной клумбѣ неподвижно стоятъ три темныя фигуры. Въ колоколообразномъ тулупѣ, перетянутомъ веревкой, съ отвисающими внизу ключьями бараньей шерсти, нетрудно узнать ночного сторожа Семена. Рядомъ съ нимъ высокій, тонконогій человѣкъ въ ииджакѣ и съ оттопыренными ушами—это лакей Гаврила. Третій въ жилеткѣ и рубахѣ на выпускъ, плотный и неуклюжій, напоминающій топорностью формъ деревянныхъ игрушечныхъ мужиковъ, зовется тоже Гаврилой и служить кучеромъ. Всѣ трое держатся руками за невысокій налесадики и глядятъ вдаль.

— Спаси и помилуй, Царица Небесная,—бормочетъ Семенъ взволнованнымъ голосомъ.—Страсти-то, страсти какія! Прогнѣвался Господь... Матерь Владычица...

— Это недалече, братцы...—говоритъ басомъ лакей Гаврила.—Верстъ шесть, не больше... Я такъ думаю, что это въ нѣмецкихъ хуторахъ...

— Нѣмецкіе хутора лѣвѣй,—перебиваетъ его кучеръ Гаврила.—Нѣмецкіе хутора тамъ, ежели ты вонъ на ту березу глядишь станешь. Это въ Крещенскомъ.

— Въ Крещенскомъ,—соглашается Семень.

Кто-то босикомъ, глухо стуча пятками, пробѣгаетъ по террасѣ и хлопаетъ дверью. Господскій домъ тогнуженъ въ сонъ. Окна черны, какъ сажа, глядятъ пасмурно, поосеннему, и только въ одномъ изъ нихъ виденъ слабый, тусклый свѣтъ отъ ночника съ розовымъ колпакомъ. Тутъ, гдѣ горитъ ночникъ, почиваетъ молодая барыня Марья Сергѣевна. Мужъ ея, Николай Алексѣевичъ, уѣхалъ куда-то играть въ карты и еще не возвращался.

— Настасья!—слышится крикъ.

— Барыня проснулась,—говоритъ Гаврила-лакей.—Постой, братцы, я ей наставленіе сдѣлаю. Пушай дозволить мнѣ взять лошадей и рабочихъ, сколько ихъ есть, я поѣду въ Крещенское и живо тамъ это самое... Народъ непонимающій, дубовый, надо распорядиться, какъ ичѣ.

— Ну да, ты распорядишься! Распоряжаться хочеть, а у самого зубы щелкають. И безъ тебя тамъ народу много... Чай, и становые, и урядники, и господа съѣхавшісь.

На террасѣ со звономъ отворяется стеклянная дверь, и показывается сама барыня.

— Чѣ такое? Чѣ за шумъ?—спрашиваетъ она, подходя къ тремъ сидуэтамъ.—Семень, это ты?

Не успѣваетъ Семень отвѣтить ей, какъ она въ ужасѣ отскакиваетъ назадъ и всплескиваетъ руками.

— Боже мой, какое несчастье!—вскрикиваетъ она.—Давно ли это? Гдѣ? И отчего же меня не разбудили?

Вся южная сторона неба густо залита багровымъ заревомъ. Небо воспалено, напряжено, зловѣщая краска мигаетъ на немъ и дрожитъ, точно пульсируетъ. На громадномъ, багрово-матовомъ фонѣ рельефно вырисовываются облака, бугры, оголенные деревья. Слышенъ торопливый, судорожный звонъ набата.

— Это ужасно, ужасно,—говоритъ барыня.—Гдѣ горитъ?

— Недалече, въ Крещенскомъ...

— Ахъ, Боже мой, Боже мой! Николая Алексѣича нѣтъ дома, и я не знаю, чѣ дѣлать. Управляющій знаетъ?

— Знають-сь... Они съ тремя бочками поѣхали туда.

— Бѣдные люди!

— А главное, барыня, рѣки у нихъ нѣтъ. Есть поганый прудишко, да и тотъ не въ самой деревнѣ.

— Да нешто водой потушишь?—говоритъ лакей Га-

врила.—Тутъ, главное, надо, чтобъ огню ходу не давать. Нужно, чтобъ которые понимающіе распорядились избы ломать... Дозвольте мнѣ, барыня, ѣхать.

— Не зачѣмъ тебѣ ѣхать, — отвѣчаетъ Марья Сергѣевна.—Ты тамъ только мѣшать будешь.

Гаврила обиженно кашляетъ и отходить въ сторону. Семень и другой Гаврила, не терпящіе интеллигентности и высокобѣрнаго тона лакея въ пиджакѣ, очень довольны замѣчаніемъ барыни.

— Стало-быть, только мѣшать будетъ!—говоритъ Семень.

И оба, сторожъ и кучеръ, точно желая щегольнуть передъ барыней своею степенностью, начинаютъ сыпать божественными словами:

— Наказалъ Господь за грѣхи... Вотъ то-то оно и есть! Человѣкъ грѣшитъ и не думаетъ объ томъ, какой онъ есть, а Господь и тово, это самое...

Видъ зарева дѣйствуетъ на всѣхъ одинаково. Какъ барыня, такъ и слуги чувствуютъ внутреннюю дрожь и холодъ, такой холодъ, что дрожатъ руки, голова, голосъ... Страхъ великъ, но нетерпѣніе еще сильнѣе... Хочется подняться выше и увидѣть самый огонь, дымъ, людей! Кажда сильныхъ ощущеній беретъ верхъ надъ страхомъ и состраданіемъ къ чужому горю. Когда зарево блѣднѣетъ, или кажется меньше, кучеръ Гаврила радостно заявляетъ:

— Ну, кажись, тушатъ! Помогай Богъ!

Но въ голосѣ его все-таки слышится нотка сожалѣнія. Когда же зарево вспыхиваетъ и становится какъ будто шире, онъ вздыхаетъ и отчаянно машетъ рукой, но по пыхтѣнью, съ какимъ онъ старается подняться на цыпочки, замѣтно, что онъ испытываетъ нѣкоторое наслажденіе. Всѣ сознаютъ, что видятъ страшное бѣдствіе, дрожатъ, но, прекратись вдругъ пожаръ, они почувствуютъ себя неудовлетворенными. Такая двойственность естественна, и напрасно ее ставятъ въ укоръ человѣку-эгоисту.

Какъ бы ни была зловѣща красота, но она все-таки красота, и чувство человѣка не въ состояніи не отдать ей дани.

Слышенъ маленькій громъ: кто-то тяжело ступаетъ по желѣзной крышѣ дома.

— Ванька, это ты?—кричитъ Семень.

— Я съ Настасьей!

— Свалишься, чортъ! Видать?

— Вида-ать! Въ Крещенскомъ, братцы!

— Въ слуховое окно, вѣроятно, видно, — говоритъ Марья Сергѣевна. — Развѣ пойти оттуда посмотрѣть?

Видъ несчастья сближаетъ людей. Забывшая свою чопорность барыня, Семенъ и двое Гаврилъ идутъ въ домъ. Блѣдные, дрожащіе отъ страха и жаждущіе зрѣлища, они проходятъ все комнаты и лѣзутъ по лѣстницѣ на чердакъ. Всюду темно, и свѣчка, которую держитъ Гаврила-лакей, не освѣщаетъ, а бросаетъ только вокругъ себя тусклыя свѣтовые пятна. Барыня первый разъ въ жизни видитъ чердакъ... Балки, темные углы, печныя трубы, запахъ паутины и пыли, странная, землистая почва подъ ногами — все это производитъ на нее впечатлѣніе сказочной декораціи.

«Такъ вотъ гдѣ домовые живутъ?» — думаетъ она.

Изъ слухового окна зарево кажется шире и багровѣй. Виденъ огонь. На горизонтѣ тянется длинная, ярко-золотая полоска. Она двигается и переливается, какъ ртуть.

— Ну, тутъ не одна изба горитъ. Тутъ, братъ, почитай, полдеревни захватило! — говоритъ кучеръ Гаврила.

— Слышь! Въ набать перестали бить. Значить, и церква загорѣлась.

— А церковь тамъ деревянная! — говоритъ барыня, задыхаясь отъ тяжелаго запаха, который испускаетъ овчинный тулупъ Семена. — Какое несчастье!

Насмотрѣвшись, они спускаются внизъ. Скоро приѣзжаетъ баринъ Николай Алексѣичъ. Въ гостяхъ онъ порядкомъ выпилъ и теперь, свернувшись въ коляскѣ колачикомъ, сладко похрапываетъ. Его будятъ. Онъ тупо глядитъ на зарево и бормочетъ:

— Верховую ло...лошадь! Жи...живо!

— Не нужно! — протестуетъ Марья Сергѣевна. — Ну, куда ты въ такомъ видѣ поѣдешь! Иди спать!

— Ло...лошадь! — приказываетъ онъ, покачиваясь.

Ему подають лошадь. Онъ взбирается на сѣдло, встряхиваетъ головой и исчезаетъ въ потемкахъ. Собаки между тѣмъ воютъ и рвутся, точно волка чуютъ. Около Семена и обоихъ Гаврилъ собираются бабы и мальчишки. Причитываньямъ, ахамъ, вздохамъ и крестнымъ знаменіямъ нѣтъ конца. Влетаетъ на дворъ верховой.

— Шесть человекъ сгорѣло, — бормочетъ онъ, запыхавшись. — Полдеревни — какъ рукой! Скота того пропало видимо-невидимо. Плотника Степана старуха сгорѣла.

Нетерпѣніе барыни достигаетъ крайнихъ предѣловъ. Движеніе и говоръ подзадариваютъ ее. Она велитъ положить коляску и сама ѣдетъ на пожаръ. Ночь темна и холодна. Почва слегка почерствѣла отъ слабаго предутренняго мороза, и лошади глухо стучатъ по ней, какъ по ковру. Лакей Гаврила сидитъ на козлахъ рядомъ съ кучеромъ и нетерпѣливо ёрзаетъ. Онъ оглядывается, бормочетъ, то и дѣло приподнимается съ такимъ видомъ, какъ будто отъ него зависитъ судьба Крещенскаго.

— Главное, не надо огню ходу давать...—бормочетъ онъ.—Все надо умѣючи, а нешто простой мужикъ понимаетъ?

Проѣхавъ верстъ пять-шесть, барыня видитъ нѣчто необыкновенно чудовищное, что приходится видѣть не всякому, да и то разъ въ жизни, и чего не можетъ представить себѣ никакая богатая фантазія. Громаднымъ костромъ пылаетъ деревня. Поле зрѣнія застилаетъ масса движущагося, ослѣпляющаго пламени, въ которомъ, какъ въ тумаяѣ, тонутъ избы, деревья и церковь. Яркій, почти солнечный свѣтъ мѣшается съ клубами чернаго дыма и матоваго пара, золотые языки скользятъ и съ жаднымъ трескомъ, улыбаясь и весело мигая, лижутъ черные остовы. Облака красной, золотистой пыли быстро несутся къ небу, и, словно для пущей иллюзіи, въ этихъ облакахъ ныряютъ встревоженные голуби. Въ воздухѣ стоитъ странная смѣсь звуковъ: чудовищный трескъ, хлопанье пламени, похожее на хлопанье тысячи птичьихъ крыльевъ, человѣческіе голоса, блеянье, мычанье, скрипъ колесъ. Церковь страшна. Изъ ея оконъ рвется наружу пламя и облака густого дыма. Колокольня виситъ чернымъ великаномъ въ массѣ свѣта и золотой пыли; она уже вся обгорѣла, но колокола все еще висятъ, и трудно понять, на чемъ они держатся...

По обѣ стороны дороги толкотня, напоминающая ярмарку или первый паромъ послѣ половодья. Люди, лошади, возы, груды рухляди, бочки. Все это движется, мѣшается, издаетъ звуки. Барыня глядитъ на этотъ хаосъ и слышитъ пронзительный крикъ своего мужа:

— Въ больницу его отправить! Облейте его водой!

А лакей Гаврила стоитъ на возу и машетъ руками. Освѣщенный, давая отъ себя длинную тѣнь, онъ кажется выше ростомъ...

— Подожгли, это какъ пить дать!—кричитъ онъ, вер-

тась, какъ чортъ передъ заутреней—Эхъ, вы! Не падо бы огню ходу давать! Ходу ему давать не надо!

Куда ни взглянешь, всюду блѣдныя, тупыя, словно одеревянѣлыя лица. Воютъ собаки, кудахчуть куры.

— Берегись!—кричатъ кучера съѣзжающихся сосѣдей-помѣщиковъ.

Необыкновенная картина! Марья Сергѣевна не вѣрить своимъ глазамъ, и только сильный жаръ даетъ ей чувствовать, что все это не сонъ...

1886.

НА МЕЛЬНИЦѢ.

Мельникъ Алексѣй Бирюковъ, здоровенный, коренастый мужчина среднихъ лѣтъ, фигурой и лицомъ похожій на тѣхъ топорныхъ, толстокожихъ и тяжело ступающихъ матросовъ, которые сятся дѣтамъ послѣ чтенія Жюль Верна, сидѣлъ у порога своей хижины и лѣниво сосалъ потухшую трубку. На этотъ разъ онъ былъ въ сѣрыхъ штанахъ изъ грубаго солдатскаго сукна, въ большихъ тяжелыхъ сапогахъ, но безъ сюртука и безъ шапки, хотя на дворѣ стояла настоящая осень, сырая и холодная. Сквозь разстегнутую жилетку свободно проникала сырая мгла, но большое, черствое, какъ мозоль, тѣло мельника, повидимому, не ощущало холода. Красное, мясистое лицо его, по обыкновенію, было апатично и дрябло, точно съ просонокъ, маленькіе, заплывшіе глазки угрюмо исподлбья глядѣли по сторонамъ то на плотину, то на два сарая съ навѣсами, то на старыя, неуклюжія ветлы.

Около сараевъ суетились два только-что пріѣхавшихъ монастырскихъ монаха: одинъ Клеона, высокій и сѣдой старикъ въ обрызганной грязью рясѣ и въ латанной скуфейкѣ, другой Діодоръ, чернобородый и смуглый, повидимому, грузинъ родомъ, въ обыкновенномъ мужицкомъ тулупѣ. Они снимали съ телѣгъ мѣшки съ рожью, привезенной ими для помола. Нѣсколько поодаль отъ нихъ на темной, грязной травѣ сидѣлъ работникъ Евсей, молодой, безусый парень въ рваномъ кургузомъ тулупѣ и

совершенно пьяный. Онъ мялъ въ рукахъ рыболовную сѣть и дѣлалъ видъ, что починаетъ ее.

Мельникъ долго водилъ глазами и молчалъ, потомъ уставился на монаховъ, таскавшихъ мѣшки, и проговорилъ грустымъ басомъ:

— Вы, монахи, зачѣмъ это въ рѣкѣ рыбу ловите? Кто вамъ дозволилъ?

Монахи ничего не отвѣтили и даже не взглянули на мельника.

Тотъ помолчалъ, закурилъ трубку и продолжалъ:

— Сами ловите, да еще посадскимъ мѣщанамъ позволяете. Я въ посадѣ и у васъ рѣку на откупъ взялъ, деньги вамъ плачу, стало-быть, рыба моя, и никто не имѣетъ полного права ловить ее. Богу молитесь, а воровать за грѣхъ не считаете.

Мельникъ зѣвнулъ, помолчалъ и продолжалъ ворчать:

— Ишь ты, какую моду взяли! Думаютъ, что, какъ монахи, въ святые записались, такъ на нихъ управы нѣтъ. Возьму вотъ и подамъ мировому. Мировой не поглядитъ на твою рясу, насидишься ты у него въ холодной. А то и самъ безъ мирового справлюсь. Попаду на рѣкѣ и такъ шею накостилю, что до страшнаго суда рыбы не захочешь!

— Напрасно вы такія слова говорите, Алексѣй Дорошеичъ!—проговорилъ Клеопа тихимъ теноркомъ.—Добрые люди, которые Бога боятся, такихъ словъ собакъ не говорятъ, а вѣдь мы монахи!

— Монахи,—передразнилъ мельникъ.—Тебѣ понадобится рыба? Да? Такъ ты купи у меня, а не воруй!

— Господи, да нешто мы воруемъ?—поморщился Клеопа.—Зачѣмъ такія слова? Наши послушники ловили рыбу, это точно, но вѣдь на это они отъ отца архимандрита дозволеніе имѣли. Отецъ архимандритъ такъ разсуждаютъ, что деньги взяты съ васъ не за всю рѣку, а только за то, чтобъ вы на нашемъ берегу имѣли право сѣти ставить. Рѣка не вся вамъ дадена... Она не ваша и не наша, а Божья...

— И архимандритъ такой же, какъ ты,—проворчалъ мельникъ, стуча трубкой по сапогу.—Любитъ обшить, тоже! А я разбирать не стану. Для меня архимандритъ все равно, что ты, или вотъ Евсей. Попаду его на рѣкѣ, такъ и ему влетитъ.

— А что вы собираетесь бить монаховъ, такъ это какъ

вамъ угодно. Для насъ же на томъ свѣтѣ лучше будетъ. Вы ужь били Виссаріона и Антипія, такъ бейте и другихъ.

— Замолчи, не трогай его! — проговорилъ Діодоръ, держа Клеопа за рукавъ.

Клеопа спохватился, умолкъ и сталъ таскать мѣшки, мельникъ же продолжалъ браниться. Ворчалъ онъ лѣниво, посасывая послѣ каждой фразы трубку и сплевывая. Когда изсякъ рыбный вопросъ, онъ вспомнилъ о какихъ-то его собственныхъ двухъ мѣшкахъ, которые якобы «зажулили» когда-то монахи, и сталъ браниться изъ-за мѣшковъ, потомъ, замѣтивъ, что Евсей пьянъ и не работаетъ, онъ оставилъ въ покоѣ монаховъ и набросился на работниковъ, оглашая воздухъ отборною, отвратительною руганью.

Монахи сначала крѣпились и только громко вздыхали, но скоро Клеопа не вынесъ... Онъ всплеснулъ руками и произнесъ плачущимъ голосомъ:

— Владыко Святый, нѣтъ для меня тягостнѣе послушанія, какъ на мельницу ѣздить! Сущій адъ! Адъ, истинно адъ!

— А ты не ѣзди! — огрызнулся мельникъ.

— Царица Небесная, рады бы сюда не ѣздить, да гдѣ же намъ другую мельницу взять? Самъ посуди, кромѣ тебя тутъ въ окрестности ни одной мельницы нѣтъ! Просто хоть съ голоду помирай, или немолотое зерно кушай!

Мельникъ не унимался и продолжалъ сыпать во все стороны ругань. Видно было, что ворчанье и ругань составляли для него такую же привычку, какъ сосанье трубки.

— Хотѣ ты нечистаго не поминай! — умолялъ Клеопа, оторопѣло мигая глазами. — Ну, помолчи, сдѣлай милость!

Скоро мельникъ умолкъ, но не потому, что его умолялъ Клеопа. На плотинѣ показалась какая-то старуха, маленькая, кругленькая, съ добродушнымъ лицомъ, въ какомъ-то странномъ полосатомъ салопикѣ, похожемъ на спинку жука. Она несла небольшой узелокъ и подпиралась маленькой палочкой.

— Здравствуйте, батюшки! — зашепелявила она, низко кланяясь монахамъ. — Помогай Богъ! Здравствуй, Алешенька! Здравствуй, Евсеюшка!

— Здравствуйте, маменька, — пробормоталъ мельникъ, не глядя на старуху и хмурясь.

— А я къ тебѣ въ гости, батюшка мой! — сказала она, улыбаясь и нѣжно заглядывая въ лицо мельника. — Давно не видала. Почитай, съ самаго Успеньева дня не видались... Радъ не радъ, а ужъ принимай! А ты словно похудѣлъ будто...

Старушонка усѣлась рядомъ съ мельникомъ, и около этого громаднаго человѣка ея салоникъ еще болѣе сталъ походить на жука.

— Да, съ Успеньева дня! — продолжала она. — Соскучилась, вся душа по тебѣ выболѣла, сыночекъ, а какъ соберусь къ тебѣ, то или дождь пойдетъ, или заболѣю...

— Сейчасъ вы изъ посада? — угрюмо спросилъ мельникъ.

— Изъ посада... Прямо изъ дому...

— При вашихъ болѣзняхъ и при такой комплекціи вамъ дома сидѣть нужно, а не по гостямъ ходить. Ну, зачѣмъ вы пришли? Башмаковъ не жалко?

— Поглядѣть на тебя пришла... Ихъ у меня, сыновъ-то, двое, — обратилась она къ монахамъ: — этотъ, да еще Василий, что въ посадѣ. Двоечко. Имъ-то все равно, жива я или померла, а вѣдь они-то у меня родные, утѣшеніе... Они безъ меня могутъ, а я безъ нихъ, кажется, и дня бы не прожила... Только вотъ, батюшка, стара стала, ходить къ нему изъ посада тяжело.

Наступило молчаніе. Монахи снесли въ сарай послѣдній мѣшокъ и сѣли на телѣгу отдыхать... Пьяный Евсей все еще мямл въ рукахъ сѣтъ и клевалъ носомъ.

— Не во-время пришли, маменька, — сказалъ мельникъ. — Сейчасъ мнѣ въ Каряжино ѣхать нужно.

— Ъзжай! Съ Богомъ! — вздохнула старуха. — Не бросать же изъ-за меня дѣло... Я отдохну часикъ и пойду назадъ... Тебѣ, Алешенька, кланяется Вася съ дѣтками...

— Все еще водку трескаетъ?

— Не то чтобы ужъ очень, а пьетъ. Нечего грѣха таить, пьетъ... Много-то пить, самъ знаешь, не на что, такъ вотъ развѣ иной разъ добрые люди поднесутъ... Плохое его житіе, Алешенька! Намучилась я, на него глядячи... Ъсть нечего, дѣтки оборванные, самъ онъ — на улицу стыдно глаза показать, всѣ штаны въ дырахъ и сапоговъ нѣтъ... Всѣ мы вшестеромъ въ одной комнатѣ спимъ. Такая бѣдность, такая бѣдность, что горчѣе и придумать нельзя... Съ тѣмъ къ тебѣ и шла, чтобы на бѣдность попросить... Ты, Алешенька, ужъ уважь старуху, помоги Василию... Братъ вѣдь!

Мельникъ молчалъ и глядѣлъ въ сторону.

— Онъ бѣдный, а ты — слава Тебѣ, Господи! И мельница у тебя своя, и огороды держишь, и рыбой торгуешь... Тебя Господь и умудрилъ, и возвеличилъ супротивъ всѣхъ, и насытилъ... И одинокій ты... А у Васи четверо дѣтей, я на его шеѣ живу, окайная, а жалованья-то всего онъ семь рублей получаетъ. Гдѣ жъ ему прокормить всѣхъ? Ты помоги...

Мельникъ молчалъ и старательно набивалъ свою трубку.

— Дашь? — спросила старуха.

Мельникъ молчалъ, точно воды въ ротъ набралъ. Не дождавшись отвѣта, старуха вздохнула, обвела глазами монаховъ, Евсея, встала и сказала:

— Ну Богъ съ тобой, не давай. Я и знала, что не дашь... Пришла я къ тебѣ больше изъ-за Назара Андреича... Плачетъ ужъ очень, Алешенька! Руки мнѣ цѣловалъ и все просилъ меня, чтобъ я сходила къ тебѣ и упростила...

— Чего ему?

— Просить, чтобъ ты ему долгъ отдалъ. Отвезъ, говорить, я ему рожь для помолу, а онъ назадъ и не отдалъ.

— Не ваше дѣло, маменька, въ чужія дѣла мѣшаться, — проворчалъ мельникъ. — Ваше дѣло Богу молиться.

— Я и молюсь, да ужъ что-то Богъ моихъ молитвъ не слушаетъ. Василий — нищій, сама я побираюсь и въ чужомъ салопѣ хожу, ты хорошо живешь, но Богъ тебя знаетъ, какая душа у тебя. Охъ, Алешенька, испортили тебя глаза завистливые! Всѣмъ ты у меня хорошъ: и уменъ, и красавецъ, и изъ купцовъ купецъ, но непохожъ ты на настоящаго человѣка! Непривѣтливый, никогда не улыбнешься, добраго слова не скажешь, немилостивый, словно звѣрь какой... Ишь какое лицо! А что народъ про тебя рассказываетъ, горе ты мое! Спроси-ка вотъ батюшекъ! Врутъ, будто ты народъ сосеешь, насильничаешь, со своими разбойниками-работниками по ночамъ прохожихъ грабишь да коней воруешь... Твоя мельница словно мѣсто какое проклятое... Дѣвки и ребята близко подходить бояться, всякая тварь тебя сторонится. Нѣтъ тебѣ другого прозванія, окромя какъ Каннъ и Иродъ...

— Глупыя вы, маменька!

— Куда ни ступишь, трава не растетъ, куда дых-

нешь — муха не летаетъ. Только и слышу я: «Ахъ, хотъ бы его скорѣй кто убилъ или засудили!» Каково-то матери слышать все это? Каково? Вѣдь ты мнѣ родное дитя, кровь моя...

— Одначе мнѣ ѣхать пора, — проговорилъ мельникъ, поднимаясь. — Прощайте, маменька!

Мельникъ выкатилъ изъ сарая дроги, вывелъ лошадь и, втолкнувъ ее, какъ собачонку, между оглобелей, началъ запрягать. Старуха ходила возлѣ него, заглядывала ему въ лицо и слезливо моргала.

— Ну, прощай! — сказала она, когда сынъ ея сталъ быстро натягивать на себя кафтанъ. — Оставайся тутъ съ Богомъ да не забывай насъ. Постой, я тебѣ гостинца дамъ... — забормотала она, понизивъ голосъ и развязывая узелъ. — Вчерась была у дьяконицы и тамъ угощали... такъ вотъ я для тебя спрятала...

И старуха протянула къ сыну руку съ небольшимъ мятнымъ пряникомъ.

— Отстаньте вы! — крикнулъ мельникъ и отстранилъ ея руку.

Старуха сконфузилась, уронила пряникъ и тихо ползлась къ плотинѣ... Сцена эта произвела тяжелое впечатлѣніе. Не говоря ужъ о монахахъ, которые вскрикнули и въ ужасѣ развели руками, даже пьяный Евсей окаменѣлъ и испуганно уставился на своего хозяина. Понялъ ли мельникъ выраженіе лицъ монаховъ и работника, или, быть-можетъ, въ груди его шевельнулось давно уже уснувшее чувство, но только и на его лицѣ мелькнуло что-то въ родѣ испуга.

— Маменька! — крикнулъ онъ.

Старуха вздрогнула и оглянулась. Мельникъ торопливо полѣзъ въ карманъ и досталъ оттуда большой, кожаный кошелекъ.

— Вотъ вамъ... — пробормоталъ онъ, вытаскивая изъ кошелька комокъ, состоявшій изъ бумажекъ и серебра. — Берите!

Онъ покрутилъ въ рукѣ этотъ комокъ, помялъ, для чего-то оглянулся на монаховъ, потомъ опять помялъ. Бумажки и серебряные деньги, скользя межъ пальцевъ, другъ за дружкой попадали обратно въ кошелекъ, и въ рукѣ остался одинъ только двугривенный... Мельникъ оглядѣлъ его, потеръ между пальцами и, крякнувъ, побагровѣвъ, подаль его матери.

ЗАКАЗЪ.

Помня обѣщаніе, данное редактору одного изъ еженедѣльныхъ изданій — написать святочный рассказъ «пострашнѣе и поэффектнѣе», Павелъ Сергѣичъ сѣлъ за свой письменный столъ и въ раздумьѣ поднялъ глаза къ потолку. Въ его головѣ бродило нѣсколько подходящихъ темъ. Потеревъ себѣ лобъ и подумавъ, онъ остановился на одной изъ нихъ, а именно, на темѣ объ убійствѣ, имѣвшемъ мѣсто лѣтъ десять тому назадъ въ городѣ, гдѣ онъ родился и учился. Обмакнувъ перо, онъ вздохнулъ и началъ писать.

Рядомъ съ кабинетомъ, въ гостиной сидѣли гости: двѣ дамы и студентъ. Жена Павла Сергѣича, Софья Васильевна, громко перелистывала ноты и брала безпорядочно аккорды.

— Господа, кто же будетъ аккомпанировать? — говорила она плачущимъ голосомъ. — Надя, идите хоть вы аккомпанируйте!

— Ахъ, милая, я ужъ три мѣсяца за рояль не садилась.

— Боже, какія ломаки! Ну, такъ я не стану пѣть! Стыдитесь, аккомпанементъ самый легкій!

Послѣ долгаго спора дамы усѣлись за рояль: одна ударила по клавишамъ, другая запѣла романсъ «Не говори, что молодость сгубила». Павелъ Сергѣичъ поморщился и положилъ перо. Послушавъ немного, онъ еще больше поморщился, вскочилъ и побѣжалъ къ двери.

— Софи, ты не такъ поешь! — закричалъ онъ. — Ты слишкомъ высоко взяла, а вы, Надежда Петровна, спѣшите, точно васъ по пальцамъ бьютъ. Нужно такъ: трамъ-трамъ... та... та...

Павелъ Сергѣичъ замахалъ руками и затопалъ ногой, показывая, какъ нужно игѣть и играть. Минуть черезъ пять онъ, подгѣвая женѣ, вернулся къ себѣ въ кабинетъ и продолжалъ писать:

«Ушаковъ и Винкель были молоды, почти однихъ лѣтъ, и оба служили въ одной и той же канцеляріи. Ушаковъ былъ женоподобенъ, нѣженъ, нервенъ и робокъ; Винкель же, въ противоположность своему другу, пользовался репутаціей человѣка грубаго, животнаго, разнузданнаго и неутомимаго въ удовлетвореніи своихъ страстей. Это былъ такой рѣдкій и исключительный эгоистъ, что я охотно вѣрю тѣмъ людямъ, которые считали его психически-ненормальнымъ. Ушаковъ и Винкель были дружны. Чтò могло связать эти два противоположныхъ характера, я рѣшительно не понимаю. Общее у нихъ было только одно — богатство. Ушаковъ былъ единственнымъ сыномъ у богатой матери, Винкель же считался наслѣдникомъ своей тетки-генеральши, любившей его, какъ родного сына. Въ человѣческихъ отношеніяхъ деньги служатъ прекраснымъ связующимъ началомъ. Возможность сорить деньгами направо и налево, покупать самыхъ красивыхъ женщинъ, щеголять, летать на тройкахъ, возбуждать всеобщую зависть, быть-можетъ, и была тѣмъ цементомъ, который связалъ двухъ глупыхъ мальчиковъ.

«Дружба Ушакова и Винкеля продолжалась недолго. Они обратились въ непримиримыхъ враговъ, когда оба одновременно влюбились въ модистку Касаткину, въ ничтожную, но очень пикантную женщину, славившуюся своими роскошными волосами. Она охотно отдалась за деньги обоимъ пріятелямъ. Пикантная женщина была достаточно развращена и практична, чтобы сумѣть возбудить въ обоихъ мальчикахъ ревность, а ничто такъ не обогащаетъ женщинъ, какъ ревность любовниковъ. Робкій и застѣпчивый Ушаковъ, скрѣпя сердце, терпѣлъ соперника, животный же и развратный Винкель, какъ и слѣдовало ожидать, далъ полную волю своему чувству».

— Павелъ Сергѣичъ! — закричали въ гостиной. — Пойдите сюда!

Павелъ Сергѣичъ вскочилъ и побѣжалъ къ дамамъ.

— Пой съ Мишелемъ дуэть! — сказала жена. — Ты пой первого, а онъ споетъ второго.

— Ладно! Давайте тонъ!

Павелъ Сергѣичъ взмахнулъ перомъ, на которомъ еще блестяли чернила, топнулъ ногой и, сдѣлавъ страдальческое лицо, залѣлъ со студентомъ «Ночи безумныя».

— Браво! — захохоталъ онъ, кончивъ пѣть и хватая студента за талію. — Какіе мы съ вами молодцы! Еще бы что-нибудь спѣть, да чортъ его подери, писать нужно!

— Да вы бросьте! Охота вамъ!

— Ни-ни-ни... Общались! И не искушайте! Сегодня же рассказъ долженъ быть готовъ!

Павелъ Сергѣичъ замахалъ руками, побѣждалъ къ себѣ и продолжалъ писать:

«Однажды, часовъ въ 10 вечера, когда Ушаковъ дежурилъ въ канцеляріи, Винкель пробрался въ дежурную комнату, подкрался сзади къ своему сопернику и небольшимъ топоромъ ударилъ его по головѣ. Какъ онъ въ моментъ убійства былъ животенъ и изступленъ, видно изъ того, что врачи-эксперты нашли на головѣ Ушакова одиннадцать ранъ. Преступникъ не разсуждалъ ни во время ни послѣ убійства. Покончивъ съ соперникомъ, онъ, обрызганный кровью, не выпуская изъ рукъ топора, полѣзъ для чего-то на чердакъ, оттуда черезъ слуховое окно пробрался на крышу; канцелярскіе сторожа долго слышали, какъ кто-то шагаль и карабкался по желѣзной крышѣ. Съ казеннаго зданія Винкель спустился по водосточной трубѣ на крышу сосѣдняго дома, съ этого дома перелѣзъ онъ на другой и такимъ образомъ блуждалъ по крышамъ до тѣхъ поръ, пока его не задержали.

«Убитаго Ушакова хоронилъ весь городъ съ музыкой и вѣнками. Общественное мнѣніе было возбуждено противъ убійцы до такой степени, что народъ толпами ходилъ къ тюрьмѣ, чтобы поглядѣть на стѣны, за которыми томился Винкель, и уже черезъ два-три дня послѣ похоронъ на могилѣ убитаго стоялъ крестъ съ мстительною надписью: «Погибъ отъ руки убійцы». Но ни на кого такъ не подѣйствовала смерть Ушакова, какъ на его мать. Несчастная старуха, узнавъ о смерти своего единственнаго сына, едва не сошла съ ума...»

Павелъ Сергѣичъ написалъ еще одну страничку, выкурилъ подъ рядъ двѣ папиросы, повалялся на кушеткѣ, потомъ опять сѣлъ за столъ и продолжалъ:

«Старуха Ушакова была введена въ залу суда подъ

руки и давала показанія, сидя въ креслѣ. Показанія ея состояли въ томъ, что она затряслась всѣмъ тѣломъ, обернулась къ подсудимому и, грозя на него кулаками, закричала:

«— Это ты убилъ моего сына! Ты!

«— Я не отказываюсь... — угрюмо проворчалъ Винкель.

«— Ты и не смѣешь отказаться! — продолжала старуха, не слушая предсѣдателя. — Ты убилъ!

«Тетка Винкеля, старая генеральша, отупѣвшая отъ горя, передъ тѣмъ, какъ давать показанія, минуты три безсмысленно глядѣла на своего племянника и потомъ спросила тономъ, заставившимъ вздрогнуть весь судъ:

«— Николай, чѣмъ ты сдѣлалъ?

«Больше она не могла говорить. Появленіе обѣихъ старухъ произвело на публику гнетущее впечатлѣніе. Разсказываютъ, что, встрѣтаясь въ коридорѣ суда, онѣ устроили другъ другу сцену, возмутившую до слезъ даже судейскихъ курьеровъ. Старуха Ушакова, ожесточенная горемъ, набросилась на генеральшу и осыпала ее ругательствами. Она говорила «ты», упрекала, бранилась, грозила Богомъ и проч. Тетка Винкеля сначала слушала ее молча, съ покорнымъ смиреніемъ, и только говорила:

«— Будьте милосердны! Онъ и я и такъ ужъ наказаны!

«Потомъ же не выдержала и на брань стала отвѣчать бранью.

«— Не будь у васъ сына, — кричала она: — мой Коля не сдѣлалъ бы теперь здѣсь! Вашъ сынъ погубилъ его! и т. д.

«Старухъ едва розняли... Вердиктомъ присяжныхъ Винкель былъ приговоренъ въ каторжныя работы на десять лѣтъ».

— У Никонова прекрасный басъ! — услышалъ Павелъ Сергѣичъ голосъ своей жены. — Прекрасный, густой, сочный басъ... Я не понимаю, милая, отчего онъ не идетъ въ оперу?

Павелъ Сергѣичъ сдѣлалъ большіе глаза и вскочилъ.

— Ты говоришь, у Никонова хорошій басъ? — спросилъ онъ, выглядывая въ гостиную. — У Никонова хорошій басъ?

— Да, у Никонова.

— Ну, матушка, значить, ты ничего не понимаешь... — развелъ руками Павелъ Сергѣичъ. — Твой Никоновъ — ко-

рова! Реветь, хрипитъ, точно изъ него кишки тянуть, а голосъ вибрируетъ и дрожитъ, какъ пробка въ пустой бутылкѣ! Не выношу! Слуху у твоего Никонова столько же, сколько у этого дивана!

— Никоновъ—пѣвецъ!—возмущался онъ, возвращаясь черезъ пять минутъ къ столу и садясь писать. — Боже мой, что за вкусы! Этому Никонову въ уличные пѣвцы итти, а не въ оперу!

Продолжая возмущаться, онъ сердито обмакнулъ перо и сталъ писать:

«Генеральша Винкель поѣхала въ Петербургъ хлопотать, чтобы ея племянника не вывозили къ позорному столбу. Пока она ѣздила, Винкель ухитрился бѣжать изъ тюрьмы».

— Какая чудная погода! — вздохнулъ въ гостиную студентъ.

«Его нашли, — продолжалъ Павелъ Сергѣичъ: — на вокзалѣ подъ товарнымъ вагономъ, откуда его вытащили съ большимъ трудомъ. Человѣку, очевидно, хотѣлось еще жить... Несчастный скалилъ зубы на конвойныхъ и, когда его вели въ тюрьму, горько плакалъ».

— Теперь за городомъ хорошо! — сказала Софья Васильевна. — Павелъ, да брось тамъ писать, ей-Богу!

Павелъ Сергѣичъ нервно почесалъ затылокъ и продолжалъ:

«Ходатайство тетки не увѣчалось успѣхомъ... Винкель передъ отъѣздомъ изъ родного города долженъ былъ неминуемо пережить позорный столбъ, но гордая тетка настаивала на своемъ: наканунѣ гражданской казни Винкель отравился. Его похоронили за кладбищемъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ хоронили самоубійцъ».

Павелъ Сергѣичъ поглядѣлъ въ окно на звѣздное небо, крикнулъ и пошелъ въ гостиную.

— Да, хорошо бы теперь катнуть за городъ! — сказалъ онъ, опускаясь въ кресло. — Погода — антикъ!

— Ну что жъ? И поѣдемъ! — всполошилась жена. — Поѣдьте, господа!

— Э, да кой чортъ! Мнѣ рассказъ окапчивать нужно! Едва половину написалъ... А хорошо бы оно позвать парочку троекъ... ямщиковъ сейчасъ къ чорту, съѣсть на козлы и—ай жги говори! Ахъ, чортъ меня подери, залетные! Только сначала нужно дома малость за галстукъ перепустить.

— И отлично! Давайте поѣдемъ!

— Ни ни... ни за что! Не двинусь съ мѣста, пока не кончу рассказъ! И не просите!

— Такъ вы идите, поскорѣй оканчивайте! Пока приѣдутъ тройки и принесутъ вино, вы успеете пять разъ кончить...

Дамы обступили Павла Сергѣича и затормошили его. Онъ махнулъ рукой и согласился. Студентъ побѣждалъ за тройками и виномъ, дамы засуетились. Прибѣжавъ къ себѣ, Павелъ Сергѣичъ схватилъ перо, стукнулъ кулакомъ по рукописи и продолжалъ:

«Каждый день старуха Ушакова ѣздила на могилу сына. Какая бы ни была погода, шелъ ли дождь, или бушевала злая вьюга, каждое утро часу въ десятомъ ея лошади стояли у воротъ кладбища, а она сама сидѣла у могилы, плакала и съ жадностью, точно любуясь, глядѣла на надпись: «Погибъ отъ руки убійцы».

Когда вернулся студентъ, Павелъ Сергѣичъ выпилъ залпомъ стаканъ вина и писалъ:

«Пять лѣтъ ѣздила она на кладбище, не пропуская ни одного дня. Кладбище стало ея вторымъ домомъ. На шестой годъ она заболѣла воспаленіемъ легкаго и цѣлый мѣсяцъ не ѣздила къ сыну».

— Да будетъ вамъ! — торопили Павла Сергѣича. — Бросьте! Нате, выпейте еще!

— Сейчасъ, сейчасъ... Дошелъ до самаго интереснаго мѣста... Погодите, голубчики, не мѣшайте...

«Приѣхавъ послѣ болѣзни на кладбище, — продолжалъ Павелъ Сергѣичъ: — старуха къ ужасу своему замѣтила, что она забыла, гдѣ находится могила ея сына. Болѣзнь отняла у нея память... Она бѣгала по кладбищу, по поясъ вязла въ снѣгу, умоляла сторожей... Сторожа могли указать ей мѣсто, гдѣ погребенъ ея сынъ, только приблизительно, такъ какъ, на несчастье старухи, во время ея долгаго отсутствія крестъ былъ украденъ съ могилы нищими, занимающимися продажей могильныхъ крестовъ».

«— Гдѣ онъ? — металась старуха. — Гдѣ мой сынъ? У меня во второй разъ отняли сына!»

— Да ты кончишь когда-нибудь или нѣтъ? — крикнула Софья Петровна. — Какъ это безсовѣстно заставлятъ пятавыхъ ожидать одного! Брось!

— Сейчасъ, сейчасъ, — бормоталъ Павелъ Сергѣичъ, выпивая стаканъ вина и морща лобъ. — Сейчасъ... Эхъ, ты мнѣ помѣшала!

Павелъ Сергѣичъ сильно потеръ себѣ лобъ, тупо обвелъ всѣхъ глазами и, нервно стуча каблукомъ, написалъ:

«Не найдя дорогой могилы, старуха, блѣдная, съ открытой головой, еле ступая и закрывая въ изнеможеніи глаза, направилась къ воротамъ, чтобы ѣхать домой. Но прежде, чѣмъ сѣсть въ экипажъ, ей пришлось пережить еще одну передрагу. У кладбищенскихъ воротъ она встрѣтила тетку Винкеля».

— Съ такими господами только такъ и можно поступать! — сказала одна изъ гостей и схватила со стола рукопись. — Ъдемъ!

Павелъ Сергѣичъ началъ-было протестовать, но потомъ махнулъ рукой, изорвалъ рукопись, выругалъ для чего-то редактора и, посвистывая, поскакалъ въ переднюю одѣвать дамъ.

1886.

НОЧЬ НА КЛАДБИЩѢ.

(Святочный разсказъ).

— Разскажите, Иванъ Ивановичъ, что-нибудь страшное!

Иванъ Ивановичъ покрутилъ усъ, кашлянулъ, причмокнулъ губами и, придвинувшись къ барышнямъ, началъ:

— Разсказъ мой начинается, какъ начинаются вообще всѣ лучшія русскія сказанія: былъ я, признаться, выпивши... Встрѣчалъ я Новый годъ у одного своего стариннаго пріятеля и нализался, какъ сорокъ тысячъ братьевъ. Въ свое оправданіе долженъ я сказать, что напился я вовсе не съ радости. Радоваться такой чепухѣ, какъ новый годъ, по моему мнѣнію, нелѣпо и недостойно человѣческаго разума. Новый годъ такая же дрянь, какъ и старый, съ тою только разницею, что старый годъ былъ плохъ, а новый всегда бываетъ хуже... По-моему, при встрѣчѣ Новаго года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубійство. Не надо забывать, что чѣмъ новѣе годъ, тѣмъ ближе къ смерти, тѣмъ обширнѣе плѣшь, извилистѣе морщины, старѣе жена, больше ребятъ, меньше денегъ...

«Итакъ, напился я съ горя... Когда я вышелъ отъ прі-

ителя, то соборные часы пробили ровно два. Погода на улицѣ стояла подлѣйшая... Самъ чортъ не разберетъ, была то зима или осень. Темнота кругомъ такая, что хоть глаза выколи: глядишь-глядишь и ничего не видишь, словно тебя въ жестянку съ ваксой посадили. Поролъ дождь... Холодный и рѣзкій вѣтеръ выводилъ ужасныя нотки; онъ вылъ, плакалъ, стоналъ, визжалъ, точно въ оркестръ природы дирижировала сама вѣдьма. Подъ ногами жалобно всхлипывала слякоть; фонари глядѣли тускло, какъ заплаканныя вдовы... Бѣдная природа переживала фридрихъ-хераусъ... Короче, была погода, которой порадовался бы тать и разбойникъ, но не я. смиренный и пьяненькій обыватель. Меня повергла она въ грустное настроеніе..

«Жизнь—канитель... — философствовалъ я, шлепая по грязи и пошатываясь.—Пустое безцвѣтное прозябаніе... миражъ... Дни идутъ за днями, годы за годами, а ты все такая же скотина, какъ и былъ... Пройдутъ еще годы; и ты останешься все тѣмъ же Иваномъ Ивановичемъ, выпивающимъ, закусывающимъ, спящимъ... Въ концѣ концовъ закопаютъ тебя, болвана, въ могилу, поѣдятъ на твой счетъ поминальныхъ блиновъ и скажутъ: хорошій былъ человекъ, но жалко, подлецъ, мало денегъ оставилъ!..

«Шелъ я съ Мѣщанской на Прѣсеню — дистанція для выпившаго почтенная... Пробираясь по темнымъ и узкимъ переулкамъ, я не встрѣтилъ ни одной живой души, не слышалъ ни одного живого звука. Боясь набрать въ калоши, я сначала шелъ по тротуару, потомъ же, когда, несмотря на предосторожности, мои калоши начали жалобно всхлипывать, я свернулъ на дорогу: тутъ меньше шансовъ наткнуться на тумбу или свалиться въ канаву.

«Мой путь былъ окутанъ холодной, непроницаемой тьмой; сначала я встрѣчалъ по дорогѣ тускло горяшіе фонари, потомъ же, когда я прошелъ два-три переулка, исчезло и это удобство. Приходилось пробираться ощупью... Вглядываясь въ потемки и слыша надъ собой жалобный вой вѣтра, я торопился... Душу мою постепенно наполнялъ неизъяснимый страхъ... Этотъ страхъ обратился въ ужасъ, когда я сталъ замѣчать, что я заблудился, сбился съ пути.

«— Извозчикъ! — кричалъ я.

«Отвѣта не послѣдовало... Тогда я порѣшилъ идти

прямо, куда глаза глядятъ, зря, въ надеждѣ, что рано или поздно я выйду на большую улицу, гдѣ есть фонари и извозчики. Не оглядываясь, боясь взглянуть въ сторону, я побѣжалъ... Навстрѣчу мнѣ дулъ рѣзкій, холодный вѣтеръ, въ глаза хлесталъ крупный дождь... То я бѣжалъ по тротуарамъ, то по дорогѣ... Какъ уцѣлѣлъ мой лобъ послѣ частыхъ прикосновеній къ тумбамъ и фонарнымъ столбамъ, мнѣ рѣшительно непонятно.

Иванъ Ивановичъ выпилъ рюмку водки, покрутилъ другой усь и продолжалъ:

— Не помню, какъ долго я бѣжалъ... Помню только, что въ концѣ концовъ я споткнулся и больно ударился о какой-то странный предметъ... Видѣть его я не могъ, а осязавши, я получилъ впечатлѣніе чего-то холодного, мокраго, гладко ошлифованнаго... Я сѣлъ на него, чтобы отдохнуть... Не стану злоупотреблять вашимъ терпѣніемъ, а скажу только, что когда, немного спустя, я зажегъ спичку, чтобы закурить паниросу, я увидѣлъ, что я сижу на могильной плитѣ...

«Я, не видѣвшій тогда вокругъ себя ничего, кромѣ тьмы, и не слышавшій ни одного человѣческаго звука, увидѣвъ могильную плиту, въ ужасѣ закрылъ глаза и вскочилъ... Сдѣлавъ шагъ отъ плиты, я наткнулся на другой предметъ... И представьте мой ужасъ! Это былъ деревянный крестъ...

«— Боже мой, я попалъ на кладбище!—подумалъ я, закрывая руками лицо и опускаясь на плиту.—Вмѣсто того, чтобы итти въ Нрѣсню, я побрелъ въ Ваганьково!

«Не боюсь я ни кладбищъ, ни мертвецовъ... Свободенъ я отъ предрасудковъ и давно уже отдѣлался отъ нянюшкиныхъ сказокъ, но, очутившись среди безмолвныхъ могилъ темною ночью, когда стоналъ вѣтеръ и въ головѣ бродили мысли одна мрачнѣе другой, я почувствовалъ, какъ волосы мои стали дыбомъ и по спинѣ разлился внутренній холодъ...

«— Не можетъ быть! — утѣшалъ я себя. — Это оптический обманъ, галлюцинація... Все это кажется мнѣ оттого, что въ моей головѣ сидятъ Дебре, Бауэръ и Арабажи... Трусъ!

«И въ то время, когда я бодрилъ себя такимъ образомъ, я услышалъ тихіе шаги... Кто-то медленно шелъ, но... то были не человѣческіе шаги... для человѣка они были слишкомъ тихи и медленны...

«Мертвецъ, — подумалъ я.

«Наконецъ этотъ таинственный «кто-то» подошелъ ко мнѣ, коснулся моего колѣна и вздохнулъ. Засимъ я услышалъ вой... Вой былъ ужасный, могильный, тянущій за душу... Если вамъ страшно слушать нянекъ, рассказы-вающихъ про воющихъ мертвецовъ, то каково же слышать самый вой! Я оступѣлъ и окаменѣлъ отъ ужаса... Дебре, Бауэръ и Арабажи выскочили изъ головы, и отъ пьянаго состоянія не осталось и слѣда... Мнѣ казалось, что если я открою глаза и рискну взглянуть на тьму, то увижу блѣдно-желтое, костлявое лицо, полусгнившій саванъ...

«— Боже, хоть бы скорѣе утро, — молился я.

«Но, пока наступило утро, мнѣ пришлось пережить одинъ невыразимый и неподдающийся описанію ужасъ. Сидя на плитѣ и слушая вой обитателя могилы, я вдругъ услышалъ новые шаги. Кто-то, тяжело и мѣрно ступая, шелъ прямо на меня... Поровнявшись со мной, новый выходецъ изъ могилы вздохнулъ, и минуту спустя костлявая рука тяжело опустилась на мое плечо... Я потерялъ сознание».

Иванъ Ивановичъ выпилъ рюмку водки и крикнулъ.

— Ну? — спросили его барышни.

— Очнулся я въ маленькой квадратной комнатѣ... Въ единственное, рѣшетчатое окошечко слабо пробивался разсвѣтъ... «Ну, — подумалъ я: — это, значить, меня мертвецы къ себѣ въ склепъ затащили...» Но какова была моя радость, когда я услышалъ за стѣной человѣческіе голоса:

«— Гдѣ ты его взялъ? — допрашивалъ чей-то басъ.

«— Около монументной лавки Бѣлобрысова, ваше благо-родіе, — отвѣчалъ другой басъ: — гдѣ памятники и кресты выставлены. Гляжу, а онъ сидитъ и обнимаетъ памятникъ, а около него чей-то песъ воетъ... Должно... выпивши...

«Утромъ, когда я проснулся, меня выпустили...»

ОТКРЫТІЕ.

Навозну кучу разрывая,
Иѣтухъ нашель жемчужное зерно...

Крыловъ.

Инжеперъ статскій совѣтникъ Бахромкинъ сидѣлъ у себя за письменнымъ столомъ и отъ-нечего-дѣлать настраивалъ себя на грустный ладъ. Не далѣе какъ сегодня вечеромъ, на балѣ у знакомыхъ онъ нечаянно встрѣтился съ барышней, въ которую лѣтъ 20 — 25 тому назадъ былъ влюбленъ. Въ свое время это была замѣчательная красавица. въ которую такъ же легко было влюбиться, какъ наступить сосѣду на мозоль. Особенно памятна Бахромкину ея большіе глубокіе глаза, дно которыхъ, казалось, было выстлано нѣжнымъ голубымъ бархатомъ, и длинныя, золотисто-каштановыя волосы, похожіе на поле поспѣвшей ржи, когда оно волнуется въ бурю передъ грозой... Красавица была неприступна, глядѣла сурово, рѣдко улыбалась, но зато, разъ улыбнувшись — «пламя гаснущихъ свѣчей она улыбкой оживляла»... Теперь же это была худосочная, болтливая старушенція съ кислыми глазами и желтыми зубами... Фи!

«Возмутительно! — думалъ Бахромкинъ, водя машинально карандашомъ по бумагѣ. — Никакая злая воля не въ состояніи такъ напакостить человѣку, какъ природа. Знай тогда красавица, что со временемъ она превратится въ такую чепуху, она умерла бы отъ ужаса...»

Долго размышлялъ такимъ образомъ Бахромкинъ и вдругъ вскочилъ, какъ ужаленный...

— Господи Иисусе! — ужаснулся онъ. — Это что за новости? Я рисовать умѣю?!

На листѣ бумаги, по которому машинально водилъ карандашъ, пзъ-за аляповатыхъ штриховъ и каракуль вы-

глядывала прелестная женская головка, та самая, въ которую онъ былъ когда-то влюбленъ. Въ общемъ рисунокъ хромалъ, но томный, суровый взглядъ, мягкость очертаній и беспорядочная волна густыхъ волосъ были переданы въ совершенствѣ.

— Что за оказія? — продолжалъ изумляться Бахромкинъ. — Я рисовать умѣю! Пятьдесятъ два года жилъ на свѣтѣ, не подозрѣвалъ въ себѣ никакихъ талантовъ, и вдругъ на старости лѣтъ — благодарю, не ожидалъ — талантъ явился! Не можетъ быть!

Не вѣря себѣ, Бахромкинъ схватилъ карандашъ и около красивой головки нарисовалъ голову старухи... Эта удалась ему такъ же хорошо, какъ и молодая.

— Удивительно! — пожалъ онъ плечами. — И какъ недурно, чортъ возьми! Каковъ? Стало-быть, я художникъ! Значить, во мнѣ призваніе есть! Какъ же я этого раньше не зналъ? Вотъ диковина!

Найди Бахромкинъ у себя въ старомъ жилетѣ деньги, получи извѣстіе, что его произвели въ дѣйствительные статскіе, онъ не былъ бы такъ пріятно изумленъ, какъ теперь, открывъ въ себѣ способность творить. Цѣлый часъ провозился онъ у стола, рисуя головы, деревья, пожаръ, лошадей...

— Превосходно! Bravo! — восхищался онъ. — Поучиться бы только техникѣ, совѣмъ бы отлично было.

Рисовать дольше и восхищаться помѣшалъ ему лакей, внесшій въ кабинетъ столикъ съ ужиномъ. Съѣвши рябчика и выпивъ два стакана бургонскаго, Бахромкинъ раскисъ и задумался... Вспомнилъ онъ, что за всѣ 52 года онъ ни разу и не помыслилъ даже о существованіи въ себѣ какого-либо таланта. Правда, тяготѣніе къ изящному чувствовалось всю жизнь. Въ молодости онъ подвизался на любительской сценѣ, игралъ, пѣлъ, малевалъ декораціи... Потомъ, до самой старости онъ не переставалъ читать, любить театръ, записывать на память хорошіе стихи... Острилъ онъ удачно, говорилъ хорошо, критиковалъ мѣтко. Огонекъ, очевидно, былъ, но всячески заглушался суетою...

«Чѣмъ чортъ не шутить, — подумалъ Бахромкинъ: — можетъ-быть, я еще умѣю стихи и романы писать? Въ самомъ дѣлѣ, что, если бы я открылъ въ себѣ талантъ въ молодости, когда еще не поздно было, и сталъ бы художникомъ или поэтомъ? А?»

И передъ его воображеніемъ открылась жизнь, непохожая на миллионы другихъ жизней. Сравнивать ее съ жизнями обыкновенныхъ смертныхъ совѣмъ невозможно.

«Правы люди, что не даютъ имъ чиновъ и орденовъ... — подумалъ онъ. — Они стоятъ внѣ всякихъ ранговъ и капитуловъ... Да... и судить-то объ ихъ дѣятельности могутъ только избранные...»

Тутъ же кстати Бахромкинъ вспомнилъ случай изъ своего далекаго прошлаго... Его мать, нервная, эксцентричная женщина, идя однажды съ нимъ, встрѣтила на лѣстницѣ какого-то пьянаго безобразнаго челоѣка и поцѣловала ему руку. «Мама, зачѣмъ ты это дѣлаешь?» — удивился онъ. — «Это поэтъ!» — отвѣтила она. И она, по его мнѣнію, права... Поцѣлуй она руку генералу или сенатору, то это было бы лакействомъ, самоуничиженіемъ, хуже котораго для развитой женщины и придумать нельзя, поцѣловать же руку поэту, художнику или композитору — это естественно...

«Вольная жизнь, не будничная... — думалъ Бахромкинъ, идя къ постели. — А слава, извѣстность? Какъ я широко ни шагай по службѣ, на какія ступени ни взбирайся, а имя мое не пойдетъ дальше муравейника... У нихъ же совѣмъ другое... Поэтъ или художникъ спитъ или пьянствуетъ себѣ безмятежно, а въ это время незамѣтно для него въ городахъ и весяхъ зубрятъ его стихи, или разсматриваютъ картинки... Не зная ихъ именъ считается невоспитанностью, невѣжествомъ... мовѣтствомъ...»

Окончательно раскисшій Бахромкинъ опустился на кровать и кивнулъ лакею... Лакей подошелъ къ нему и принялся осторожно снимать съ него одежду за одеждой.

«Мда... необыкновенная жизнь... Про желѣзные дороги когда-нибудь забудутъ, а Фидія и Гомера всегда будутъ помнить... На что плохъ Тредьяковскій, и того помнить... Бррр... холодно!.. А что, если бы я сейчасъ былъ художникомъ? Какъ бы я себя чувствовалъ?»

Пока лакей снималъ съ него дневную сорочку и надѣвалъ ночную, онъ нарисовалъ себѣ картину... Вотъ онъ, художникъ или поэтъ, темною ночью плетется къ себѣ домой... Лошадей у талантовъ не бываетъ; хочешь не хочешь, иди иѣшкомъ... Идетъ онъ жалконькій, въ порывѣломъ пальто, быть-можетъ, даже безъ калошъ... У входа въ меблированныя комнаты дремлетъ швейцаръ;

эта грубая скотина отворяетъ дверь и не глядитъ... Тамъ, гдѣ-то въ толпѣ имя поэта или художника пользуется почетомъ, но отъ этого почета ему ни тепло ни холодно: швейцаръ не вѣжливѣе, прислуга не ласковѣе, домочадцы не снисходительнѣе... Имя въ почетѣ, но личность въ забросѣ... Вотъ онъ, утомленный и голодный, входитъ наконецъ къ себѣ въ темный и душный номеръ... Ему хочется ѣсть и пить, но рябчиковъ и бургонскаго — увы! — нѣтъ... Спать хочется ужасно, до того, что слипаются глаза и падаетъ на грудь голова, а постель жесткая, холодная, отдающая гостиницей... Воду наливай себѣ самъ, раздѣвайся самъ... ходи босикомъ по холодному полу... Въ концѣ концовъ онъ, дрожа, засыпаетъ, зная, что у него нѣтъ сигаръ, лошадей... что въ среднемъ ящикѣ стола у него нѣтъ Анны и Станислава, а въ нижнемъ — чековой книжки...

Бахромкинъ pokrutilъ головой, повалился въ пружинный матрацъ и поскорѣе укрылся пуховымъ одѣяломъ.

«Ну его къ чорту! — подумалъ онъ, нѣжась и сладко засыпая. — Ну его... къ... чорту... Хорошо, что я... въ молодости не тово... не открылъ...»

Лакей потушилъ лампу и на цыпочкахъ вышелъ.

1886.

ПЕРВЫЙ ДЕБЮТЪ.

Помощникъ присяжнаго повѣреннаго Пятеркинъ возвращается на простой крестьянской телѣгѣ изъ уѣзднаго городишка N., куда ѣздилъ защищать лавочника, обвинявшагося въ поджогѣ. На душѣ у него было гнусно, какъ никогда. Онъ чувствовалъ себя оскорбленнымъ, провалившимся, оплеваннымъ. Ему казалось, что истекшій день, день его долгожданнаго и много обѣщавшаго дебюта, искалѣчилъ на вѣки вѣчные его карьеру, вѣру въ людей, міровоззрѣніе. Во-первыхъ, его безобразно и жестоко надулъ обвиняемый. До суда лавочникъ такъ искренно мигалъ глазами и такъ чистосердечно, просто расписывалъ свою невинность, что всѣ собранныя противъ него улики въ глазахъ психолога и физиономиста (каковыми считалъ

себя юный защитникъ). имѣли видъ безцеремонныхъ на-
тяжекъ, придирокъ и предубѣжденій. На судѣ же лавоч-
никъ оказался плутомъ и дрянью, и бѣдная психологія
пошла къ чорту. Во-вторыхъ, онъ, Пятеркинъ, казалось
ему, велъ себя на судѣ невозможно: заикался, путался
въ вопросахъ, вставалъ передъ свидѣтелями, глупо крас-
нѣлъ. Языкъ его совсѣмъ не слушался и въ простой
рѣчи спотыкался, какъ въ скороговоркахъ. Рѣчь свою
говорилъ онъ вяло, словно въ туманѣ, глядя черезъ го-
ловы присяжныхъ. Говорилъ, и все время казалось ему,
что присяжные глядятъ на него насмѣшливо, презри-
тельно.

Въ-третьихъ, что хуже всего, товарищъ прокурора
и гражданскій истецъ, старый матерый адвокатъ, вели
себя не по-товарищески. Они, казалось ему, условились
игнорировать защитника и если поднимали на него глаза,
то только для того, чтобы поупражнять на немъ свою
развязность, поглумиться, эффектно окрыситься. Въ ихъ
рѣчахъ слышались иронія и снисходительный тонъ. Го-
ворили они и точно извиненія просили, что защитникъ
такой дурачокъ и барашекъ. Пятеркинъ въ концѣ кон-
цовъ не вынесъ. Во время перерыва онъ подбѣжалъ къ
гражданскому истцу и, дрожа всѣмъ тѣломъ, наговорилъ
ему кучу дерзостей. Потомъ, когда засѣданіе кончилось,
онъ нагналъ на лѣстницѣ товарища прокурора и этому
поднесъ пиалюлю.

Въ-четвертыхъ... Впрочемъ, если перечислять все то,
что мучило и сосало теперь за сердце моего героя, то
нужно въ-пятыхъ, шестыхъ, до сотыхъ включительно.

«Позоръ... мерзость! — страдалъ онъ, сидя на те-
лѣгѣ и пряча свои уши въ воротникъ. — Кончено! Къ
чорту адвокатура! Заберусь куда-нибудь въ глушь, въ
уединенье... подальше отъ этихъ господъ... подальше отъ
этихъ дрязгъ». — Да, ѣзжай же, чортъ тебя возьми! — на-
бросился онъ на возницу. — Что ты ѣдешь, точно мерт-
ваго жениться везешь? Гони!

— Гони... гони... — передразнилъ возница. — Нешто не
видишь, какая дорога? Чорта погони, такъ и тотъ заму-
чится. Это не погода, а наказанье Господне.

Погода была отвратительная, она, казалось, негодовала,
ненавидѣла и страдала заодно съ Пятеркинымъ.

Въ воздухѣ, непроглядномъ, какъ сажа, дулъ и посви-
стывалъ на всѣ лады холодный, влажный вѣтеръ. Шелъ

дождь. Подъ колесами всхлипывалъ снѣгъ, мѣшавшійся съ вязкою грязью. Буеракамъ, колдобинамъ и размытымъ мостикамъ не было конца.

— Эги не видать... — продолжалъ возница. — Этакъ мы п до уіра не доѣдемъ. Придется на ночь у Луки остановиться.

— У какого Луки?

— Тутъ на дорогѣ въ лѣсу старикъ такой живетъ. Замѣсто лѣсника его держать. Да вотъ она и изба самая.

Послышался хриплый собачій лай, и между голыми вѣтками замелькалъ тусклый огонекъ. Какимъ бы вы ни были мизантропомъ, но если ненастно, глухою ночью вы увидите лѣсной огонекъ, то васъ непременно потянетъ къ людямъ. То же случилось и съ Пятеркинымъ. Когда телѣга остановилась у избы, изъ единственнаго окошечка которой робко и привѣтливо выглядывалъ свѣтъ, ему стало легче.

— Здорово, старикъ! — сказалъ онъ ласково Лукѣ, который стоялъ въ сѣняхъ и обѣими руками чесалъ себѣ животъ. — Можно у тебя переночевать?

— Мо...можно... — проворчалъ Лука. — Тутъ ужъ есть двое... Пожалуйте въ свѣтелку...

Пятеркинъ нагнулся, вошелъ въ свѣтелку и... мизантропія воротилась къ нему во всей своей силѣ. За маленькимъ столомъ, при свѣтѣ сальной свѣчки, сидѣли два человѣка, имѣвшихъ такое сильное вліяніе на его настроеніе: товарищъ прокурора фонъ-Пахъ и гражданскій истецъ Сѣмечкинъ. Подобно Пятеркину, они возвращались изъ Н. и тоже попали къ Лукѣ. Увидѣвъ входящаго защитника, оба они пріятно удивились и привскочили.

— Коллега! Какими судьбами? — заговорили они. — И васъ загнало сюда ненастье? Милости просимъ! Присаживайтесь.

Пятеркинъ думалъ, что, увидѣвъ его, они отвернутся, почувствуютъ неловкость и умолкнутъ, а потому такая дружеская встрѣча показалась ему по меньшей мѣрѣ нахальствомъ.

— Я не понимаю... — пробормоталъ онъ, съ достоинствомъ пожимая плечами. — Послѣ того, что между нами произошло, я... я даже удивляюсь!

Фонъ-Пахъ удивленно поглядѣлъ на Пятеркина, пожалъ плечами и, повернувшись къ Сѣмечкину, продолжалъ прерванную бесѣду:

— Ну-съ, читаю я дознание... А въ дознаніи, батенька, противорѣчіе на противорѣчіи... Пишетъ, напримѣръ, становой, что умершая крестьянка Иванова, когда ушла отъ гостей, была мертвецки пьяна и умерла, пройдя три версты пѣшкомъ. Какъ она могла пройти три версты пѣшкомъ, если была мертвецки пьяна? Ну, развѣ это не противорѣчіе? А?

Пока фонъ-Пахъ такимъ образомъ разглагольствоваль, Пятеркинъ сѣлъ на скамью и принялся осматривать свое временное жилище... Лѣсной огонекъ поэтиченъ только издалека, вблизи же онъ — жалкая проза... Здѣсь освѣщаютъ онъ маленькую, сѣрую каморку съ кривыми стѣнами и съ закопченнымъ потолкомъ. Въ правомъ углу висѣлъ темный образъ, изъ лѣваго мрачнымъ дупломъ глядѣла неуклюжая печь. На потолокъ, по балкамъ тянулся длинный шестъ, на которомъ когда-то качалась колыбель. Ветхій столикъ и двѣ узкія, шаткія скамьи составляли всю мебель. Было темно, душно и холодно. Пахло гнилью и сальной гарью.

«Свиньи... — подумаль Пятеркинъ, косясь на своихъ враговъ. — Оскорбили человѣка, втоптали его въ грязь и бесѣдуютъ теперь, какъ ни въ чемъ не бывало». — Послушай, — обратился онъ къ Лукѣ: — нѣтъ ли у тебя другой комнаты? Я здѣсь не могу быть.

— Сѣни есть, да тамъ холодно-съ.

— Чертовски холодно... — проворчалъ Сѣмечкинъ. — Зналъ бы, налитковъ и картъ съ собой захватилъ. Чаю напиться, что ли? Дѣдусъ, сочини-ка самоварчикъ!

Черезъ полчаса Лука подаль грязный самоваръ, чайникъ съ отбитымъ носикомъ и три чашки.

— Чай у меня есть... — сказалъ фонъ-Пахъ. — Теперь бы только сахару достать... Дѣдъ, дай-ка сахару!

— Эва! сахару... — ухмыльнулся въ сѣняхъ Лука. — Въ лѣсу сахару захотѣли! Тутъ не городъ.

— Что жъ, будемъ пить безъ сахару, — рѣшилъ фонъ-Пахъ.

Сѣмечкинъ заворилъ чай и налилъ три чашки.

«И мнѣ налили... — подумаль Пятеркинъ. — Очень нужно! Наплевали въ рожу и потомъ чаемъ угощаютъ. У этихъ людей просто самолюбія нѣтъ. Потребую у Луки еще чашку и буду одну горячую воду пить. Кстати же у меня есть сахаръ».

Четвертой чашки у Луки не оказалось. Пятеркинъ вы-

лилъ изъ третьей чашки чай, налилъ въ нее горячей воды и сталъ прихлебывать, кусая сахаръ. Услыхавъ громкое кусанье, его враги переглянулись и приснули.

— Ей-Богу, это мило! — залепеталъ фонъ-Пахъ. — У насъ нѣтъ сахару, у него нѣтъ чаю... Ха-ха... Весело! Какой же однако онъ еще мальчикъ! Верзила, и настолько еще сохранился, что умѣетъ дуться, какъ институтка... Коллега! — повернулся онъ къ Пятеркину. — Вы напрасно брезгаете нашимъ чаемъ... Онъ не изъ дешевыхъ... А если вы не пьете изъ амбиціи, то вѣдь за чай вы могли бы заплатить намъ сахаромъ!

Пятеркинъ промолчалъ.

«Нахалы... — подумалъ онъ: — оскорбили, оклеветали и еще лѣзутъ! И это люди! Имъ, стало-быть, ни почемъ тѣ дерзости, которыя я наговорилъ имъ въ судѣ... Не буду обращать на нихъ вниманіе... Лягу...»

Около печи на полу былъ разстеленъ тулупъ... У изголовья лежала длинная подушка, набитая соломой... Пятеркинъ растянулся на тулупѣ, положилъ свою горячую голову на подушку и укрылся шубой.

— Какая скучища! — зѣвнулъ Сѣмечкинъ. — Читать холодно и темно, спать негдѣ... Бррр!.. Скажите мнѣ, Осипъ Осипычъ, если, напимѣръ, Лука пообѣдаетъ въ ресторанѣ и не заплатитъ за него денегъ, то что это будетъ: кража или мошенничество?

— Ни то ни другое... Это только поводъ къ гражданскому иску...

Поднялся споръ, тянувшійся полтора часа. Пятеркинъ слушалъ и дрожалъ отъ злости... Разъ пять порывался онъ вскочить и вмѣшаться въ споръ.

«Какой вздоръ! — мучился онъ, слѣшая ихъ. — Какъ отстаи, какъ нелогичны!»

Споръ кончился тѣмъ, что фонъ-Пахъ легъ рядомъ съ Пятеркинымъ, укрылся шубой и сказалъ:

— Ну, будетъ... Мы своимъ споромъ не даемъ спать господину защитнику. Ложитесь...

— Онъ, кажется, уже спитъ... — сказалъ Сѣмечкинъ, ложась на другую сторону Пятеркина. — Коллега, вы спите?

«Пристаютъ... — подумалъ Пятеркинъ. — Свины...»

— Молчитъ, значить, спитъ... — промычалъ фонъ-Пахъ. — Ухитрился уснуть въ этомъ хлѣву... Говорять, что жизнь юристовъ кабинетная. Не кабинетная, а со-

бачья... Ишь вѣдь куда черти занесли! А мнѣ, знаете ли, нравится нашъ сосѣдъ... какъ его?... Шестеркинъ, что ли? Горячій, огневой...

— Мда... Лѣтъ черезъ пять хорошимъ адвокатомъ будетъ... Есть у мальчика манера... Еще на губахъ молоко не обсохло, а ужъ говоритъ съ завитушками и любить фейерверки пускать... Только напрасно онъ въ своей рѣчи Гамлета припуталъ.

Близкое сосѣдство враговъ и ихъ хладнокровный, снисходительный тонъ душили Пятеркина. Его распирало отъ злости и стыда.

— А съ сахаромъ-то исторія... — ухмыльнулся фонъ-Пахъ. — Сушная институтка! За что онъ на насъ обидѣлся? Вы не знаете?

— А чортъ его знаетъ...

Пятеркинъ не вынесъ. Онъ вскочилъ, открылъ ротъ, чтобы сказать что-то, но мученія истекшаго дня были ужъ слишкомъ сильны: вмѣсто словъ изъ груди вырвался истерическій плачъ.

— Что съ нимъ? — ужаснулся фонъ-Пахъ. — Голубчикъ, что съ вами?

— Вы... вы больны? — вскочилъ Сѣмечкинъ. — Что съ вами? Денегъ у васъ нѣтъ? Да что такое?

— Это низко... гадко! Цѣлый день... цѣлый день!

— Душенька моя, что гадко и низко? Осипъ Осипычъ, дайте воды! Ангелъ мой, въ чемъ дѣло? Отчего вы сегодня такой сердитый? Вы, вѣроятно, защищали сегодня въ первый разъ? Да? Ну, такъ это понятно! Плачьте, милый... Я въ свое время вѣшаться хотѣлъ, а плакать лучше, чѣмъ вѣшаться. Вы плачете, оно легче будетъ.

— Гадко... мерзко!

— Да ничего гадкаго не было! Все было такъ, какъ нужно. И говорили вы хорошо, и слушали васъ хорошо. Мнительность, батенька! Помню, вышелъ я въ первый разъ на защиту. Штанишки рыжіе, фракчикъ музыкантъ одолжилъ. Сижу я, и кажется мнѣ, что надъ моими штанишками публика смѣется. И подсудимый-то, выходитъ, меня надулъ, и прокуроръ глумится, и самъ-то я глупъ. Чай, порѣшили уже адвокатуру къ чорту? Со всѣми это бываетъ! Не вы первый, не вы послѣдній. Недешево, батенька, первый дебютъ стоить!

— А кто издѣвался? Кто... глумился?

— Никто! Вамъ только казалось это! Всегда дебю-

тантамъ это кажется. Вамъ не казалось ли также, что присяжные глядѣли вамъ въ глаза презрительно? Да? Ну, такъ и есть. Выпейте, голубчикъ. Укройтесь.

Враги укрыли Пятеркина шубами и ухаживали за нимъ, какъ за ребенкомъ, всю ночь. Страданья истекшаго дня оказались пуфомъ.

1886.

ГЛУПЫЙ ФРАНЦУЗЪ.

Клоунъ изъ цирка братьевъ Гинцъ, Анри Пуркуа, зашелъ въ московскій трактиръ Тѣстова позавтракать.

— Дайте мнѣ консоме! — приказалъ онъ половому.

— Прикажете съ нашотомъ или безъ нашота?

— Нѣтъ, съ нашотомъ слишкомъ сытно... Двѣ-три гренки, пожалуй, дайте...

Въ ожиданіи, пока подадутъ консоме, Пуркуа занялся наблюденіемъ. Первое, что бросилось ему въ глаза, былъ какой-то полный, благообразный господинъ, сидѣвшій за сосѣднимъ столомъ и приготавливавшійся ѣсть блины.

«Какъ, однако много подаютъ въ русскихъ ресторанахъ! — подумалъ французъ, глядя, какъ сосѣдъ поливаетъ свои блины горячимъ масломъ. — Пять блиновъ! Развѣ одинъ человѣкъ можетъ съѣсть такъ много тѣста?»

Сосѣдъ между тѣмъ помазалъ блины икрой, разрѣзалъ всѣ ихъ на половинки и проглотилъ скорѣе, чѣмъ въ пять минутъ.

— Челаэкъ! — обернулся онъ къ половому. — Подай еще порцію! Да что у васъ за порціи такія? Подай сразу штукъ десять, или пятнадцать! Дай балыка... семги, что ли!

«Странно... — подумалъ Пуркуа, рассматривая сосѣда. — Съѣлъ пять кусковъ тѣста и еще просить! Впрочемъ, такіе феномены не составляютъ рѣдкости... У меня у самого въ Бретани былъ дядя Франсуа, который на пари съѣдалъ двѣ тарелки супу и пять бараньихъ котлетъ... Говорятъ, что есть также болѣзни, когда много ѣдятъ...»

Половой поставилъ передъ сосѣдомъ гору блиновъ и двѣ тарелки съ балыкомъ и семгой. Благообразный госпо-

динъ выпилъ рюмку водки, закусилъ семгой и принялся за блины. Къ великому удивленію Пуркуа, Ъль онъ ихъ спѣша, едва разжевывая, какъ голодный...

«Очевидно, боленъ... — подумалъ французъ. — И неужели онъ, чудакъ, воображаетъ, что съѣсть всю эту гору? Не съѣсть и трехъ кусковъ, какъ желудокъ его будетъ уже полонъ, а вѣдь придется платить за всю гору!»

— Дай еще икры! — крикнулъ сосѣдъ, утирая салфеткой масляныя губы. — Не забудь зеленого луку!

«Но... однако ужъ половины горы нѣтъ! — ужаснулся клоунъ. — Боже мой, онъ и всю семгу съѣлъ? Это даже неестественно... Неужели человѣческій желудокъ такъ растяжимъ? Не можетъ быть! Какъ бы ни былъ растяжимъ желудокъ, но онъ не можетъ растянуться за предѣлы живота... Будь этотъ господинъ у насъ во Франціи, его показывали бы за деньги... Боже, уже нѣтъ горы!»

— Подашь бутылку юни... — сказалъ сосѣдъ, принимая отъ полового икру и лукъ. — Только погрѣй сначала... Чтѣ еще? Пожалуй, дай еще порцію блиновъ... Поскорѣй только...

— Слушаю... А на послѣ блиновъ чтѣ прикажете?

— Что-нибудь полегче... Закажи порцію селянки изъ осетрины по-русски и... и... Я подумаю, ступай!

«Можетъ-быть, это мнѣ снится? — изумился клоунъ, откидываясь на спинку стула. — Этотъ человѣкъ хочетъ умереть! Нельзя безнаказанно съѣсть такую массу! Да, да, онъ хочетъ умереть. Это видно по его грустному лицу. И неужели прислугѣ не кажется подозрительнымъ, что онъ такъ много ѣстъ? Не можетъ быть!»

Пуркуа подозвалъ къ себѣ иолового, который служилъ у сосѣдняго стола, и спросилъ шопотомъ:

— Послушайте, зачѣмъ вы такъ много ему подаете?

— То-есть, э... э... они требуютъ-сь! Какъ же не подавать-сь? — удивился половой.

— Странно, но вѣдь онъ такимъ образомъ можетъ до вечера сидѣть здѣсь и требовать! Если у васъ у самихъ не хватаетъ смѣлости отказывать ему, то доложите метр-дотелю, пригласите полицію!

Половой ухмыльнулся, пожалъ плечами и отошелъ.

«Дикари! — возмущился про себя французъ. — Они еще рады, что за столомъ сидитъ сумасшедшій, самоубійца, который можетъ съѣсть на лишній рубль! Ничего, что умереть человѣкъ, была бы только выручка!»

— Порядки, нечего сказать! — проворчалъ сосѣдъ, обращаясь къ французу. — Меня ужасно раздражаютъ эти длинные антракты! Отъ порціи до порціи изволь ждать полчаса! Этакъ и аппетитъ пропадетъ къ чорту и опоздаешь... Сейчасъ три часа, а мнѣ къ пяти надо быть на юбилейномъ обѣдѣ.

— Pardon, monsieur, — поблѣднѣлъ Пуркуа: — вѣдь вы ужъ обѣдаете!

— Нѣ-ѣтъ... Какой же это обѣдъ? Это завтракъ... блины...

Тутъ сосѣду принесли селянку. Онъ налилъ себѣ полную тарелку, поперчилъ кайенскимъ перцемъ и сталъ хлѣбать.

«Бѣдняга... — продолжалъ ужасаться французъ. — Или онъ боленъ и не замѣчаетъ своего опаснаго состоянія, или же онъ дѣлаетъ все это нарочно... съ цѣлью самоубійства... Боже мой, знай я, что наткнулся здѣсь на такую картину, то ни за что бы не пришелъ сюда! Мои нервы не выносятъ такихъ сценъ!»

И французъ съ сожалѣніемъ сталъ разсматривать лицо сосѣда, каждую минуту ожидая, что вотъ-вотъ начнутся съ нимъ судороги, какія всегда бывали у дяди Франсуа послѣ опаснаго пари.

«Повидимому, человѣкъ интеллигентный, молодой... полный силъ... — думалъ онъ, глядя на сосѣда. — Быть-можетъ, приносить пользу своему отечеству... и весьма возможно, что имѣетъ молодую жену, дѣтей... Судя по одеждѣ, онъ долженъ быть богатъ, доволенъ... но что же заставляетъ его рѣшиться на такой шагъ?.. И неужели онъ не могъ избрать другого способа, чтобы умереть? Чортъ знаетъ, какъ дешево цѣнится жизнь! И какъ низко, безчеловѣченъ я, сидя здѣсь и не идя къ нему на помощь! Быть-можетъ, его еще можно спасти!»

Пуркуа рѣшительно всталъ изъ-за стола и подошелъ къ сосѣду.

— Послушайте, monsieur, — обратился онъ къ нему тихимъ, вкрадчивымъ голосомъ. — Я не имѣю чести быть знакомъ съ вами, но тѣмъ не менѣе, вѣрьте, я другъ вашъ... Не могу ли я вамъ помочь чѣмъ-нибудь? Вспомните, вы еще молоды... у васъ жена, дѣти...

— Я васъ не понимаю! — замоталъ головой сосѣдъ, тараща на француза глаза.

— Ахъ, зачѣмъ скрывать, monsieur? Вѣдь я отлично

вижу! Вы такъ много ѣдите, что... трудно не подозрѣвать...

— Я много ѣмъ?! — удивился сосѣдъ. — Я?! Полноте... Какъ же мнѣ не ѣсть, если я съ самаго утра ничего не ѣлъ?

— Но вы ужасно много ѣдите!

— Да вѣдь не вамъ платить! Что вы беспокоитесь? И вовсе я не много ѣмъ! Поглядите, ѣмъ, какъ всѣ!

Пуркуа поглядѣлъ вокругъ себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая другъ на друга, носили цѣлыя горы блиновъ... За столами сидѣли люди и поѣдали горы блиновъ, семгу, икру... съ такимъ же аппетитомъ и безстрашіемъ, какъ и благообразный господинъ.

«О, страна чудесъ! — думалъ Пуркуа, выходя изъ ресторана. — Не только климатъ, но даже желудки дѣлають у нихъ чудеса! О, страна, чудная страна!»

1886.

ПЕРСОНА.

«ВАКАНСІЯ на должность писца имѣется въ канцеляріи г. Податного Инспектора, на жалованье 250 руб. въ годъ. Лица, окончившія по меньшей мѣрѣ уѣздное училище или 3 кл. гимназіи, должны обращаться письменно съ приложеніемъ своего жизнеописанія, адресуя прошеніе на имя г. Податного Инспектора, въ д. Поджилкиной по Гусиной улицѣ».

Прочитавъ въ двадцатый разъ это объявленіе, Миша Набалдашниковъ, молодой человѣкъ съ прыщеватымъ лбомъ, съ носомъ краснымъ отъ застарѣлаго насморка, въ брюкахъ кофейнаго цвѣта, походилъ, подумалъ и сказалъ, обращаясь къ своей мамашѣ:

— Кончилъ я не три класса гимназіи, а четыре. Почеркъ у меня великолѣпнѣйшій, хоть въ писатели или въ министры иди. Ну-съ, а жалованье, сами видите, великолѣпное — 20 руб. въ мѣсяцъ! При нашей бѣдности я бы и за пять пошелъ! Что ни говорите, а мѣсто самое подходящее, лучше и не надо... Только вотъ одно тутъ скверно, мамаша: жизнеописаніе писать нужно!

— Ну, такъ что жъ? Возьми и напиши...

— Легко сказать: напиши! Чтобъ сочинить жизнеописание, нужно талантъ имѣть, а какъ его безъ таланта напишешь? А написать какъ-нибудь, зря, пятое черезъ десятое, сами понимаете, неловко. Тутъ вѣдь сочиненіе не учителю подавать, а при прошеніи, въ канцелярію вмѣстѣ съ документами! Мало того, чтобъ было на хорошей бумагѣ и чисто написано, нужно еще, чтобъ хорошій слогъ былъ... Конечно! А то какъ вы думали? Ежели этакъ со стороны поглядѣть на податного инспектора Ивана Андреича, то онъ не важная шишка... Губернскій секретарь, шесть лѣтъ безъ мѣста ходилъ и по всѣмъ лавочкамъ долженъ, но ежели выскнуть, то нѣ-ѣ-тъ, мамаша, это персона, важная личность! Видали, что въ объявленіи сказано? «Адресуя прошеніе»... Прошеніе! А прошенія вѣдь подаются только значительнымъ лицамъ! Намъ съ вами или дяденькѣ Нилу Кузьмичу не подадутъ прошенія!

— Это такъ... — согласилась мамаша. — А на что ему понадобилось твое жизнеописание?

— Этого не могу вамъ сказать... Должно-быть, нужно!

Миша еще разъ прочелъ объявленіе, заходилъ изъ угла въ уголъ и отдался мечтамъ... Кто хоть разъ въ жизни сидѣлъ безъ мѣста и томился отъ бездѣлья, тотъ знаетъ, какъ взбудораживаютъ душу объявленія въ родѣ вышеписаннаго. Миша, съ самой гимназіи не съѣвній ни одного куска безъ того, чтобъ его не попрекнули въ дармоѣдствѣ, щеголявшій въ старыхъ брюкахъ дяденьки Нила Кузьмича и выходившій на улицу только по вечерамъ, когда не видно было его рваныхъ сапогъ и облязлаго пиджака, воспрянулъ духомъ отъ одной только возможности получить мѣсто. 20 рублей въ мѣсяцъ — деньги немалыя. Правда, на нихъ лошадей не заведешь и свадьбы не сыграешь, но зато ихъ вполне достаточно, чтобы въ первый же мѣсяцъ, какъ мечтавъ Миша, купить себѣ новыя брюки, сапоги, фуражку, гармонійку и дать матери на провизію рублей 5 — 6. Какъ бы тамъ ни было, маленькое жалованье гораздо лучше большого безденежья. Но Мишу не такъ занимали 20 рублей, какъ то блаженное время, когда мать перестанетъ колоть ему глаза его тунеядствомъ и походя ревѣть, а дядюшка Ниль Кузьмичъ прекратитъ свои нотации и клятвенныя обѣщанія выпороть племянника-дармоѣда.

— Чѣмъ шморгать-то изъ угла въ уголъ, — перебила его мечтанія мамаша: — сѣлъ бы лучше да и сочинилъ...

— Не умѣю я, мамаша, сочинять, — вздохнулъ Миша. — Признаться, я ужъ разъ пять садился за писанье, а ни черта у меня не выходитъ. Хочу писать по-умному, а выходитъ просто, словно теткѣ въ Кременчугъ пишешь...

— Ничего, что просто... Инспекторъ не взыщетъ... За мои матернія молитвы и терпѣніе Господь смягчитъ его сердце: не разсердится, ежели что... Небось, и самъ-то онъ въ твои годы не Богъ вѣсть какъ ученъ былъ!

— Пожалуй, еще попробую, только знаю, что опять ничего не выйдетъ... Хорошо, попробую...

Миша сѣлъ за столъ, положилъ передъ собой листъ бумаги и задумался. Послѣ долгаго таращенія глазъ на нотолокъ, онъ взялъ перо и, раскатавъ кисть руки, какъ это дѣлають всѣ почитатели собственнаго почерка, началъ: «Ваше Высокоблагородіе! Родился я въ 1867 году въ городѣ К. отъ отца Кирилла Никаноровича Набалдашникова и матери Натальи Ивановны. Отецъ мой служилъ на сахарномъ заводѣ купца Подгойскаго въ конторщикахъ и получалъ 600 рублей въ годъ. Потомъ онъ уволился и долго жилъ безъ мѣста... Потомъ...»

Дальше, отецъ спился и умеръ отъ пьянства, но это ужъ была семейная тайна, которую Мишѣ не хотѣлось сообщать его высокоблагородію. Миша подумалъ немного, зачеркнулъ все написанное и, послѣ нѣкотораго размышленія, написалъ снова то же самое...

«Потомъ онъ скончался, — продолжалъ онъ: — въ бѣдности, оплакиваемый женой и горячо любящимъ сыномъ, который у него былъ только я одинъ, Михаилъ. Когда мнѣ исполнилось 9 лѣтъ, меня отдали въ приготовительный классъ, за меня платилъ Подгойскій, но когда отецъ уволился отъ него и онъ пересталъ за меня платить, я вышелъ изъ IV класса. Учился я посредственно, въ I и въ III классѣ сидѣлъ по 2 года, но по чистописанію и поведенію получалъ всегда пять». И. т. д.

Исписалъ Миша цѣлый листъ. Писалъ онъ искренно, но безтолково, безъ всякаго плана и хронологическаго порядка, повторяясь и путаясь. Вышло что-то размазанное, длинное и дѣтски-наивное... Кончилъ Миша такъ: «Теперь же я живу на средства моей матери, которая не имѣетъ никакихъ средствъ къ жизни, а потому всепокорнѣйше прошу Ваше Высокоблагородіе, дайте мнѣ

мѣсто, чтобъ я могъ жить и кормить мою болѣзненную мать, которая тоже проситъ Васъ. И извините за безпокойство» (Подпись).

На другой день, послѣ долгихъ ломаній и застѣнчивой нерѣшительности, это жизнеописаніе было переписано начисто и вмѣстѣ съ документами отправлено по назначенію, а черезъ двѣ недѣли Миша, истомившійся отъ ожиданія, дрожа всѣмъ тѣломъ, стоялъ въ передней податного инспектора и ждалъ гонорара за свое сочиненіе.

— Позвольте узнать, гдѣ здѣсь канцелярія?—спросилъ онъ, заглядывая изъ передней въ большую, скудно меблированную комнату, гдѣ на диванѣ лежалъ какой-то рыжій человѣкъ въ туфляхъ и въ лѣтней крылаткѣ вмѣсто халата.

— А что вамъ нужно?—спросилъ рыжій человѣкъ.

— Тутъ я... двѣ недѣли тому назадъ прошеніе подалъ... о мѣстѣ писца... Могу я видѣть г. инспектора?

— Это просто возмутительно...—пробормоталъ рыжій, придавая своему лицу страдальческое выраженіе и запахиваясь въ крылатку. — Сто человѣкъ на день! Такъ и ходятъ, такъ и ходятъ! Да неужели, господа, у васъ другого дѣла нѣтъ, какъ только мнѣ мѣшать?

Рыжій вскочилъ, разставилъ ноги и сказалъ, отчеканивая каждое слово:

— Тысячу разъ говорилъ ужъ я всѣмъ, что у меня писецъ есть! Есть, есть и есть! Пора ужъ перестать ходить! Ужъ есть у меня писецъ! Такъ всѣмъ и передайте!

— Виновать-съ... — забормоталъ Миша. — Я не зналъ-съ...

И, неловко поклонившись, Миша вышелъ... Гонораръ—увы и ахъ!

1886.

ОТРАВА.

На землѣ весь родъ людской... и т. д.

Изъ аріи Мефистофеля.

Петръ Петровичъ Лысовъ идеалистъ до конца погтей, хотя и служить въ банкирской конторѣ Кунстъ и К^о. Онъ поетъ жиденькимъ теноромъ, играетъ на гитарѣ, помадится и носить свѣтлыя брюки, а все это составляетъ признаки, по которымъ идеалиста можно отличить отъ матеріалиста за десять верстъ. На Любочкѣ, дочери отставного капитана Кадыкина, онъ женился по самой страстной любви... Вѣрите ли, онъ такъ любилъ свою невѣсту, что если бы ему предложили выбирать между милліономъ и Любочкой, то онъ, не думая, остановился бы на послѣдней... Чорту, конечно, такая идеальность не понравилась, и онъ не преминулъ вмѣшаться.

Наканунѣ свадьбы (чортъ зачертилъ именно съ этого времени) капитанъ Кадыкинъ позвалъ къ себѣ въ кабинетъ Лысова и, взявъ его любовно за пуговицу, сказалъ:

— Надо тебѣ замѣтить, любезный другъ Петя, что я нѣкоторымъ образомъ тово... Уговоръ лучше денегъ... Чтобы потомъ, собственно говоря, не было никакихъ неудовольствій, надо намъ заранѣе уговориться... Ты знаешь, я вѣдь за Любочкой не тово... ничего я за Любочкой не даю!

— Ахъ, не все ли это равно? — вспыхнулъ идеалистъ. — И за кого вы меня принимаете? Я женюсь не на деньгахъ, а на дѣвицѣ!

— То-то... Я вѣдь это для чего тебѣ говорю? Для того, чтобы ты все-таки зналъ... Человѣкъ я, конечно, не бѣдный, имѣю состояніе, но вѣдь, самъ видишь, у

меня кромѣ Любочки еще пятеро... Такъ-то, другъ милый Петя.. Охохоххх... (капитанъ вздохнулъ). Оно, конечно, и тебѣ трудно будетъ, ну, да что дѣлать! Крѣпись какъ-нибудь... Въ случаѣ ежели что-нибудь такое... дѣтородность, тамъ, или другое какое событіе, то могу помогать... Понежнужку могу... Даже сейчасъ могу...

— Выдумали, ей-Богу! — махнулъ рукой Лысовъ.

— Сейчасъ я могу тебѣ четыреста рублей одолжить... Больше, извини, хотѣлъ бы дать, но хоть рѣжь!

Кадыкинъ полѣзъ въ столъ, досталъ оттуда какую-то бумагу и подалъ ее Лысову.

— На, бери! — сказалъ онъ. — Ровно четыреста! Я бы и самъ получилъ по этому исполнительному листу, да, знаешь, возиться некогда, а ты когда захочешь, тогда и получишь... Прямо безъ всякаго стѣсненія ступай къ доктору Клябову и получай... А ежели онъ зафордыбачится, то къ судебному приставу...

Какъ ни отпѣкивался Лысовъ и какъ ни доказывалъ, что женится не на деньгахъ, а на дѣвицѣ, но кончилъ тѣмъ, что сложилъ вчетверо исполнительный листъ и спряталъ его въ карманъ. На другой день, возвращаясь въ каретѣ съ вѣнчалъя, Лысовъ держалъ Любочку за талию и говорилъ ей:

— Третьяго-дня ты плакала, что у насъ въ семейномъ очагѣ фортепiano не будетъ... Радуйся, Любубунчикъ! Я тебѣ за четыреста рублей піанино куплю...

Послѣ свадебнаго ужина, когда молодые остались одни, Лысовъ долго ходилъ изъ угла въ уголъ, потомъ вдохновенно мотнулъ головой и сказалъ женѣ:

— Знаешь, что, Люба? Не лучше ли намъ подождать покупать піанино? А, какъ ты думаешь? Давай-ка мы сначала мебели купимъ! За четыреста рублей отличную меблировку можно завести! Такъ разукрасимъ комнаты, что чертямъ тошно будетъ! Въ ту комнату мы поставимъ диванъ и кресла съ шелковой, знаешь, обивкой... Передъ диваномъ, конечно, круглый столъ съ какой-нибудь такой, чортъ ее побери, заковыристой лампой... Здѣсь вотъ мы поставимъ мраморный рукомойникъ. Ву компрене? Ха-ха... Въ этотъ промежутокъ мы втиснемъ гардеробъ или комодъ съ туалетомъ... То-есть чортъ знаетъ, какъ хорошо все это выйдетъ!

— Нужно будетъ и занавѣски къ окнамъ.

— Да, и занавѣски! Завтра же пойду къ этому доктору!

Только бы мнѣ застать его, чорта... Эти доктора народъ жадный, имѣють привычку чуть свѣтъ на практику выѣзжать... Ужъ ты извини, Люба, я завтра пораньше встану...

Въ восемь часовъ утра Лысовъ тихонько всталъ, одѣлся и отправился пѣшкомъ къ доктору Клябову. Безъ четверти въ девять онъ уже стоялъ въ докторской передней.

— Докторъ дома? — спросилъ онъ горничную.

— Дома-сь, но они спать и нескоро встанутъ-сь.

Отъ такого отвѣта лицо Лысова поморщилось и стало такимъ кислымъ, что горничная испугалась и сказала:

— Если онъ вамъ такъ нуженъ, то я могу его разбудить! Пожалуйте въ кабинетъ!

Лысовъ снялъ шубу и вошелъ въ кабинетъ...

«А хорошо живетъ каналья! — подумалъ онъ, садясь въ кресло и оглядывая обстановку. — Одна софа, небось, рублей четырехста стоитъ...»

Минутъ черезъ десять послышался отдаленный кашель, потомъ шаги, и въ кабинетъ вошелъ докторъ Клябовъ, неумытый, заспанный.

— Что у васъ? — спросилъ онъ, садясь противъ Лысова.

— Я, г. докторъ, собственно говоря, не боленъ, — началъ идеалистъ, мило улыбаясь: — а пришелъ къ вамъ по дѣлу... Видите ли, я вчера женился, и... мнѣ очень нужны деньги... Вы меня премного обяжете, если сегодня заплатите по этому исполнительному листу...

— По какому исполнительному листу? — вытаращилъ глаза докторъ.

— А вотъ по этому... Я Лысовъ и женился на дочери Кадыкина. Я ему зять, и онъ, то-есть тесть, передалъ мнѣ этотъ листъ. То-есть Кадыкинъ!

— Богъ знаетъ что! — махнулъ рукой Клябовъ, поднимаясь и дѣлая плачущее лицо. — Я думалъ, что вы больны, а вы съ ерундой какой-то... Это даже безсовѣстно съ вашей стороны! Я сегодня въ седьмомъ часу легъ, а вы чортъ знаетъ изъ-за чего будите! Порядочные люди уважають чужой покой... Мнѣ даже совѣстно за васъ!

— Виноватъ, я думалъ-сь... — сконфузился Лысовъ: — я не зналъ-сь...

И, видя, что докторъ уходитъ, онъ поднялся и про-
бормоталъ:

— А когда же прикажете за полученіемъ приходить?

— Никогда... Я этому Кадыкину ужъ тысячу разъ говорилъ, чтобы онъ оставилъ меня въ покоѣ! Надоѣли!

Тонъ и обращеніе доктора сконфузили Лысова, но и озлили.

— Въ такомъ случаѣ, — сказалъ онъ: — извините, я долженъ буду обратиться къ судебному приставу и... наложить запрещеніе на ваше имущество!..

— Сколько угодно! Этотъ вашъ Затыкинъ, или — какъ его? — Кадыкинъ знаетъ, что имущество не мое, а жепно.

Выйдя отъ доктора, Лысовъ былъ красенъ и дрожалъ отъ злости.

«Невѣжа! — думалъ онъ. — Скотина! Живетъ такъ богато, имѣетъ практику и долговъ не платитъ! Ну, постой же...»

Вечеромъ вмѣсто того, чтобы ложиться спать, Лысовъ сѣлъ писать къ доктору письмо... Въ этомъ письмѣ онъ категорически и угрожая судебнымъ приставомъ просилъ увѣдомить его, въ какой день и часъ доктора можно застать дома. Не получивъ на другой день отвѣта, онъ послалъ еще одно письмо... Наконецъ, истративъ попусту шесть городскихъ марокъ, онъ возмутился и пошелъ къ судебному приставу...

Пока онъ такимъ образомъ писалъ письма и дѣлалъ визиты судебному приставу, время шло, и натура человѣческая работала... Лысову скоро стало казаться, что четыреста рублей ему необходимы крайне, до зарѣзу, что удивительно, какъ это онъ могъ ранѣе безъ нихъ обходиться. Не говоря ужъ о мебелировкѣ, которую можно отложить на будущее, этими деньгами нужно уплатить прежніе долгишки, портному, въ лавочку... Когда дней черезъ десять послѣ свадьбы Любочка попросила у Лысова пять рублей для кухарки, то тотъ сказалъ:

— Это ужъ я изъ докторскихъ ей дамъ, а сейчасъ у меня нѣтъ... Знаешь что? Схожу-ка я сегодня къ доктору! Попрошу его, чтобы онъ хоть по частямъ выплачивалъ. На это онъ навѣрное согласится!..

Придя къ доктору, онъ засталъ у него въ пріемной много больныхъ. Пришлось ожидать очереди. Прочитавъ всѣ газеты, лежавшія на столѣ, и истомившись до сухоты въ горлѣ и нитя подъ ложечкой, онъ наконецъ ешелъ въ кабинетъ доктора.

— Вы опять! — поморщился Клябовъ.

Лысовъ съѣлъ и чистосердечно объяснилъ доктору, какъ Кадыкинъ подарилъ ему исполнительный листъ, и какъ нужны ему деньги.

— Вы можете мнѣ по десяти рублей выплачивать... — кончилъ онъ. — Я и на это согласенъ!

— Вы, извините, просто психопатъ... — ухмыльнулся Клябовъ. — Кто же, скажите, пожалуйста, принимаетъ въ подарокъ исполнительные листы?

— Я принялъ, потому что думалъ, что вы будете тово... добросовѣстны!

— Вотъ какъ! Не вамъ-съ говорить о добросовѣстности! Вы знаете, откуда этотъ долгъ? Когда я былъ студентомъ, то взялъ у вашего тестя только пятьдесятъ рублей, остальные же все проценты! И я не заплачу... По принципу не заплачу! Ни копейки!

Возвратился Лысовъ домой отъ доктора утомленный, злой.

— Не понимаю я твоего отца! — сказалъ онъ Любочкѣ. — Вѣдь это низко, подло! Точно у него не нашлось для меня четырехсотъ рублей! Мнѣ приданаго не нужно, но я изъ принципа! Я теперь съ твоимъ отцомъ и говорить не хочу... Скряга, грошовникъ! На зло вотъ поди и скажи ему, чтобы онъ взялъ свой глупый исполнительный листъ и вмѣсто него прислалъ мнѣ четыреста рублей... Слышишь? Поди, такъ и скажи...

— Какъ же я ему скажу? Мнѣ неловко, Петя.

— Аа... для тебя онъ, значить, дороже мужа! По-твоему, онъ правъ? Я не взялъ съ него ничего приданаго, и онъ же еще правъ!

Любочка заморгала глазами и заплакала.

— Начинается... — пробормоталъ Лысовъ. — Этого еще не доставало! Ну, пожалуйста, матушка, безъ этихъ штукъ! У меня чтобъ этого не было! Меня, братъ, этимъ не убѣдишь... не проймешь! Я этого не люблю! Можешь у папеньки ревѣть, а здѣсь тебѣ не мѣсто! Слышишь?

И Лысовъ постучалъ по столу корешкомъ книги... Этимъ стукомъ и завершился медовый мѣсяцъ...

ВЪ ПАРИЖЪ!

Секретарь земской управы Грязновъ и учитель уѣзднаго училища Лампадкинъ однажды подѣ вечеръ возвращались съ именинъ полицейскаго надзирателя Вонючкина. Идя подѣ руку, они вмѣстѣ очень походили на букву «Ю». Грязновъ тонокъ, высокъ и жилистъ, одѣтъ въ обтяжку и похожъ на палку, а Лампадкинъ толстъ, мясистъ, одѣтъ во все широкое и напоминаетъ полъ. Оба были навеселѣ и слегка пошатывались.

— Рекомендована новая грамматика Грота, — бормоталъ Лампадкинъ, всхлипывая своими полными грязи калошами. — Гротъ доказываетъ ту теорію, что имена прилагательныя въ родительномъ падежѣ единственнаго числа мужескаго рода имѣютъ не аго, а ого... Вотъ и понимай! Вчера Перхоткина безъ обѣда за ого въ словѣ золотого оставилъ, а завтра, значить, долженъ буду передѣ нимъ глазами лупать... Стыдъ! Срамъ!

Но Грязновъ не слушалъ ученыхъ разговоровъ педагога. Все его вниманіе было обращено на грязный мостикъ передѣ трактиромъ Ширяева, гдѣ на этотъ разъ происходило маленькое недоразумѣніе. Дюжины двѣ обывательскихъ собакъ, сомкнувшись цѣпью, окружали черную, шершавую дворняжку и наполняли воздухъ протяжнымъ побѣднымъ лаемъ. Дворняжка вертѣлась, какъ на иголкахъ, скалила на враговъ зубы и старалась поджать какъ можно дальше подѣ животъ свой ощищенный хвостъ. Случай неважный, но секретарь управы принадлежитъ къ числу тѣхъ воспріимчивыхъ, легко воспламеняющихся натуръ, которыя не могутъ равнодушно видѣть, если кто ссорится или дерется. Поровнявшись съ группой собакъ, онъ не утерпѣлъ, чтобы не вмѣшаться.

— Рви его! Куси, анаемому! Фюйть! — началъ онъ рычать и подсвистывать, примыкая къ собачьей цѣпи. — Рррр... Такъ его! Жарь!

И, чтобы еще больше раззадорить собакъ, онъ нагнулся и дернулъ дворняжку за заднюю ногу. Та взвизгнула и прежде, чѣмъ Грязновъ успѣлъ поднять руку, укусила его за палець. Тотчасъ же, словно испугавшись своей смѣлости, она перепрыгнула черезъ цѣпь, мимоходомъ цалнула Лампадкина за икру и побѣжала вдоль по улицѣ. Собаки за ней...

— Ахъ, ты, шутъ! — закричалъ ей вслѣдъ Грязновъ, потрясая пальцемъ. — Чтобъ тебя раздавило, чортова тварь! Лови! Бей!

— Лови! — раздались голоса, мѣшаясь со свистками. — Гони! Бей! Братцы, бѣшеная! Хвостъ поджала и морду внизъ держить! Самая она и есть бѣшеная! Тю!

Пріятели дождались, когда собаки скрылись изъ виду, взялись подъ-руки и пошли дальше. Придя домой (педагогъ за 7 руб. въ мѣсяцъ жилъ и столовался у секретаря), они уже забыли исторію съ дворняжкой... Снявъ грязныя брюки и развѣсивъ ихъ для просушки на дворяхъ, они занялись чаепитіемъ. Настроение духа у обоихъ было отминое, философски-благодушное... Но часа черезъ полтора, когда они съ теткой, свояченицей и съ четырьмя сестрами Грязнова сидѣли за столомъ и играли въ фохана, вдругъ неожиданно явился уѣздный врачъ Каташкинъ и нѣсколько нарушилъ ихъ покой.

— Ничего, ничего... я не дама! — началъ пришедшій, видя, какъ секретарь и педагогъ стараются скрыть подъ столомъ свои невыразимыя и босыя ноги. — Меня, господа, къ вамъ прислали! Говорятъ, что васъ обоихъ укусила собака!

— Какъ же, какъ же... укусила, — сказалъ Грязновъ, ухмыляясь во все лицо. — Очень пріятно! Садитесь, Митрій Ѳомичъ! Давно не видались, побей меня Богъ... Чаю не хотите ли? Глаша, водочку принеси! Вы чѣмъ закусывать будете: рѣдкой или колбасой?

— Говорятъ, что собака бѣшеная! — продолжалъ докторъ, встревоженно глядя на пріятелей. — Бѣшеная она или нѣтъ, но все-таки нельзя относиться такъ небрежно. Чѣмъ чортъ не шутитъ? Покажите-ка, гдѣ она васъ укусила?

— А, да напидиете! — махнулъ рукой секретарь. — Уку-

сила чуть-чуть... за палець... Отъ этого не сбѣсишься... Можетъ, вы пиво пить будете? Глашка, бѣги къ жидовкѣ и скажи, чтобъ въ долгъ двѣ бутылки пива дала!

Каташкинъ сѣлъ и, насколько у него хватало силы перекричать пьяныхъ, началъ пугать ихъ водобоязнью... Тѣ сначала ломались и бравировали, но потомъ струсили и показали ему укушенные мѣста. Докторъ осмотрѣлъ раны, прижегъ ихъ ляписомъ и ушелъ. Послѣ этого пріятели легли спать и долго спорили о томъ, изъ чего дѣлается ляписъ.

На другой день утромъ Грязновъ сидѣлъ на самой верхушкѣ высокаго тополя и привязывалъ тамъ скворечню. Лампадкинъ стоялъ внизу подъ деревомъ и держалъ молотокъ и веревочки. Садикъ секретаря былъ еще весь въ снѣгу, но отъ каждой вѣточки и мокрой коры деревьевъ такъ и вѣяло весной.

— Гротъ доказываетъ еще ту теорію, — бормоталъ педагогъ: — что ворота не средняго рода, а мужескаго. Гм... Значитъ, писать нужно не красныя ворота, а красныя... Ну, это пусть онъ оближется! Скорѣй въ отставку подамъ, чѣмъ измѣню насчетъ воротъ свои убѣжденія.

И педагогъ раскрылъ уже ротъ и величественно поднималъ вверхъ молотокъ, чтобы начать громить ученыхъ академиковъ, какъ въ это время скрипнула садовая калитку, и въ садъ неожиданно-негаданно, словно чортъ изъ люка, вошелъ уѣздный предводитель Позвоночниковъ. Увидѣвъ его, Лампадкинъ отъ изумленія поблѣднѣлъ и выронилъ молотокъ.

— Здравствуйте, милѣйшій! — обратился къ нему предводитель. — Ну, какъ ваше здоровье? Говорятъ, что васъ и Грязнова вчера бѣшеная собака укусила!

— Можетъ, она вовсе не бѣшеная! — пробормоталъ съ верхушки тополя Грязновъ. — Одни только бабы разговоры!

— Можетъ-быть, а можетъ-быть, и бѣшеная! — сказалъ предводитель. — Такъ вѣдь нельзя разсуждать... На всякій случай нужно принять мѣры!

— Какія же мѣры-съ? — тихо спросилъ педагогъ. — Насъ вчера прижигали-съ!

— Сейчасъ мнѣ говорилъ докторъ, но этого недостаточно. Нужно что-нибудь болѣе радикальное. Въ Парижъ бы бѣжали, что ли... Да такъ, вѣроятно, и придется вамъ сдѣлать: бѣжайте въ Парижъ!

Педагогъ выронилъ веревочки и окаменѣлъ, а секретарь отъ удивленія едва не свалился съ дерева...

— Въ Пари-ижъ? — протянулъ онъ. — Да что я тамъ буду дѣлать?

— Вы поѣдете въ Пастеру... Конечно, это немножко дорого будетъ стоить, — но что дѣлать? Здоровье и жизнь дороже... И вы успокойтесь, да и мы будемъ покойны... Я сейчасъ говорилъ съ предсѣдателемъ Иваномъ Алексѣичемъ. Онъ думаетъ, что управа дастъ вамъ на дорогу... Съ своей стороны моя жена жертвуетъ вамъ двѣсти рублей... Что же вамъ еще нужно? Собирайтесь! А пачпорты я быстро вамъ выхлопочу...

— Сбѣсились чудаки! — ухмыльнулся Грязновъ по уходѣ предводителя. — Въ Парижъ! Ахъ, дурни, прости Господи! Добро бы еще въ Москву или въ Кіевъ, а то — на тебѣ!.. въ Парижъ! И изъ-за чего? Хотя бы собака пу-тевая, породистая какая, а то изъ-за дворняжки — тѣфу! Скажи на милость, какихъ аристократовъ нашелъ: въ Парижъ! Чтобъ я пропалъ, ежели поѣду!

Педагогъ долго въ раздумѣ глядѣлъ на землю, потомъ весело заржалъ и сказалъ вдохновеннымъ голосомъ:

— Знаешь, что, Вася? Поѣдемъ! Накажи меня Господь, поѣдемъ! Вѣдь Парижъ, заграница... Европа!

— Чего я тамъ не видѣлъ? Ну его!

— Цивилизація! — продолжалъ восторгаться Лампадкинъ. — Господи, какая цивилизація! Виды эти, разные Везувіи... окрестности! Что ни шагъ, то и окрестности! Ей-Богу, поѣдемъ!

— Да ты очумѣлъ, Илюшка! Что мы тамъ съ нѣмцами дѣлать будемъ?

— Тамъ не нѣмцы, а французы!

— Одинъ шутъ! Что я съ ними буду дѣлать? На нихъ гляючи, я со смѣху околю! При моемъ характерѣ я ихъ всѣхъ тамъ перебью! Поѣзжай только, такъ самъ не радъ будешь... И оберуть, и оскоромишься... А еще, чего добраго, вмѣсто Парижа попадешь въ такую поганую страну, что потомъ лѣтъ пять плевать будешь...

Грязновъ наотрѣзъ отказался ѣхать, но тѣмъ не менѣе вечеромъ того же дня пріятели ходили, обнявшись, по городу и рассказывали встрѣчнымъ о предстоящей поѣздкѣ. Секретарь былъ угрюмъ, золь и безпокоенъ, педагогъ же восторженно размахивалъ руками и искалъ, съ кѣмъ бы подѣлиться своимъ счастьемъ...

— Все бы ничего, коли бъ не этотъ Парижъ! — утѣшалъ себя вслухъ Грязновъ. — Не жизнь, а малина! Всѣ жалостно на тебя смотрятъ, **вездѣ**, куда ни придешь, закуска и выпивка, всѣ деньги даютъ, но... Парижъ! За какимъ шуткомъ я туда поѣду? Прощай, братцы! — останавливалъ онъ встрѣчныхъ. — Въ Парижъ ѣдемъ! Не поминай лихомъ! Можетъ, и не увидимся больше.

Черезъ пять дней на мѣстной станціи происходили торжественные проводы секретаря и педагога. Провожать собрались всѣ интеллигенты, начиная съ предводителя и кончая подслѣповатымъ пасынкомъ надзирателя Вонючкина. Предводительша снабдила путешественниковъ двумя рекомендательными письмами, а мировиха дала имъ сто рублей съ просьбой купить по образчику матеріи... Благопожеланіямъ, вздохамъ и стenanіямъ конца не было. Тетка, свояченица и четыре сестры Грязнова разливались въ три ручья. Педагогъ, видимо, храбрился и не унывалъ, секретарь же, выпившій и расчувствовавшійся, все время надувался, чтобы не заплакать... Когда пробилъ второй звонокъ, онъ не вынесъ и разревѣлся...

— Не поѣду! — рванулся онъ отъ вагона. — Пусть лучше обѣшусь, чѣмъ къ Пастеру ѣхать! Ну его!

Но его убѣдили, утѣшили и посадили въ вагонъ. Поѣздъ тронулся.

Если держаться строго хронологическаго порядка, то не дальше, какъ черезъ четыре дня послѣ проводовъ, сестры Грязнова, сидя у окошка и тоскуя, увидѣли вдругъ идущаго домой Лампадкина. Педагогъ былъ красенъ, выпачканъ въ грязи и то и дѣло ронялъ свой чемоданъ. Сначала дѣвицы думали, что это привидѣніе, но скоро, когда стукнула калитка и послышалось изъ сѣней знакомое сопѣнье, явленіе потеряло свой спиритическій характеръ. Сестры замерли отъ удивленія и, вмѣсто вопроса, обратили къ пришедшему свои вытянувшіяся, поблѣднѣвшія лица. Педагогъ замигалъ глазами и махнулъ рукой, потомъ заплакалъ и еще разъ махнулъ рукой.

— Пріѣхали, это, мы въ Курскъ... — началъ онъ, хрипло плача. — Вася мнѣ и говорить: «На вокзалѣ, говорить, дорого обѣдать, а пойдемъ, говорить, тутъ около вокзала трактиръ есть. Тамъ и пообѣдаемъ». Мы взяли съ собой чемоданы и пошли (педагогъ всхлипнулъ)... А въ трактирѣ Вася рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой... «Ты, кричить, меня на погибель везешь!» Шумѣтъ на-

чалъ... А какъ послѣ водки хересь сталъ пить, то... протоколъ составили. Дальше — больше и... все до копейки! Еле на дорогу осталось...

— Гдѣ же Вася? — встревожились дѣвицы.

— Въ Ку...курскѣ... Просиль, чтобъ вы ему скорѣй на дорогу денегъ выслали...

Педагогъ мотнулъ головой, утеръ лицо и добавилъ:

— А Курскъ хорошій городъ! Очень хорошій! Съ удовольствіемъ тамъ день прожилъ...

1886.

НА ДАЧѢ.

«Я васъ люблю. Вы моя жизнь, счастье — все! Простите за признаніе, но страдать и молчать нѣтъ силъ. Прошу не взаимности, а сожалѣнія. Будьте сегодня въ восемь часовъ вечера въ старой бесѣдкѣ... Имя свое подписывать считаю лишнимъ, но не пугайтесь анонима. Я молода, хороша собой... чего же вамъ еще?»

Прочитавъ это письмо, дачникъ Павелъ Ивановичъ Выходцевъ, человѣкъ семейный и положительный, пожалъ плечами и въ недоумѣніи почесалъ себѣ лобъ.

«Что за чертовщина? — подумалъ онъ. — Женатый я человѣкъ, и вдругъ такое странное... глупое письмо! Кто это написалъ?»

Павелъ Ивановичъ повертѣлъ передъ глазами письмо, еще разъ прочелъ и плюнулъ.

— «Я васъ люблю»... — передразнилъ онъ. — Мальчишку какого нашла! Такъ-таки возьму и побѣгу къ тебѣ въ бесѣдку!.. Я, матушка моя, давно ужъ отвыкъ отъ этихъ романсовъ да флеръ-д-амуровъ... Гм! Должно-быть, шальная какая-нибудь, непутевая... Ну, народъ эти женщины! Какой надо быть, прости Господи, вертихвосткой, чтобы написать такое письмо незнакомому, да еще женатому человѣку! Сушая деморализація!

За всѣ восемь лѣтъ своей женатой жизни Павелъ Ивановичъ отвыкъ отъ тонкихъ чувствъ и не получалъ никакихъ писемъ, кромѣ поздравительныхъ, а потому, какъ

онъ ни старался хорохориться передъ самимъ собою, вышеприведенное письмо сильно озадачило его и взволновало.

Черезъ часъ послѣ полученія его онъ лежалъ на диванѣ и думалъ:

«Конечно, я не мальчишка и не побѣгу на это дурацкое рандеву, но все-таки интересно было бы знать: кто это написалъ? Гм... Почеркъ несомнѣнно женскій... Письмо написано искренно, съ душой, а потому едва ли это шутка... Вѣроятно, какая-нибудь психонатка или вдова... Вдовы вообще легкомысленны и эксцентричны. Гм... Кто бы это могъ быть?»

Рѣшить этотъ вопросъ было тѣмъ болѣе трудно, что во всемъ дачномъ поселкѣ у Павла Ивановича не было ни одной знакомой женщины, кромѣ жены...

«Странно... — недоумѣвалъ онъ. — «Я васъ люблю»... Когда же это она успѣла полюбить? Удивительная женщина! Полюбила такъ, съ бухты-барахты, даже не познакомившись и не узнавши, что я за человѣкъ... Должно-быть, слишкомъ еще молода и романтична, если способна влюбиться съ двухъ-трехъ взглядовъ... Но... кто она?»

Вдругъ Павелъ Ивановичъ вспомнилъ, что вчера и третьяго-дня, когда онъ гулялъ на дачномъ кругу, ему нѣсколько разъ встрѣчалась молоденькая блондиночка въ свѣтло-голубомъ платьѣ и съ вздернутымъ носикомъ. Блондиночка то и дѣло взглядывала на него и, когда онъ сѣлъ на скамью, усѣлась рядомъ съ нимъ...

«Она? — подумалъ Выходцевъ. — Не можетъ быть! Развѣ сублинное, эфемерное существо можетъ полюбить такого старого, потасканнаго угря, какъ я? Нѣтъ, это невозможно!»

За обѣдомъ Павелъ Ивановичъ тупо глядѣлъ на жену и размышлялъ:

«Она пишетъ, что она молода и хороша собой... Значить, не старуха... Гм... Говоря искренно, по совѣсти, я еще не такъ старъ и плохъ, чтобы въ меня нельзя было влюбиться. Любить же меня жена!.. И къ тому же любовь зла — полюбишь и козла...»

— О чемъ ты задумался? — спросила его жена.

— Такъ... голова что-то болитъ... — совралъ Павелъ Ивановичъ.

Онъ порѣшилъ, что глупо обращать вниманіе на такую бездѣлицу, какъ любовное письмо, смѣялся надъ нимъ и

его авторшей, но—увы!—врагъ человѣческій силенъ. Послѣ обѣда Павелъ Ивановичъ лежалъ у себя на кровати и, вмѣсто того, чтобъ спать, думалъ:

«А вѣдь она, пожалуй, надѣется, что я приду! Вотъ дура-то! То-то, воображаю, будетъ нервничать и турнюромъ своимъ дрыгать, когда меня не найдетъ въ бесѣдкѣ!.. А я не пойду... Ну ее!»

Но, повторяю, врагъ человѣческій силенъ.

«Впрочемъ, такъ развѣ, пойти изъ любопытства... — думалъ черезъ полчаса дачникъ. — Пойти и поглядѣть издалека, что это за штука... Интересно поглядѣть! Смѣхъ, да и только! Право, отчего не посмѣяться, если подходящий случай представился?»

Павелъ Ивановичъ поднялся съ постели и началъ одѣваться.

— Ты куда это такъ наряжаешься? — спросила его жена, замѣтивъ, что онъ надѣваетъ чистую сорочку и модный галстукъ..

— Такъ... хочу пройтись... Голова что-то болитъ... Гм...

Павелъ Ивановичъ нарядился и, дождавшись восьмого часа, вышелъ изъ дому. Когда передъ его глазами, на ярко-зеленомъ фонѣ, залитомъ свѣтомъ заходящаго солнца, запестрѣли фигуры разряженныхъ дачниковъ и дачницъ, у него забилося сердце.

«Которая изъ нихъ? — думалъ онъ, застѣнчиво косясь на лица дачницъ. — А блондиночки не видать... Гм... Если она писала, то, стало-быть, ужъ въ бесѣдкѣ сидитъ»...

Выходцевъ вступилъ въ аллею, въ концѣ которой изъ-за молодой листвы высокихъ липъ выглядывала «старая бесѣдка»... Онъ тихо поплелся къ ней...

«Погляжу издалека...—думалъ онъ, нерѣшительно подвигаясь впередъ.—Ну, что я робѣю? Вѣдь я же не иду на randevu! Этакій... дурень! Смѣлѣй иди! А что, если бъ я вошелъ въ бесѣдку? Ну, ну... не зачѣмъ».

У Павла Ивановича еще сильнѣе забилося сердце... Невольно, самъ того не желая, онъ вдругъ вообразилъ себѣ полумракъ бесѣдки... Въ его воображеніи мелькнула стройная блондиночка въ свѣтло-голубомъ платьѣ и съ вздернутымъ носикомъ. Онъ представилъ себѣ, какъ она, стыдясь своей любви и дрожа всѣмъ тѣломъ, робко подходитъ къ нему, горячо дышитъ и... вдругъ сжимаетъ его въ объятіяхъ.

«Не будь я женатъ, оно бы еще ничего... — думалъ онъ, гоня изъ головы грѣшныя мысли. — Впрочемъ... разъ въ жизни не мѣшало бы испытать, а то такъ и умрешь, не узнавши, что это за штука... А жена... ну, что съ ней сдѣлается? Слава Богу, восемь лѣтъ ни на шагъ не отходилъ отъ нея... Восемь лѣтъ безпорочной службы! Будетъ съ нея... Досадно даже... Возьму вотъ на зло и измѣню!»

Дрожа всѣмъ тѣломъ и задерживая одышку, Павелъ Ивановичъ подошелъ къ бесѣдкѣ, увитой плющомъ и дикимъ виноградомъ, и заглянулъ въ нее... На него пахнуло сыростью и запахомъ плѣсени...

«Кажется, никого...» — подумалъ онъ, входя въ бесѣдку, и тутъ же увидѣлъ въ углу человѣческой силуэтъ.

Силуэтъ принадлежалъ мужчинѣ... Вглядѣвшись въ него, Павелъ Ивановичъ узналъ въ немъ брата своей жены, студента Митю, жившаго у него на дачѣ.

— А, это ты... — промычалъ онъ недовольнымъ голосомъ, снимая шляпу и садясь.

— Да, я... — отвѣтилъ Митя...

Минуты двѣ прошло въ молчаніи...

— Извините меня, Павелъ Ивановичъ, — началъ Митя: — но я просилъ бы васъ оставить меня одного... Я обдумываю кандидатское сочиненіе, и... и присутствіе кого бы то ни было мнѣ мѣшаетъ...

— А ты ступай куда-нибудь на темную аллею... — кротко замѣтилъ Павелъ Ивановичъ. — На свѣжѣмъ воздухѣ легче думать, да и... тово — мнѣ хотѣлось бы тутъ на скамьѣ соснуть... Здѣсь не такъ жарко...

— Вамъ спать, а мнѣ сочиненіе обдумывать... — проворчалъ Митя. — Сочиненіе важнѣе.

Опять наступило молчаніе... Павелъ Ивановичъ, который далъ уже волю воображенію и то и дѣло слышалъ шаги, вдругъ вскочилъ и заговорилъ плачущимъ голосомъ:

— Ну, я прошу тебя, Митя! Ты моложе меня и долженъ уважить... Я боленъ и... хочу спать... Уйди!

— Это эгоизмъ... Почему непремѣнно вамъ здѣсь быть, а не мнѣ? Изъ принципа не выйду...

— Ну, прошу! Пусть я эгоистъ, деспотъ и глупецъ... но я прошу тебя! Разъ въ жизни прошу! Уважь!

Митя pokrutyлъ головой.

«Какая скотина...» — подумалъ Павелъ Ивановичъ. —

Вѣдь при немъ не состоится рандеву! При немъ нельзя!» — Послушай, Митя, — сказалъ онъ: — я прошу тебя въ послѣдній разъ... Докажи, что ты умный, гуманнѣй и образованный человѣкъ!

— Не понимаю, чего вы пристааете?.. — пожалъ плечами Митя. — Сказалъ: не выйду, ну, и не выйду. Изъ принципа здѣсь останусь...

Въ это время въ бесѣдку заглянуло женское лицо съ вздернутымъ носикомъ...

Увидѣвъ Митю и Павла Ивановича, оно нахмурилось и исчезло...

«Ушла! — подумалъ Павелъ Ивановичъ, со злобой глядя на Митю. — Увидѣла этого подлеца и ушла! Все дѣло пропало!»

Подождавъ еще немного, Выходцевъ всталъ, надѣлъ шляпу и сказалъ:

— Скотина ты, подлецъ и мерзавецъ! Да! Скотина! Подло... и глупо! Между нами все кончено!

— Очень радъ! — проворчалъ Митя, тоже вставая и надѣвая шляпу. — Знайте, что вы сейчасъ вашимъ присутствіемъ сдѣлали мнѣ такую пакость, какой я вамъ до самой смерти не прощу!

Павелъ Ивановичъ вышелъ изъ бесѣдки и, не помня себя отъ злости, быстро зашагалъ къ своей дачѣ. Его не успокоить и видъ стола, сервированнаго для ужина.

«Разъ въ жизни представился случай, — волновался онъ: — и то помѣшали! Теперь она оскорблена... убита!»

За ужиномъ Павелъ Ивановичъ и Митя глядѣли въ свои тарелки и угрюмо молчали... Оба всей душой ненавидѣли другъ друга.

— Ты чего это улыбаешься? — набросился Павелъ Ивановичъ на жену. — Только однѣ дуры безъ причины смѣются!

Жена поглядѣла на сердитое лицо мужа и прыснула...

— Что это за нисѣмо получилъ ты сегодня утромъ? — спросила она.

— Я?.. Я никакого... — сконфузился Павелъ Ивановичъ. — Выдумываешь... воображеніе...

— Ну да, рассказывай! Признайся, получилъ! Вѣдь это письмо я тебѣ послала! Честное слово, я! Ха-ха!

Павелъ Ивановичъ побагровѣлъ и нагнулся къ тарелкѣ.

— Глупыя шутки, — проворчалъ онъ.

— Но что же дѣлать! Самъ ты посуди... Намъ нужно

было сегодня полы помыть, а какъ васъ выжить изъ дому? Только такимъ способомъ и выживешь... Но ты не сердись. глупый... Чтобы тебѣ въ бесѣдкѣ скучно не показалось, вѣдь я и Митѣ такое же письмо послала! Митя, ты былъ въ бесѣдкѣ?

Митя ухмыльнулся и пересталъ глядѣть съ ненавистью на своего соперника.

1886.

ВЪ ПАНСИОНѢ.

Въ частномъ пансіонѣ m-me Жевуземъ бьетъ двѣнадцать. Пансіонерки, вялыя и худосочныя, взявшисъ подъ руки, чинно прогуливаются по коридору. Классныя дамы, желтыя и весноватыя, съ выраженіемъ крайняго безпокойства на лицахъ, не отрываютъ отъ нихъ глазъ и, несмотря на идеальную тишину, то и дѣло выкрикиваютъ: «Медамъ! Силянсь!».

Въ учительской комнатѣ, въ этой таинственной святой святыхъ, сидятъ сама Жевуземъ и учитель математики Дырявинъ. Учитель давно уже далъ урокъ, и ему пора уходить, но онъ остался, чтобы попросить у начальницы прибавки. Зная скупость «старой шельмы», онъ поднимаетъ вопросъ о прибавкѣ не прямо, а дипломатически.

— Гляжу я на ваше лицо, Бьянка Ивановна, и вспоминаю прошлое... — говоритъ онъ, вздыхая. — Какія прежде, въ наше время, красавицы были! Господи, что за красавицы! Пальчики обсосешь! А теперь? Перевелись красавицы! Настоящихъ женщинъ нынче нѣтъ, а все какія-то, прости Господи, трясогузки да кильки. Одна другой хуже...

— Нѣтъ, и теперь много красивыхъ женщинъ! — картавитъ Жевуземъ.

— Гдѣ? Покажите мнѣ: гдѣ? — горячится Дырявинъ. — Полноте, Бьянка Ивановна! По добротѣ своего сердца вы и бѣлужью харю назовете красавицей, знаю я васъ! Извините меня за эти кель-выражансы, но я искренно вамъ говорю. Нарочно вчера на концертѣ

осматривалъ женщинъ: рожа на рождѣ, кривуля на кривулѣ! Да взять вотъ хоть нашъ старшій классъ. Вѣдь все это бутоны, невѣсты, самыя, можно сказать, сливки—и что же? Восемнадцать ихъ штукъ, и хоть бы одна хорошенькая!

— Вотъ и неправда! Кого ни спросите, всякій вамъ скажетъ, что въ моемъ старшемъ классѣ много хорошихъ. Напримѣръ, Кочкина, Иванова 2-я, Пальцева... А Пальцева просто картинка! Я женщина, да и то на нее заглядываюсь...

— Удивительно... — бормочетъ Дырявинъ. — Ничего въ ней нѣтъ хорошаго...

— Прекрасные черные глаза!—волнуется Жевуземъ.— Черные, какъ тушь! Вы поглядите на нее: это... это совершенство! Въ древности съ нея писали бы богинь!

Дырявинъ отродясь не видалъ такихъ красавицъ, какъ Пальцева, но жажда прибавки беретъ верхъ надъ справедливостью, и онъ продолжаетъ доказывать «старой шельмѣ», что въ настоящее время красавицъ нѣтъ...

— Только и отдыхаешь, когда взглянешь на лицо какой-нибудь пожилой дамы, — говоритъ онъ. — Правда, молодости и свѣжести не увидишь, но зато глазъ отдохнетъ хоть на правильныхъ чертахъ... Главное — правильность чертъ! А у вашей Пальцевой на лицѣ не черты, а какая-то сметана... кислятина...

— Значить, вы не всматривались въ нее... — говоритъ Жевуземъ. — Вы всмотритесь, да тогда и говорите...

— Ничего въ ней нѣтъ хорошаго, — угрюмо вздыхаетъ Дырявинъ.

Жевуземъ вскакиваетъ, идетъ къ двери и кричитъ:

— Позвать ко мнѣ Пальцеву!.. Вы всмотритесь въ нее, — говоритъ она учителю, отходя отъ двери. — Вы обратите вниманіе на глаза и на носъ... Лучшаго носа во всей Россіи не найти.

Черезъ минуту въ учительскую входитъ Пальцева, дѣвочка лѣтъ семнадцати, смуглая, стройная, съ большими черными глазами и съ прекраснымъ греческимъ носомъ.

— Подойдите поближе... — обращается къ ней Жевуземъ строгимъ голосомъ. — М-г Дырявинъ вотъ жалуется мнѣ, что вы... что вы невнимательны за уроками математики. Вы вообще разсѣяны и... и...

— И по алгебрѣ плохо занимаетесь... — бормочетъ Дырявинъ, разсматривая лицо Пальцовой.

— Стыдно, Пальцева! — продолжает Жевуземъ. — Нехорошо! Неужели вы хотите, чтобы я наказывала васъ наравнѣ съ маленькими? Вы уже взрослая и вы должны другимъ примѣръ подавать, а не то что вести себя такъ дурно... Но... подойдите поближе!

Жевуземъ говорить еще очень много «общихъ мѣстъ». Пальцева разсѣяннo слушаетъ ее и, шевеля ноздрями, глядитъ черезъ голову Дырявина въ окно...

«Отдай все — и мало, — думаетъ математикъ, разсматривая ее. — Роскошь дѣвочка! Ноздрями шевелить, пострѣль... Чуетъ, что въ июнѣ на волю вырвется... Дай только вырваться, забудетъ она и эту Жевузешку, и болвана Дырявина, и алгебру... Не алгебра ей нужна! Ей нуженъ просторъ, блескъ... нужна жизнь...»

Дырявинъ вздыхаетъ и продолжает думать:

«Охъ, эти ноздри! И мѣсяца не пройдетъ, какъ вся моя алгебра пойдетъ къ чорту... Дырявинъ обратится въ скучное, сѣрое воспоминаніе... Встрѣчусь ей, такъ она только ноздрями пошевелитъ и «здравствуй» не скажетъ. Спасибо хоть за то, что коляской не раздавить...»

— Хорошіе успѣхи могутъ быть только при вниманіи и прилежаніи, — продолжаетъ Жевуземъ: — а вы невнимательны... Если еще будутъ продолжаться жалобы, то я принуждена буду наказать васъ... Стыдно!

«Не слушай, ангелъ, эту сухую лимонную корку, — думаетъ Дырявинъ. — Нисколько не стыдно... Ты гораздо лучше всѣхъ насъ вмѣстѣ взятыхъ».

— Ступайте! — строго говоритъ Жевуземъ.

Пальцева дѣлаетъ реверансъ и выходитъ.

— Ну, что? Всмотрѣлся теперь? — спрашиваетъ Жевуземъ.

Дырявинъ не слышитъ ея вопроса и все еще думаетъ.

— Ну? — повторяетъ начальница. — Плоха, по-вашему?

Дырявинъ тупо глядитъ на Жевуземъ, приходитъ въ себя и, вспомнивъ о прибавкѣ, оживляется.

— Хоть убейте, ничего хорошаго не нахожу... — говоритъ онъ. — Вы вотъ уже въ лѣтахъ, а носъ и глаза у васъ гораздо лучше, чѣмъ у нея... Честное слово... Поглядите-ка на себя въ зеркало!

Въ концѣ концовъ m-me Жевуземъ соглашается, и Дырявинъ получаетъ прибавку.

1886.

СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГЪ.

Алексѣй Борисычъ, только-что разставшійся съ послѣ-обѣденнымъ Морфеемъ, сидитъ съ женой Марѳой Аеанасьевной у окна и ворчитъ. Ему не нравится, что его дочь Лидочка пошла гулять въ садъ съ Ѳедоромъ Петровичемъ, молодымъ человѣкомъ.

— Терпѣть не могу, — бормочетъ онъ: — когда дѣвицы настолько забываются, что теряютъ стыдливость. Въ этихъ шатаньяхъ по саду, по темнымъ аллеямъ я, кромѣ безнравственности и распущенности, ничего не вижу. Ты мать, а ничего не видишь... Впрочемъ, по-твоему, такъ и надо, чтобъ дѣвушка глупостями занималась... По-твоему, ничего, если они тамъ амуриться начнутъ... Ты сама бы рада на старости лѣтъ, стыдъ забывъ, на ралдеву поскакать...

— Да что ты ко мнѣ прѣсталъ? — сердится старуха. — Ворчитъ, и самъ не знаетъ чего. Образина лысая!

— Что жъ? Пусть по-твоему... Пусть тамъ цѣлуются, обнимаются... Хорошо... пусть... Не я буду передъ Богомъ отвѣчать, если дѣвчонкѣ вскружатъ голову... Цѣлуйтесь, дѣточки! Женихайтеся!

— Погоди злорадствовать... Можетъ-быть, у нихъ ничего и не выйдетъ...

— Дай Богъ, чтобы ничего не вышло... — вздыхаетъ Алексѣй Борисычъ.

— Ты всегда былъ врагъ своему родному дитѣ... Кромѣ зла, ты Лидочкѣ никогда ничего не желалъ... Смотри, Алексѣй, какъ бы Богъ не наказалъ тебя за твою лютость! Боюсь я за тебя! Недолго-то вѣдь жить осталось!

— Какъ хочешь, а я этого допустить не могу... Онъ ей не партія, да и ей слышать нечего... Судя по нашему

состоянію и ея красотѣ, у нея женихи еще почище будутъ... Впрочемъ, зачѣмъ это я съ тобой разговариваю? Очень мнѣ нужно съ тобой разговаривать! Его прогнать, а Лидку на замѣкъ — вотъ и все... Такъ и сдѣлаю.

Старикъ говоритъ вяло, зѣвая, словно резину жуесть; видно, что онъ ворчитъ только потому, что у него подъ ложечкой сосетъ и языкъ безъ костей, но старуха принимаетъ близко къ сердцу каждое его слово. Она всплещиваетъ руками, огрызается и кудахчетъ, какъ курица. Тиранъ, извергъ, махаметъ, идолъ и другія извѣстныя ей ругательныя слова такъ и прыгаютъ въ ея языка прямо въ «харю» Алексѣя Борисыча... Дѣло кончилось бы, какъ всегда, внушительнымъ плевкомъ и слезами, но тутъ старики вдругъ видятъ нѣчто необычайное: дочь ихъ Лидочка, съ растрепанной прической, мчится по аллеѣ къ дому. Одновременно съ этимъ, далеко на поворотѣ аллеи показывается изъ-за кустовъ соломенная шляпа Оедора Петровича... На этотъ разъ молодой человѣкъ поразительно блѣденъ. Онъ нерѣшительно дѣлаетъ два шага впередъ, потомъ машетъ рукой и быстро шагаетъ назадъ. Засимъ слышно, какъ Лидочка вбѣгаетъ въ домъ, пролетаетъ сквозь всѣ коридоры и громко запирается въ своей комнатѣ.

Старикъ и старуха съ тупымъ удивленіемъ переглядываются, потупляютъ взоры и слегка блѣднѣютъ. Оба молчатъ и не знаютъ, чтѣ говорить. Смыслъ загадки для нихъ ясенъ, какъ Божій день. Оба безъ словъ понимаютъ и чувствуютъ, что сейчасъ, пока они тутъ ворчали и крысились другъ на друга, была рѣшена судьба ихъ дѣвочки. Достаточно имѣть самое обыкновенное человѣческое чутье, не говоря ужъ о родительскомъ сердцѣ, чтобы понять, какія минуты переживаетъ теперь Лидочка, запершись въ своей комнатѣ, и какую важную, роковую роль играетъ въ ея жизни удаляющаяся соломенная шляпа...

Алексѣй Борисычъ съ кряхтѣніемъ поднимается и начинаетъ шагать по комнатѣ... Старуха слѣдитъ за его движеніями и съ замираніемъ сердца ждетъ, когда онъ начнетъ говорить.

— Какая всѣ эти дни странная погода стоитъ... — выговариваетъ старикъ. — Ночью холодъ, днемъ жара нестерпимая.

Кухарка вноситъ самоваръ. Марѳа Аеанасьевна моетъ чашки, наливаетъ чай, но до чашки никто не дотрагивается.

— Надо бы се... Лиду... позвать чай пить...—бормочетъ Алексѣй Борисычъ:—а то потомъ для нея придется особенный самоваръ ставить... Не люблю безпорядковъ! Марѳа Аванасьевна хочетъ что-то сказать и не можетъ... Губы ея прыгаютъ, языкъ не слушается, и глаза заволокло пеленой. Еще минута, и—она плачетъ. Алексѣй Борисычъ страстно хочетъ приласкать ошалѣвшую старуху и самъ бы не прочь расхныкаться, но мѣшаетъ гордость: нужно характеръ выдержать.

— Все это хорошо и великолѣпно,—ворчитъ онъ:—только ему слѣдовало бы сначала съ нами поговорить... Да... Сначала онъ долженъ былъ бы, по-настоящему, у насъ Лидочкиной руки попросить... Можетъ-быть, мы и не согласились бы!

Старуха машетъ обѣими руками, громко всхлипываетъ и уходитъ къ себѣ въ комнату.

«Это серьезный шагъ...—думаетъ Алексѣй Борисычъ.—Нельзя рѣшать такъ зря... нужно серьезно, всесторонне... Пойду, разспрошу ее, какъ и что, поговорю и рѣшу... Такъ нельзя!»

Старикъ запахиваетъ полы халата и сѣмнить къ Лидочкиной двери

— Лидочка!—говоритъ онъ, нерѣшительно берясь за дверную ручку—Ты... тово? Больна, что ли?

Отвѣта нѣтъ. Алексѣй Борисычъ вздыхаетъ, для чего-то пожимаетъ плечами и отходитъ отъ двери.

«Такъ пельзя!—думаетъ онъ, шаркая туфлями по коридорамъ.—Надо всесторонне... подумать, потолковать, обсудить... Бракъ есть такое таинство, къ которому нельзя относиться легкомысленно... Пойти со старухой поговорить...»

Старикъ сѣмнить въ комнату жены. Марѳа Аванасьевна стоитъ передъ раскрытымъ сундукомъ и дрожащими руками перебираетъ бѣлье.

— Сорочекъ совѣзмъ нѣтъ...—бормочетъ она.—Хорошіе родители, которые путевые, даютъ въ приданое даже дѣтское бѣлье, а у насъ ни платковъ ни полотенецъ... Можно подумать, что она намъ не родная дочь, а сирота...

— Надо о серьезномъ поговорить, а ты о тряпкахъ... даже глядѣть совѣстно... Тутъ жизненный вопросъ рѣшается, а она стоитъ, какъ купчиха, передъ сундукомъ и тряпки считаетъ: Такъ пельзя!

— А какъ нужно?

Нужно подумать, обсудить всесторонне... потолковать...

Старики слышать, какъ Лидочка отпираетъ свою дверь, посылаетъ съ горничной письмо къ Ѳедору Петровичу и опять запирается...

— Рѣшительный отвѣтъ ему посылаетъ... — шепчетъ Алексѣй Борисычъ. — Экіе глупые, прости Господи! Нѣтъ того въ умѣ, чтобъ со старшими посовѣтоваться! Ну, да и народъ!

— А что я вспомнила, Алеша! — всплескиваетъ руками старуха. — Вѣдь намъ придется въ городѣ новую квартиру искать! Ежели Лидочка съ нами не будетъ жить, то па что же намъ восемь комнатъ?

— Все это пустое... чепуха... Теперь нужно о серьезномъ...

До самаго ужина старики снуютъ по комнатамъ, какъ тѣни, и не находятъ себѣ мѣста. Марѳа Аѳанасьевна безъ всякой цѣли роется въ бѣльѣ, шепчется съ кухаркой, то и дѣло всхлипываетъ, а Алексѣй Борисычъ ворчитъ, хочетъ говорить о серьезномъ и несетъ околесицу. Къ ужину является Лидочка. Лицо ея розово, и глаза слегка припухли...

— А, наше вамъ! — говоритъ старикъ, не глядя на нее.

Садятся ѣсть и первыя два блюда съѣдаютъ молча... На лицахъ, въ движеніяхъ, въ походкѣ прислуги — во всемъ сквозитъ какая-то застѣнчивая торжественность...

— Надо бы, Лидочка, тово... — начинаетъ старикъ: — серьезно обсудить... всесторонне... Нда... Наливки выпить, что ли? Глафира, подай-ка сюда наливку! Оно бы шампанскаго не мѣшало, да ужъ коли нѣтъ, то Богъ съ нимъ... Нда... такъ нельзя!

— Подаютъ наливку. Старикъ пьетъ рюмку за рюмкой...

— Давайте же обсудимъ... — говоритъ онъ. — Дѣло серьезное, жизненное... Такъ нельзя!

— Ужасъ, папочка, какъ ты любишь много говорить! — вздыхаетъ Лидочка.

— Ну, ну... — пугается старикъ. — Я вѣдь это только такъ... пуръ се лепетанъ... Не сердись...

Послѣ ужина мать долго шепчется съ дочерью.

«И навѣрное, о пустякахъ говорятъ, — думаетъ старикъ, шагая по комнатамъ: — Не понимаютъ, глупыя, какъ это серьезно... важно... Такъ нельзя, невозможно!»

Наступаетъ ночь... Лидочка лежитъ у себя въ комнатѣ и не спитъ... Не спится и старикамъ, которые шепчутся до самаго разсвѣта.

— Не даютъ мухи спать!—ворчитъ Алексѣй Борисычъ. Но виноваты не мухи, а счастье...

1886.

РОЗОВЫЙ ЧУЛОКЪ.

Пасмурный, дождливый день. Небо надолго заволокло тучами, и дождю конца не предвидится. На дворѣ слякоть, лужи, мокрыя галки, а въ комнатахъ сумерки и такой холодъ, что хоть печи топи.

Иванъ Петровичъ Сомовъ шагаетъ по своему кабинету изъ угла въ уголъ и ворчитъ на погоду. Дождевыя слезы на окнахъ и комнатныя сумерки нагоняютъ на него тоску. Ему невыносимо скучно, а убить время нечѣмъ... Газетъ еще не привозили, на охоту итти нѣтъ возможности, обѣдать еще не скоро...

Въ кабинетѣ Сомовъ не одинъ. За его письменнымъ столомъ сидитъ м-ме Сомова, маленькая, хорошенькая дамочка въ легкой блузѣ и розовыхъ чулочкахъ. Она усердно строчитъ письмо. Проходя мимо нея, шагающій Иванъ Петровичъ всякій разъ засматриваетъ черезъ ея плечо на нисанье. Онъ видитъ крупныя, хромящія буквы, узкія и тощія, со всевозможными хвостами и закорючками. Кляксъ, помарокъ и слѣдовъ отъ пальцевъ многое множество. Переносовъ м-ме Сомова не любитъ, и каждая строка ея, дойдя до края листка, со страшными корчами, водопадомъ падаетъ внизъ...

— Лидочка, кому это ты такъ много пишешь?—спрашиваетъ Сомовъ, видя, какъ его жена начинаетъ строчить по шестому листку.

— Къ сестрѣ Варѣ...

— Гм... длинно! Дай-ка скуки ради почитать!

— Возьми, читай, только тутъ ничего нѣтъ интереснаго...

Сомовъ беретъ написанные листки и, продолжая шагать, принимается за чтеніе. Лидочка облокачивается о спинку

кресла и слѣдитъ за выраженіемъ его лица... Послѣ первой же странички лицо его вытягивается и выражаетъ что-то похожее на оторопь... На третьей страничкѣ Сомовъ морщится и медленно чешетъ затылокъ. На четвертой онъ останавливается, пугливо взглядываетъ на жену и задумывается. Немного подумавъ, онъ со вздохомъ опять принимается за чтеніе... Лицо его выражаетъ недоумѣніе и даже испугъ...

— Нѣтъ, это невозможно!—бормочетъ онъ, кончивъ чтеніе и швыряя листки на столъ.—Рѣшительно невозможно!

— Что такое?—пугается Лидочка.

— Что такое! Исписала шесть страничекъ, потратила на писанье битыхъ два часа и... и хоть бы тебѣ что! Хоть бы одна мыслишка! Читаешь-читаешь, и какое-то затменіе находить, словно на чайныхъ ящикахъ китайскую тарабарщину разбираешь! Уфъ!

— Да, это правда, Ваня...—говоритъ Лидочка, краснѣя.—Я небрежно писала...

— Кой чортъ небрежно? Въ небрежномъ письмѣ смыслъ и ладъ есть, есть содержаніе, а у тебя... извини, даже названія подобрать не могу! Сплошная белиберда! Слова и фразы, а содержанія ни малѣйшаго. Все твое письмо похоже точь-въ-точь на разговоръ двухъ мальчишекъ: «А у насъ блины нонѣ! А къ намъ солдатъ пришелъ!» Мочалу жуешь! Тянешь, повторяешься... Мысленки прыгаютъ, какъ черти въ рѣшетѣ: не разберешь, гдѣ что начинается, гдѣ что кончается... Ну, можно ли такъ?

— Если бъ я со вниманіемъ писала, — оправдывается Лидочка: — тогда бы не было ошибокъ...

— Ахъ, объ ошибкахъ я ужъ и не говорю! Кричитъ бѣдная грамматика! Что ни строчка, то личное для нея оскорбленіе! Ни запятыхъ ни точекъ, а ять... бррр! Земля пишется не черезъ ять, а черезъ е! А почеркъ? Это не почеркъ, а отчаяніе! Не шутя говорю, Лида... Меня и изумило и поразило это твое письмо... Ты не сердись, голубчикъ, но я, ей-Богу, не думалъ, что въ грамматикѣ ты такая сапожница... А между тѣмъ ты по своему положенію принадлежишь къ образованному, интеллигентному кругу, ты жена университетскаго человѣка, дочь генерала! Послушай, ты училась гдѣ-нибудь?

— А какъ же? Я въ пансіонѣ фонъ-Мейке кончила...

Сомовъ пожимаетъ плечами и, вздохнувъ, продолжаетъ шагать. Лидочка, сознавая свое невѣжество и стыдясь,

тоже вздыхаетъ и потупляетъ глазки... Минуть десять проходить въ молчаніи...

— Послушай, Лидочка, вѣдь это, въ сущности, ужасно! — говоритъ Сомовъ, вдругъ останавливаясь передъ женой и съ ужасомъ глядя на ея лицо. — Вѣдь ты мать... понимаешь? Мать! Какъ же ты будешь дѣтей учить, если сама ничего не знаешь? Мозгъ у тебя хороший, но что толку въ немъ, если онъ не усвоилъ себѣ даже элементарныхъ знаній? Ну, плевать на знанія... знанія дѣти и въ школѣ получаютъ, но вѣдь ты и по части морали хромаешь! Ты вѣдь иногда такое ляпнешь, что уши вянутъ!

Сомовъ опять пожимаетъ плечами, запахивается въ полы халата и продолжаетъ шагать... Ему и досадно, и обидно, и въ то же время жаль Лидочку, которая не протестуетъ, а только глазами моргаетъ... Обоимъ тяжело и горько... Оба и не замѣчаютъ за горемъ, какъ бѣжитъ время и приближается часъ обѣда...

Садясь обѣдать, Сомовъ, любящій поѣсть вкусно и покойно, выпиваетъ большую рюмку водки и начинаетъ разговоръ на другую тему. Лидочка слушаетъ его, поддакиваетъ, но вдругъ во время супа глаза ея наливаются слезами, и она начинаетъ хныкать.

— Это мать виновата! — говоритъ она, вытирая слезы салфеткой. — Всѣ совѣтовали ей отдать меня въ гимназію, а изъ гимназіи я навѣрное бы пошла на курсы!

— На курсы... въ гимназію... — бормочетъ Сомовъ. — Это ужъ крайности, матушка! Что хорошаго быть синимъ чулкомъ? Синій чулокъ... чортъ знаетъ что! Не женщина и не мужчина, а такъ, середка на половинѣ, ни то ни се... Ненавижу синихъ чулковъ! Никогда бы не женился на ученой...

— Тебя не разберешь... — говоритъ Лидочка. — Сердишься, что я не ученая, и въ то же время ненавидишь ученыхъ; обижаешься, что у меня мыслей нѣтъ въ письмѣ, а самъ противъ того, чтобы я училась...

— Ты къ фразѣ придираешься, милочка. — зѣваетъ Сомовъ, наливая себѣ отъ скуки вторую рюмку.

Подъ вліяніемъ выпитой водки и сытнаго обѣда Сомовъ становится веселѣй, добрѣй и мягче... Онъ глядитъ, какъ его хорошенькая жена съ озабоченнымъ лицомъ приготовляетъ салатъ, и на него набѣгаетъ порывъ женoлюбiя, снисходительности, всепрощенiя...

«Напрасно я ее, бѣдняжку, обезкуражилъ сегодня...— думаетъ онъ.— Зачѣмъ я наговорилъ ей столько жалкихъ словъ? Она, правда, глупенькая у меня, нецивилизованная, узенькая, но... вѣдь медаль имѣетъ двѣ стороны и *audiat et altera pars*... Быть-можетъ, тысячу разъ правы тѣ, которые говорятъ, что женское недомысліе зиждется на призваніи женскомъ... Призвана она, положимъ, мужа любить, дѣтей родить и салатъ рѣзать, такъ на кой чортъ ей знанія? Конечно!»

Вспоминается ему при этомъ, какъ умныя женщины вообще тяжелы, какъ онѣ требовательны, строги и неуступчивы, и какъ, напротивъ, легко жить съ глупенькой Лидочкой, которая ни во что не суется, многого не понимаетъ и не лѣзетъ съ критикой. Съ Лидочкой и покойно, и не рискуешь нарваться на контроль...

«Богъ съ ними, съ этими умными и учеными женщинами! Съ простенькими лучше и спокойнѣе живется»,—думаетъ онъ, принимая отъ Лидочки тарелку съ щипленкомъ...

Вспоминаетъ онъ, что у цивилизованнаго мужчины является иногда желаніе поболтать и подѣлиться мыслями съ умной и ученой женщиной...

«Что жъ?—думаетъ Сомовъ.—Захочется поболтать объ умномъ, пойду къ Натальѣ Андреевнѣ... или къ Марьѣ Францовнѣ... Очень просто! Да нѣтъ, и не пойду. Объ умномъ можно поговорить и съ мужчинами»,—окончательно рѣшаетъ онъ.

1886.

СВѢТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ.

(Разсказъ «идеалиста»).

Противъ моихъ оконъ, заслоняя отъ меня солнце, виситъ громадный, рыжій домище съ грязными карнизами и поржавленной крышей. Эта мрачная, безобразная скорлупа содержитъ въ себѣ однако чудный, драгоценный орѣшекъ!

Каждое утро въ одномъ изъ крайнихъ оконъ я вижу женскую головку, и эта женская головка, я долженъ сознаться, замѣняетъ для меня солнце! Я люблю ее не за красоту... Въ узенькихъ, сѣрыхъ глазкахъ, въ крупныхъ веснушкахъ и въ вѣчныхъ папильоткахъ изъ газетной бумаги нѣтъ ничего красиваго. Люблю я ее за нѣкоторыя индивидуальныя особенности ея возвышеннаго интеллекта.

Каждое утро я вижу, какъ молодая женщина въ бѣлой кофточкѣ и въ папильоткахъ подходитъ къ окну и съ жадностью хватается газеты, лежащія на подоконникѣ. Я вижу, господа, какъ она развертываетъ газеты и съ блескомъ въ глазахъ спѣшитъ пробѣжать ихъ скучныя страницы... Въ это время покорнѣйше прошу наблюдать выраженіе ея лица. Это выраженіе бываетъ различно, смотря по обстоятельствамъ... То лицо ея озаряется блаженной улыбкой, и она, сіяющая, съ блестящими глазами, начинаетъ весело прыгать по комнатѣ; то страшное, невыразимое отчаяніе искажаетъ черты ея лица, и она, схвативъ себя за голову, какъ безумная, шагаетъ изъ угла въ уголъ... Никогда я не вижу ея равнодушной... Дни идутъ за днями, и счастье чередуется съ отчаяніемъ... Сегодня она безумно счастлива, завтра она хватается себя за папильотки. И нѣтъ конца ея радостямъ и мукамъ!..

Я отчасти психологъ и знатокъ человѣческаго сердца. Психическія явленія, наблюдаемыя мною въ окнѣ, доступны моему пониманію, какъ таблица умноженія. Когда по лицу молодой женщины плаваетъ блаженная улыбка, въ моей головѣ тѣснятся такія мысли:

«Гм... Очевидно, извѣстія, сообщаемыя сегодняшними газетами, благоприятны... Очень радъ... Вѣроятно, мою незнакомку радуется поведеніе Цанкова и послѣдняя рѣчь Гладстона. Быть-можетъ, ее пріятно волнуетъ и многообщающее свиданіе Бисмарка съ Кальноки... Очень можетъ также стать, что въ сегодняшнихъ нумерахъ она узрѣла рожденіе новаго русскаго таланта... Во всякомъ случаѣ я очень радъ... Рѣдкимъ женщинамъ доступны радости такого высшаго качества!»

И я въ восторгѣ начинаю шагать изъ угла въ уголъ и восклицать:

— Чудное, рѣдкое созданіе! Послѣднее слово женской эмансипации! О, побольше бы такихъ женщинъ! Такія именно женщины и нужны намъ!

Когда же лицо незнакомки искажается отчаяніемъ, я думаю:

«Ну, газетъ, стало-быть, хоть и въ руки не бери! Дрянъ дѣло! Вѣроятно, мою *vis-à-vis* возмутилъ Каравеловъ или Муткуровъ... Думаю также, что двухсмысленная игра утрирующей Австріи и поведеніе Милана оскорбили ея честную натуру... Она страдаетъ, но какую честь дѣлаетъ ей это страданіе!»

Я шагаю, волнуюсь и восклицаю:

— Вотъ она, настоящая женщина! Ей доступна гражданская скорбь! Она можетъ страдать за человѣчество!..

И я безъ ума отъ этой рѣдкой женщины... Едва только наступаетъ утро, я уже стою у своего окна и жду, когда въ окнахъ *vis-à-vis* покажется незнакомка. Ночью я мечтаю и жду утра, днемъ шагаю изъ угла въ уголъ... Да, господа, это необыкновенная женщина!

Лѣтомъ, когда мои и ея окна были открыты, я не разъ слышалъ истерическій плачъ и счастливый смѣхъ... Однажды даже я слышалъ, какъ она, схвативъ себя за голову, въ отчаяніи и гнѣвѣ прокричала:

— Негодяй! Мучитель!

И разорвала въ клочки газету...

Жалѣю, что въ моей квартирѣ не живетъ Ауэрбахъ,

Шпильгагенъ или иной романистъ, ищущій «новыхъ людей»... Они воспользовались бы моею незнакомкой. . .

Я чувствую, что благоговѣніе мое мало-по-малу обращается въ страстную любовь. Да, я люблю ее! Боже, какая пропасть раздѣляетъ меня отъ нея! Душа ея полна гражданской скорби, я же давно уже утерялъ свои идеалы и, затертый средою, живу пошлыми интересами толпы...

Но тѣмъ не менѣе я, не будучи въ силахъ преодолѣть себя, иду къ рыжему дому и звоню къ дворнику. Два двугривенныхъ развязываютъ дворницкій языкъ, и онъ на всѣ мои разспросы рассказываетъ мнѣ, что незнакомка живетъ въ квартирѣ № 5, имѣетъ мужа и не исправно платитъ за квартиру. Мужъ ея каждое утро убѣгаетъ куда-то и возвращается поздно вечеромъ, пронося подъ мышкой четверть водки и кулекъ съ провизіей... Мужъ значится въ паспортѣ сыномъ губернскаго секретаря, а незнакомка его женою. . .

Послѣ третьей безсонной ночи посылаю ей визитную карточку. Видѣлъ сегодня, какъ она, прочитавъ газету, ударила кулакомъ по подоконнику. О, вы, Каравеловы, Муткуровы, Салисберн, кондукторы конножелѣзки, сахарозаводчики! Отчего я не въ силахъ отплатить вамъ за всѣ страданія, которыя вы ей причиняете? . . .

Сегодня (10 сентября) мужъ ея спустилъ меня внизъ по лѣстницѣ. Я счастливъ. Ради нея я готовъ на всѣ жертвы!.. Настоящее объясненіе я откладываю на завтра.

11-е сентября. Придя сегодня къ ней, я застаю ее за газетами. Пробѣжавъ наскоро двѣ-три газеты, она вдругъ падаетъ на стулъ и издаетъ стонъ...

— Дорогая моя, — говорю я ей, цѣлуя ея руку. — Что волнуетъ васъ? Подѣлитесь со мной вашими скорбями, и, вѣрьте, я сумѣю оцѣнить ваше довѣріе! Ну, скажите, отчего вы сейчасъ плачете?

— Какъ же мнѣ не плакать? — говоритъ моя незнакомка. — Вы посудите: сегодня намъ нужно платить за квартиру, а мой балбесъ-муженекъ далъ въ газеты только 60 строчекъ! Ну, развѣ мы можемъ такъ жить? Вчера онъ написалъ ровно на 11 руб. 40 коп., а сегодня я едва насчитала три рубля! Ну, не несчастна ли я? Нѣтъ,

и злой татаркѣ не пожелаю быть женой репортера! Онъ негодяй! Мерзавецъ! Въмѣсто того, чтобы работать, у Саврасенкова сидить! Постой же, придешь ты! . . .

«О, женщины, женщины!»—сказалъ Шекспиръ, и для меня теперь понятно состояніе его души...

АХЪ, ЗУБЫ!

У Сергѣя Алексѣевича Дыбкина, любителя сценическихъ искусствъ, болятъ зубы...

По мнѣнію опытныхъ дамъ и московскихъ зубныхъ врачей, зубная боль бываетъ трехъ сортовъ: ревматическая, нервная и костоѣдная; но взгляните вы на фізіономію несчастнаго Дыбкина, и вамъ ясно станетъ, что его боль не подходитъ ни къ одному изъ этихъ сортовъ. Кажется, самъ чортъ съ чертенятами засѣлъ въ его зубъ и работаетъ тамъ когтями, зубами и рогами. У бѣдняги лопается голова, сверлитъ въ ухѣ, зеленѣетъ въ глазахъ, дарапаетъ въ носу. Онъ держится обѣими руками за правую щеку, бѣгаетъ изъ угла въ уголъ и оретъ благимъ матомъ...

— Да помогите же мнѣ!—кричитъ онъ, топая ногами.— Застрѣлюсь, чортъ васъ возьми! Повѣшусь!

Кухарка совѣтуетъ ему пополоскать зубы водкой, мамаша—приложить къ щекѣ тертаго хрѣна съ керосиномъ; сестра рекомендуетъ одеколонъ, смѣшанный съ чернилами, тетенька вымазала ему десны іодомъ... Но отъ всѣхъ этихъ средствъ онъ провонялъ лѣкарствами, поглупѣлъ и сталъ орать еще громче... Остается одно только неиспробованное средство — пустить себѣ пулю въ лобъ, или, выпивъ залпомъ три бутылки коньяку, обалдѣть и завалиться спать... Но вотъ наконецъ находится умный человѣкъ, который совѣтуетъ Дыбкину съѣздить на Тверскую, въ домъ Загвоздкина, гдѣ живетъ зубной врачъ Каркманъ, рвущій зубы моментально, безъ боли и дешево — по своей цѣнѣ. Дыбкинъ хватается за эту идею, какъ пьяный купецъ за перила, одѣваетъ пальто и мчится на извозчикѣ

по данному адресу. Вотъ Садовая, Тверская... Мелькають Сіу, Филипповъ, Аіе, Габай... Вотъ наконецъ вывѣска: «Зубной врачъ Я. А. Каркманъ». Стопъ! Дыбкинъ прыгаетъ съ извозчика и съ воплемъ взбѣгаетъ наверхъ по каменной лѣстницѣ. Давитъ онъ луговку звонка съ такимъ остервенѣніемъ, что ломаетъ свой изящный ноготь.

— Дома? Принимаетъ?—спрашиваетъ онъ горничную.

— Пожалуйста, принимаютъ...

— Уфъ! Снимай пальто! Скоррѣй!

Еще минута, и, кажется, голова страдальца окончательно лопнетъ отъ боли. Какъ сумасшедшій, или, вѣрнѣе, какъ мужъ, котораго добрая жена окатила кипяткомъ, онъ вбѣгаетъ въ пріемную, и... о, ужасъ! Пріемная биткомъ-набита публикой. Бѣжитъ Дыбкинъ къ двери кабинета, но его хватають за фалды и говорятъ ему, что онъ обязанъ ждать очереди...

— Но я страдаю!—кипятится онъ.—Чортъ возьми, я переживаю ужасныя минуты!

— Мало ли что!—говорятъ ему равнодушно.—Намъ тоже не весело.

Мой герой въ изнеможеніи падаетъ въ кресло, хватается за обѣ щеки и начинаетъ ждать. Его лицо точно въ укусѣ вымыто, на глазахъ слезы...

— Это ужасно!—стонетъ онъ.—Охъ, уми-ра-а-ю!

— Бѣдный молодой человѣкъ!—вздыхаетъ сидящая возлѣ него дама.—Я страдаю не меньше васъ: меня родныя дѣти выгнали изъ моего же собственнаго дома!

Никакая финансовая передовая статья, никакой спектакль съ благотворительной цѣлью не могутъ быть такъ возмутительно скучны, какъ ожиданіе въ пріемной. Проходитъ часъ, другой, третій, а бѣдный Дыбкинъ все еще сидитъ въ креслѣ и стонетъ. Дома давно уже пообѣдали и скоро примутся за вечерній чай, а онъ все сидитъ. Зубъ же съ каждой минутой становится все злѣе и злѣе...

Но вотъ проходитъ мучительная вѣчность, и наступаетъ очередь Дыбкина. Онъ срывается съ мѣста и летитъ въ кабинетъ.

— Бога ради!—стонетъ онъ, падая въ кабинетъ въ кресло и раскрывая ротъ.—Умоляю!

— Что-съ? Что вамъ угодно?—спрашиваетъ его хозяинъ кабинета, длинноволосый блондинъ въ очкахъ.

— Рвите! Рвите!—задыхается Дыбкинъ.

— Кого рвать?

— А, Боже мой! Зубъ!

— Странно! — пожимаетъ плечами блондинъ. — Мнѣ, г. шутникъ, некогда, и я прошу васъ сказать: что вамъ угодно?

Дыбкинъ раскрываетъ ротъ, какъ акула, и стонетъ:

— Рвите, рвите! Кто умираетъ, тому не до шутокъ! Рвите, Бога ради!

— Гм... Если у васъ болятъ зубы, то отправляйтесь къ зубному врачу.

Дыбкинъ поднимается и, разинувъ ротъ, тупо глядитъ на блондина.

— Да-съ, я адвокатъ!.. — продолжаетъ блондинъ. — Если вамъ нуженъ зубной врачъ, то отправляйтесь къ Каркману. Онъ живетъ этажомъ ниже...

— Э-та-жомъ ниже? — поражается Дыбкинъ. — Чортъ же меня возьми совсѣмъ! Ахъ, я скотина! Ахъ, я подлецъ!

Согласитесь, что послѣ такого пассажа ему остается только одно: пустить себѣ пулю въ лобъ... если же нѣтъ подъ руками револьвера, то выпить залпомъ три бутылки коньяку и т. д.

ЖИЛЕЦЪ № 31.

Кандидатъ правъ Брыковичъ, когда-то занимавшійся адвокатурой, а нынѣ живущій безъ дѣла у своей богатой супруги, содержательницы меблированныхъ комнатъ «Тунистъ», человекъ облѣнившійся и душевно вялый, какъ-то въ полночь выскочилъ изъ своей квартиры, изо всей силы хлопнулъ дверью и зашагалъ по длиннымъ коридорамъ «Туниса».

— О, злая, глупая, тупая тварь! — забормоталъ онъ, сжимая кулаки и задыхаясь отъ злобы. — Связалъ же меня чортъ съ этимъ упрямымъ, тупоголовымъ деспотомъ! Боже мой, легкѣя и глотку порвалъ! Уфъ! Чтوبъ перекричать ее, надо быть пушкой!

Брыковичъ былъ такъ обозленъ, что если бы на пути попалась ему какая-нибудь посудина или сонная рожа

коридорнаго, то онъ съ наслажденіемъ далъ бы волю рукамъ, чтобы хоть на чемъ-нибудь излить свой гнѣвъ. И судьба, точно понимая его настроеніе и желая подслушаться, послала ему навстрѣчу не посудину, не рожу, а нѣчто почище и серьезнѣе — неисправнаго плательщика! Шагая по коридору, онъ неожиданно наткнулся на темное пятно, въ которомъ узналъ музыканта Халявкина, жильца 31-го номера. Халявкинъ стоялъ передъ своей дверью и, сильно покачиваясь, тыкалъ ключомъ въ замочную скважину. Онъ сопѣлъ, кряхтѣлъ, посылалъ кого-то ко всѣмъ чертямъ, но ключъ не слушался и всякій разъ попадалъ мимо. Одной рукой онъ судорожно тыкалъ, въ другой держалъ футляръ со скрипкой.

— А, это вы? — началъ Брыковичъ сердито. — Послушайте, милостивый государь, когда же наконецъ вы уплатите за квартиру? Ужъ двѣ недѣли, какъ вы не платите, милостивый государь! Я велю не топить! Я васъ выселю!

— Вы мнѣ мѣ...мѣшаете... — пробормоталъ музыкантъ, подхватывая шубу, готовую свалиться съ плечъ. — Аре...ревуаръ!

— Стыдитесь, господинъ Халявкинъ! — продолжалъ Брыковичъ. — Вы получаете 120 рублей въ мѣсяцъ и могли бы исправно платить! Это недобросовѣстно! Нечестно!

Ключъ наконецъ щелкнулъ, и дверь отворилась.

— Да-съ, это нечестно! — продолжалъ Брыковичъ, входя за музыкантомъ въ номеръ. — Предупреждаю васъ, что если завтра вы не уплатите, то я подамъ къ мировому. Я вамъ покажу! Да не извольте бросать зажженные спички на полъ, а то вы у меня тутъ пожару надѣлаете! Да-съ! Чтобы завтра были деньги!

Халявкинъ поглядѣлъ маслянистыми глазками на злое лицо Брыковича, поправилъ съѣхавшую въ сторону жилетку и пьяно ухмыльнулся.

— Ррѣшительно не понимаю, чего вы кипятитесь... — пробормоталъ онъ, закуривая папиросу и обжигая себѣ пальцы. — Ние понимаю! Положимъ, я не плачу за квартиру; но вы-то тутъ при чемъ? Какое вамъ дѣло? Вы тоже ничего не платите за квартиру, но вѣдь я не пристаю къ вамъ! Не платите, ну, и Богъ съ вами!

— То-есть какъ же это такъ?

— Такъ... Хо... хозяинъ тутъ не вы, а ваша высоко... пфф!.. высокопочтеннѣйшая супруга... Вы тутъ—фюить! Вы тутъ такой же жилецъ съ тромбономъ, какъ и прочіе... Не ваши номера, стало-быть, не вамъ и беспокоиться... Берите съ меня примѣръ: вѣдь я не беспокоюсь?

— Позвольте, я васъ не понимаю... — вспыхнулъ Брыковичъ.

— Впрочемъ, виновать! — ухмыльнулся музыкантъ, почесывая свою взлохмаченную гриву. — Я и забылъ, что номера вы взяли въ приданое... Ввиновать! Хотя, впрочемъ, если взглянуть съ нравственной точки, то вы все-таки не должны кипятиться... Вѣдь они достались вамъ да...даромъ, за понюшку табаку... Они, ежжели взглянуть широко, столько же ваши, сколько и мои... За что вы ихъ при...присвоили? За то, что состоите супругомъ? Пда? А удивительно трудно быть супругомъ! Батюшка мой, приведите мнѣ сюда двѣнадцать дюжинъ женъ, и я у всѣхъ буду мужемъ — бесплатно! Сдѣлайте ваше такое одолженіе!

Брыковича передернуло. Пьяная болтовня музыканта, повидимому, кольнула его въ самое больное мѣсто. Онъ покраснѣлъ и долго не зналъ, что говорить, потомъ подскочилъ съ выпученными глазами къ Халявкину, стукнулъ кулакомъ по столу и закричалъ:

— Какъ вы смѣете мнѣ говорить это?!

На глазахъ у него выступили слезы, и краска на лицѣ замѣнилась блѣдностью.

— Какъ вы смѣете?! — стукнулъ онъ кулакомъ еще разъ, не помня себя отъ чувства обиды.

— Позвольте... — забормоталъ Халявкинъ, пятясь назадъ. — Это ужъ выходитъ fortissimo! Не понимаю, чего вы обижаетесь! Я... я вѣдь это говорю не въ обиду, а... а въ похвалу вамъ... Попадись мнѣ бабица съ такими номерищами, такъ я съ руками и ногами... сдѣлайте такое одолженіе!

— Но... но какъ вы смѣете меня оскорблять?

— Не понимаю! — пожалъ плечами Халявкинъ, уже не улыбаясь. — Впрочемъ, я пьянъ... можетъ-быть, и оскорбилъ... Въ такомъ случаѣ простите, голубчикъ! Мамочка, ей-Богу, не желалъ обидѣть! Вѣдь подлость я этакая, каждый вечеръ налилавшись! А все отчего? Изъ оркестра у насъ ходъ на улицу черезъ бу...буфетъ... Идешь

мимо, ну, и остановишься... Когда, голубчикъ, пробьютъ другой ходъ на улицу, ей-Богу, не буду трескать! Ну, простите! Миръ? Руку!

— Это даже цинизмъ... — проговорилъ Брыковичъ, смягчившись отъ умильнаго тона Халявкина. — Есть вещи, о которыхъ не говорятъ въ такой формѣ...

— Ну, ну... не буду! Мамаша, не буду! Руку!

— Тѣмъ болѣе, что я не подавалъ повода... — продолжалъ кандидатъ правъ, обиженно мигая глазами и протягивая руку.

— Дѣйствительно, не слѣдовало бы по...поднимать этого щекотливаго вопроса... Сболтнулъ спьяна и сдуру... Прости, мамочка! Дѣйствительно, скотина!

— И безъ того мерзко, отвратительно живетъ, а тутъ вы еще съ вашими оскорбленіями! — говорилъ Брыковичъ, возбужденно шагая по номеру. — Никто не видитъ истины, и всякій думаетъ и болтаетъ, что хочетъ. Воображаю, что за глаза говорится! Правда, я глупъ, не правъ, виноватъ, что въ полночь набросился на васъ изъ-за грошей, виноватъ, но... надо же извинять, войти въ положеніе, а... а вы бросаете въ лицо грязными намеками!

— Голубушка, да вѣдь пьянъ! Каюсь и чувствую. Честное слово, чувствую! Мамочка, и деньги отдамъ! Какъ только получу перваго числа, такъ и отдамъ! Значить, миръ и согласіе! Bravo! Ахъ, душа моя, люблю образованныхъ людей! Самъ въ Консерватосерваторіи... не выговоришь, чортъ!.. учился...

Халявкинъ прослезился, поймалъ за рукавъ нагавнаго Брыковича и чмокнулъ его въ щеку.

— Эхъ, милый другъ, пьянъ я, какъ курицынъ сынъ, а все понимаю! Мамаша, прикажи коридорному подать раскаявшейся первой скрипкѣ самоваръ! У васъ тутъ такой законъ, что послѣ 11 часовъ и по коридору не гуляй и самовара не проси, а послѣ театра страсть какъ чаю хочется!

Брыковъ подавилъ пуговку звонка.

— Тимоѣй, подай господину Халявкину самоваръ! — сказалъ онъ явившемуся коридорному.

— Нельзя-съ! — пробасилъ Тимоѣй. — Барыня не велѣли послѣ 11 часовъ самоваръ подавать.

— Такъ я тебѣ приказываю! — крикнулъ Брыковичъ, блѣднѣя.

— Что жъ тутъ приказывать, коли не велѣно... — проворчалъ коридорный, выходя изъ номера.

Брыковичъ прикусилъ губу и отвернулся къ окну.

— Положеніе-съ! — вздохнулъ Халявкинъ. — М-да, нечего сказать... Ну, да меня конфузится нечего, я вѣдь понимаю... всю душу насквозь. Знаемъ мы эту психологию... Что же, поневолѣ будешь водку пить, коли чаю не даютъ! Выпьемъ водочки, а?

Совсѣмъ уже раскисшій Халявкинъ досталъ съ окна водку, колбасу и сталъ пить. Брыковичъ печально глядѣлъ на пьянчугу и слушалъ его нескончаемую болтовню. Быть-можетъ, оттого, что при видѣ косматой головы, сороковушки и дешевой колбасы онъ вспомнилъ свое свободное холостецкое прошлое, его лицо стало еще мрачнѣе... Послѣ усиленныхъ приставацій музыканта, онъ подошелъ къ столу, выпилъ рюмку и крякнулъ.

— Скверно живется! — мотнулъ онъ головой. — Мерзко! Вотъ вы меня сейчасъ оскорбили, коридорный оскорбилъ... и такъ безъ конца! А за что? Выпьемъ еще по одной, да я пойду...

Послѣ третьей Брыковичъ вздыхалъ и бормоталъ:

— Ошибся! Охъ, какъ ошибся! Продалъ и молодость, и карьеру, и принципы, вотъ и плачу теперь! Да!

А послѣ четвертой разговоръ ужъ началъ принимать личный характеръ.

— Она вѣдьма! — бормоталъ кандидатъ правъ. — Тупая торговка, ворона въ павлиньихъ перьяхъ...

— Вѣдьма, что и говорить...

Новые пріятели разошлись только тогда, когда Халявкинъ свалился на диванъ и, положивъ голову на футляръ со скрипкой, громко захрапѣлъ. Въ слѣдующую полночь они опять сошлись... Брыковичъ, вкушившій сладость дружескихъ изліяній, не пропускаетъ уже ни одной ночи, и если не застаетъ Халявкина, то заходитъ въ другой какой-нибудь номеръ, гдѣ жалуется на судьбу и пьетъ... Съ легкой руки Халявкина онъ уже начинаетъ спиваться.

ДРАМАТУРГЪ.

Въ кабинетъ доктора входитъ тусклая личность съ матовымъ взглядомъ и катарральной физиономіей: Судя по размѣрамъ носа и мрачно-меланхолическому выраженію лица, личность не чужда спиртныхъ напитковъ, хроническаго насморка и философіи.

Она садится въ кресло и жалуется на одышку, изжогу, меланхолію и противный вкусъ во рту.

— Чѣмъ вы занимаетесь? — спрашиваетъ докторъ.

— Я — драматургъ! — заявляетъ личность не безъ гордости.

Докторъ мгновенно проникается уваженіемъ къ паціенту и почтительно улыбается.

— Ахъ, это такая рѣдкая специальность... — бормочетъ онъ. — Тутъ такая масса чисто-мозговой, нервной работы!

— По-ла-гаю...

— Писатели такъ рѣдки... ихъ жизнь не можетъ походить на жизнь обыкновенныхъ людей... а потому я просилъ бы васъ описать мнѣ вашъ образъ жизни, ваши занятія, привычки, обстановку... вообще, какой цѣной достается вамъ ваша дѣятельность...

— Извольте-съ... — соглашается драматургъ. — Встаю я, сударь мой, часовъ этакъ въ двѣнадцать, а иногда и раньше... Вставши, сейчасъ же выкуриваю папиросу и выпиваю двѣ рюмки водки, а иногда и три... Иногда, впрочемъ, и четыре, судя по тому, сколько выпилъ накануне... Такъ-съ... Если же я не выпиваю, то у меня начинается рябить въ глазахъ и стучать въ головѣ.

— Вѣроятно, вы вообще много пьете?

— Нѣ-ѣтъ, гдѣ же много? Если пью натошакъ, то это просто зависитъ, какъ я полагаю, отъ нервовъ... Потомъ, одѣвши, я иду въ Ливорно или къ Саврасенкову, гдѣ завтракаю... Аппетитъ вообще у меня плохой... Съѣдаю я за завтракомъ самую малость: котлету или полъ-порціи осетрины съ хрѣномъ... Нарочно выпьешь рюмки три-четыре, а все аппетиту нѣтъ... Послѣ завтрака пиво или вино, сообразно съ финансами...

— Ну, а потомъ?

— Потомъ идѹ куда-нибудь въ портерную, изъ портерной опять въ Ливорно на бильярдѣ играть... Проходишь этакъ часовъ до шести и ѣдешь обѣдать... Обѣдаю я мерзко... Вѣрите ли, иной разъ выпьешь рюмокъ шесть-семь, а аппетиту — ни-ни! Завидно бываетъ на людей глядѣть: всѣ сунѣ ѣдятъ, а я видѣть этого супа не могу и вмѣсто того, чтобъ ѣсть, пиво пью... Послѣ обѣда идѹ въ театр...

— Гм... Театръ, вѣроятно, васъ волнуетъ?

— Ужасно! Волнуюсь и раздражаюсь, а тутъ еще пріатели то и дѣло: выпьемъ да выпьемъ! Съ однимъ водки выпьемъ, съ другимъ краснаго, съ третьимъ нива, анъ глядѣ — къ третьему дѣйствию ты ужъ и на ногахъ еле стоишь... Чортъ ихъ знаетъ, эти нервы... Послѣ театра въ Салонъ ѣдешь или въ маскарадъ къ Ррродону... Изъ Салона или маскарада, сами понимаете, нескоро вырвешься... Коли утромъ дома проснулся, то и за это говори спасибо... Иной разъ по цѣлымъ недѣлямъ дома не почувешь...

— Гм... жизнь наблюдаете?

— Нну, да... Разъ даже до того разстроились нервы, что цѣлый мѣсяцъ дома не жилъ и даже адресъ свой позабылъ... Пришлось въ адресномъ столѣ справляться... Вотъ, какъ видите, почти каждый день такъ!

— Ну-съ, а пьесы когда вы пишете?

— Пьесы? Какъ вамъ сказать? — пожимаетъ плечами драматургъ. — Все зависитъ отъ обстоятельствъ...

— Потрудитесь описать мнѣ самый процессъ вашей работы...

— Прежде всего, сударь мой, мнѣ въ руки случайно или черезъ пріателей — самому-то мнѣ некогда слѣдить! — попадаетъ какая-нибудь французская или нѣмецкая штучка! Если она годится, то я несу ее къ сестрѣ или нанимаю цѣлковыхъ за пять студента... Тѣ переводятъ, а я, понимаете ли, подтасовываю подъ русскіе нравы: вмѣсто иностранныхъ фамилій ставлю русскія и прочее... Вотъ и все... Но трудно! Охъ, какъ трудно!

Тусклая личность закатываетъ глаза и вздыхаетъ... Докторъ начинаетъ его выстукивать, выслушивать и ощупывать...

Оглавление

XX ТОМА.

СТР.

Повѣсти и разсказы.

Скука жизни	5
Въ Сокольникахъ. Сценка	18
Дипломатъ. Сценка	21
Бумажникъ. Басня въ прозѣ	25
Кулачье гнѣздо	27
Дачный казусъ. Изъ воспоминаній идеалиста	31
Вверхъ по лѣстницѣ	35
Стража подъ стражей	36
Интеллигентное бревно. Сценка	40
Въ аптекѣ. Сценка	45
Женихъ и папенька. Нѣчто современное	49
Не судьба	54
Необходимое предисловіе	58
Свистуны	59
Стѣна	63
Два газетчика. Неправдоподобный разсказъ	66
Гость. Сценка	69
Конь и трепетная лань	73
Утопленникъ. Сценка	77
Староста. Сценка	81
Послѣ бенефиса. Сценка	86
Общее образованіе. Послѣдніе выходы ^{успѣхи} зубоврачебной науки	90
Психопаты. Сценка	94
Индійскій пѣтухъ. Маленькое недоразумѣніе	98
Контрабасъ и флейта. Сценка	102
Ниночка. Романъ	107
Безъ мѣста	112
Таперъ	116
Бракъ черезъ 10—15 лѣтъ	121
Тряпка. Сценка	124
Святая простота. Разсказъ	131
Циникъ. Сценка	136
Mari d'elle	140

Сонъ. Святочный разсказъ	145
Разсказъ безъ конца	150
На рѣкѣ	158
Любовь	165
День за городомъ	171
Отъ-нечего-дѣлать	177
Чужая бѣда	182
Ты и вы	188
Недобрая ночь. Наброски	193
На мельницѣ	198
Заказъ	204
Ночь на кладбищѣ. Святочный разсказъ	210
Открытіе	214
Первый дебютъ	217
Глупый французъ	223
Персона	226
Отрава	230
Въ Парижѣ!	235
На дачѣ	240
Въ пансіонѣ	245
Серьезный шагъ	248
Розовый чулокъ	252
Свѣтлая личность. Разсказъ „идеалиста“	256
Ахъ, зубы!	256
Жилецъ № 31	261
Драматургъ	269

INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
100-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 7
Tel. 26-68-63



F
24.113/
20